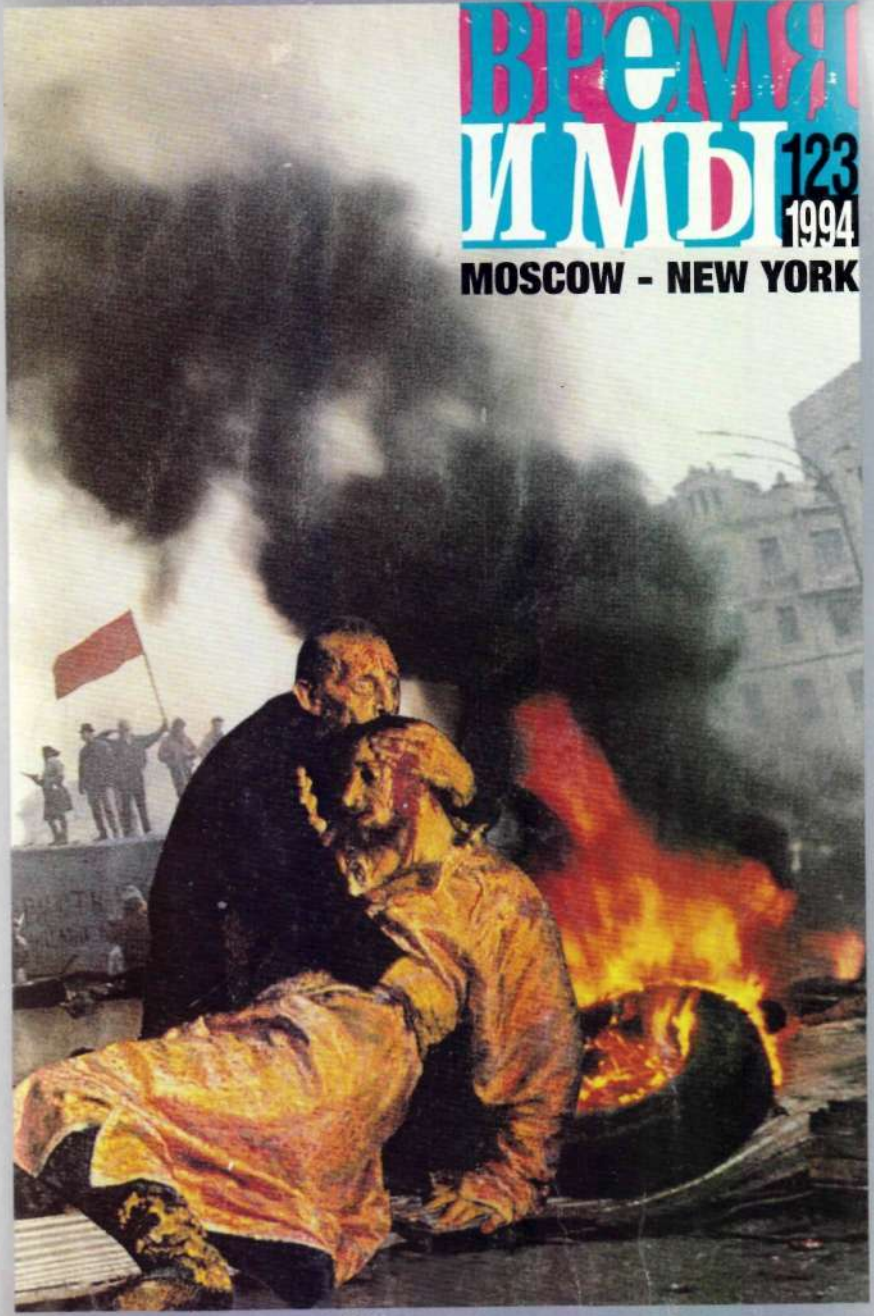
ВРЕМЯ И МЫ

123
1994
MOSCOW - NEW YORK



Лев Аннинский
ПСЕВДОНИМЫ РУССКОЙ ДУШИ

ВРЕМЯ и МЫ

РОССИЙСКО-
АМЕРИКАНСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Двадцатый год издания

**Выходит один раз
в три месяца**

123
1994

МОСКВА — НЬЮ-ЙОРК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1994

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ЛЕВ АННИНСКИЙ **ГРИГОРИЙ ПОЛЯК**
ВАГРИЧ БАХЧАНЯН **ЛЕВ НАВРОЗОВ**
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ **ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН**
ДЖОН ГЛЭД **ИЛЬЯ СУСЛОВ**
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ **МОРИС ФРИДБЕРГ**
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ **ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ**
ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ **ЕФИМ ЭТКИНД *(зам. гл. редактора)***

Московский центр журнала "Время и мы"
Заведующий Лев Аннинский
Адрес центра: 103914, Москва,
ул. Моховая, д. 9, Факультет
журналистики МГУ, к. 203, 206.
Тел.: 203-37-71, 203-34-47, 203-66-41

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot
Mizrach, 422/6

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu,
92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА
Зиновий ЗИНИК
Двойной акт в Сохо . . . 5
Василий АГАФОНОВ
Два рассказа . . . 74

ПОЭЗИЯ
Ян ПРОБШТЕЙН
Жемчужина . . . 86
Юлия ГЕНЮК
Когда произносится слово . . . 92

ПУБЛИЦИСТИКА. СОЦИОЛОГИЯ. КРИТИКА
Лев АННИНСКИЙ
Русская душа: лицо и псевдонимы . . . 98
В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ
Отвергнутый капитализм . . . 119
Лев НАВРОЗОВ
Лжегении в вольных искусствах . . . 134
Сергей РАХЛИН
Любовь-ненависть к американскому кино . . . 152

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
Егор Гайдар
"Я был рекрутирован в политику" . . . 164

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Григорий ПОМЕРАНЦ
С готовностью на поражение . . . 174
Дмитрий ЯКУШКИН
Чак . . . 213
Виктор ПЕРЕЛЬМАН
Гайд-Парк при социализме . . . 219
Юрий АВЕРБАХ
Не сотвори себе кумира . . . 235

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
Гайто ГАЗДАНОВ
Я всегда жил в нищете . . . 248

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"
В. ПЕТРОВСКИЙ
Всадники над шахматным полем . . . 282

К читателям журнала "Время и мы"

От редакции

Доводим до сведения всех наших читателей, что, начиная с 123 номера, нью-йоркский журнал "Время и мы" преобразуется в российско-американский литературный журнал. За 19 лет своего существования "Время и мы" стал одним из самых популярных и влиятельных русско-язычных изданий на Западе. Однако мы никогда не забывали о необходимости его возвращения на Родину, в страну нашего исхода, в страну великой русской литературы и великого русского языка.

Сегодня этот час настал. Час великого испытания для России должен стать и часом испытания для журнала "Время и мы". Может быть, впервые в истории предпринимается такого рода необычный и сложный эксперимент — выпуск масового литературного журнала одновременно в двух мировых центрах — Москве и Нью-Йорке. Мы понимаем всю ответственность этого шага, всю важность принимаемого решения, и сделаем все от нас зависящее, чтобы воплотить его в жизнь. Однако успех дела будет зависеть не только от нас, но и от наших многочисленных авторов, и читателей, истинных друзей журнала "Время и мы", на помощь которых мы рассчитываем в этот ответственный час.

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнениием редакции

© "Время и мы"

ISSN 0737-7061

Зиновий ЗИНИК

ДВОЙНОЙ АКТ В СОХО

Встреча произошла в ту счастливую эпоху, когда мелкие лондонские бизнесмены уже с жаром обсуждали совместные предприятия и иллюзорные миллионы, которые якобы ничего не стоит сколотить в перестроечной Москве; однако для эмигрантов эпохи семидесятых возвращение в Москву казалось все еще немыслимым (хотя Железный занавес был уже весь в дырах), и поэтому Лондон для них все еще оставался неосуществленным идеалом, восхитительно загадочным и сложным. Все требовало лично твоей неустанной расшифровки и комментария, как будто до тебя на этот сверх-обитаемый остров не попадал ни один цивилизованный москвич.

Всякий эмигрант втайне не только Колумб своей собственной Америки, но еще и тиран-царек якобы лично им открытой державы. Все в новой стране — от денег до деревьев — он видит впервые, в новом свете. Как ребенок, всему он дает свои названия или подлаживает под свой басурманский язык туземные име-

на; и, опять же, как дикарь-младенец, дотронувшись до предмета и дав ему свое название, он уже считает его своей собственностью. С каждым днем империя его ширится. Прелесть этой абсолютной монархии в том, что она существует лишь в уме самого монарха. И этой иллюзией он ни с кем не собирается делится. Само туземное население, его правители и парламент никакой угрозы этому субъективному идеализму монархического толка не представляют: они — часть антуража, неизбежная бутафория этой иллюзии. Угроза может возникнуть лишь с одной стороны — когда на территории этой империи появляется такой же иностранец, как и ты, из той же России, еще хуже — из той же Москвы, и начинает переоткрывать твою Америку, перекраивать ее на свой лад. Ради чего, в таком случае, ты эмигрировал на необитаемый Альбион? Чтобы опять видеть эти постылые рожи? Каждый человек, решивший поселиться в Англии, воспринимался Алеком как узурпатор этой его иллюзорной монархии. Чужая радость открытий воспринималась им как угроза душевному благополучию его империи, о существовании которой никто, кроме него самого, не догадывался.

Может быть, поэтому, когда в толкучке паба, в экзотической мешанине лиц, одежд и манер он вдруг споткнулся взглядом об эту с детства знакомую российскую открытость, почти беспардонность крупных губ и глаз, — радость узнавания соотечественника мгновенно сменилась страхом — страхом за свое место под скупым лондонским солнцем. Это были следы человека на песке дотоле необитаемого острова. Трудно назвать Альбион необитаемым островом, но, как для китайцев окружающий мир — тать и мрак, так и для российского эмигранта местное население — лишь символы и метафоры его, эмигранта, внутренней эволюции. Он был единственным, так сказать, мыслящим существом на этом острове. Мыслящим, естественно, по-русски. И вдруг — следы на Песке. Принадлежат ли они будущему товарищу по одиночеству, или же этот собрат по российскому прошлому — как раз тот, кто навсегда с этим его российским одиночеством покончит? На необитаемом острове собрат по роду человеческому может оказаться именно тем людоедом, который тебя и съест.

Во всяком случае, появление еще одного российского лица среди завсегдатаев-туземцев паба "Френч" лишало его самого ауры избранности и привилегированности. Ему льстило то, что пабликан Гастон Берлемонт, с бакенбардами густыми и курчавыми, как пена в кружке гиннеса, кивает ему при входе с не меньшей благосклонностью, чем при виде какой-нибудь знаменитости, вроде Фрэнсиса Бэкона, заворачивающего сюда иногда со свитой гуляк-друзей и любовников. Ему импонировало, что сам Гастон Берлемонт — как и он сам — из эмигрантов: якобы из парижских гугеннотов, бежавших от длинных ножей французских католиков; Алек льстил себя иллюзией, что они в Лондоне на равных правах. На равных правах с бывавшим тут в 30-х годах Сальвадором Дали и в 40-х годах ирландцем Бренденом Бихеном, да кто тут, впрочем, не бывал в свое время? "Люди меняются, меняются поколения, уходят эпохи, но не сам тип", — любил говорить Берлемонт, целуя ручку очередной даме (злые языки говорили: чтобы вытереть усы). "Это тот же тип людей. Наш тип. Тип наших людей".

"Наши люди" отличались монструозностью черт и манер, однако среди этих монстров Алек, сам втайне ощущавший себя монстром своего рода» чувствовал себя если и не среди своих, то, во всяком случае, не ощущал своего уродства; он был тут вроде горбатого среди глухонемых: про его уродство помалкивали. В этом заключалось ощущение избранности. Эта уникальная монструозность лиц была как будто визовой печатью в паспорте — допуском в легендарно-богемное прошлое Сохо. Его устраивала убогость интерьера этой легенды: с исцарапанными панелями дубовой фанеры, с бугорчатым потолком багровых колеров и истоптанным линолеумом с окурками на полу; с любительскими фотографиями в дешевых рамках на стенах: там была задокументирована

история этого места — история, не пугающая своей аристократически-имперской мощью. Это была чужая история, но уже не чуждая — сотворенная еще при его жизни, где в принципе могло бы найтись место и ему, родись он здесь, а не там. В этой непрезентабельности, даже убожестве, была свобода, низкого, анархического свойства, но свобода, по крайней мере, от всего того, что было той Англией, куда его не пускали.

Эта незнакомка нарушила рубежи его державы. Прибывают в Лондон как ротозеи-туристы, на других посмотреть и себя показать, купить кому хай-фай, а кому си-ди, и, без году неделя в Лондоне, уже рассуждают про легенды и мифы древних бриттов. Отбивают у него, у Алека, духовный ломоть, его маленькие открытия: скажем, вроде гипотетической связи между словом "британцы" и словом "бриться". Это его Лондон. Его и ничей другой. Его Биг Бен. Его Букингемский дворец, Тауэр и Британский музей. Его Сохо. Его секс-шопы. Алек отпил виски, состроив устрашающую физиономию; и тут же, самого себя испугавшись, спрятался снова за страницей газеты, потому что ему показалось, что она перехватила его взгляд.

Газетой была прикрыта, как будто чадрой не первой чистоты, практически вся его физиономия. Глаза были стыдливо опущены — якобы в газету, а на самом деле исподтишка ныряли по сторонам. На самом деле, отнюдь не по сторонам: его глаза постоянно возвращались к одному и тому же лицу в толпе. Русское лицо в толпе, обрывок русской речи до сих пор воспринимаются в Лондоне как мираж: кажется, что ты ослышался, что такого быть не может. Англичане, как известно, всегда предпочитают сделать вид, что ничего не происходит: вам никогда не скажут, где вы допустили оплошность. Иностранец — сам оплошность. И если англичане предпочитают этой оплошности не замечать, то русские, со своей способностью угождать и подделываться под чужие замашки, стараются сделать вид, что их в Лондоне вообще не существует. Русские шарахаются друг от друга. Они оба делали вид, что друг для друга не существуют.

Такой флирт на расстоянии путем не-замечания. Не совсем, впрочем. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты он пытался наспех и наугад разгадать тайну: почему это веснушчатое лицо, эти неправильные черты и дурные манеры его так завораживали?

Он вполглаза следил, как всплывает и снова исчезает среди затылков и плеч ее челка, взлетающая как будто вместе с изгибом бровей, когда она поворачивалась к очередному собеседнику (поклоннику? любовнику? вокруг нее кружилась чуть не целая свита), и говорит, напористо тараторя, нечто такое явно интригующее, непременно, наверное, про Россию. Ее обнаженная рука то и дело тянулась к барной стойке за стаканом. "Кир" (от русского слова кирять?), без знаков вопроса повторял за ней бармен, и ее локоть, протянутый к стойке, вместе с округлой заголенностью плеча из-под черной майки со смелым вырезом, пушился на солнце странным свечением, как будто слегка не в фокусе. Как странно они одеваются, и какие странные напитки они пьют. Впрочем, публика в пабе "Френч" считала чуть ли непреложным долгом потребление экзотически-иностранных алкогольных смесей: кир, пастис, или, в крайнем случае, вульгарное кампари.

Если "кир" (черничный ликер, касис, с сухим вином), значит разгар лета, то есть время безответственно длинных дней и светлых вечеров. Он ощутил необычную для себя приподнятость при мысли, что впереди еще много дневного света и что он еще не раз увидит сегодня этот светящийся в полуденном солнце обнаженный локоть. Он еще не понимал, что уже влюблен по уши, мгновенно и бесповоротно: он не мог с точностью сказать, разглядел ли он толком ее лицо, но у него не было никаких сомнений в том, что он знает ее лучше, чем самого себя (себя он, впрочем, не знал совершенно). В какое-то чудное мгновение толпа расступилась, и он увидел ее сразу, всю целиком: ее светящееся веснушками лицо, рыжую челку-чуб над разворотом голых плеч и резкую линию бедра под разрезом юбки-клеш нараспашку, и почти обнажен-

ная грудь под натянутой майкой, и как она то сближала, то разводила руками, как будто собиралась аплодировать. Или делала тайные пассы ему, и только толпа вокруг об этом не догадывается?

Ее голубые (как будто летнее небо пробивалось сквозь веснушки) глаза, задержались взглядом на Алековом лице: то ли взглядом кокетки-кокотки, флиртуя на всякий случай; или недоумевая, а не встречались ли они, действительно, друг с другом, где-то прежде? Собственно, со стороны его физиономия гляделась еще одной разновидностью в толпе лиц, обезображенных алкоголем. Все эти бездарные развратники, успешные менеджеры любой другой жизни, кроме своей собственной, антерпренеры заблудших душ, крупные боссы маленького мира, прокуренного и пропитого, безразличного даже к таким экзотическим особям, как Алек, принимавший это безразличие за гостеприимство. Такие рожи трудно отыскать где-либо еще: на монстров приходила смотреть молодежь, не подозревавшая, что те, в чью легенду они поверили, с самого начала были вторичны в своем хорошо рассчитанном декадансе и сами подражают чьей-то легенде, продолжая тем самым великую традицию духовного жульничества под названием "преемственность". Преемственность заключалась в том, что подвыпившие патриархи этой жизни обжимали и слюнявили по-вампирски поцелуями чужих любовников — этих мальчиков и девочек, с жадными до славы глазами и нервным ртом.

Она перехватила его вороватый взгляд на нее, и теперь она поняла, что он знает, что она знает, что он за ней наблюдает. В глазах его, застывших и не моргающих от напряжения, легко прочитывалось то, что было написано на десятках лиц вокруг: этому монстру позарез нужна была любовь, но он ее, эту любовь, просто так не примет, потому что не верит, что кто-либо может подарить ему, монстру, эту любовь безвозмездно, а другой любви — как всякому монстру в ожидании метаморфозы с поцелуем — кроме как безвозмездной любви, никакой другой ему не надо. Он еще глубже зарылся в газету: явно, чтобы

прикрыть свои мешки под глазами, собачий ошейник жировой складки под подбородком, свои собесовские очки с погнувшимися металлическими дужками. Он даже как будто пригнулся, чтобы не так бросались в глаза залысины с торчащими патлами волос. Но и в мешках под глазами, и в этом двойном подбородке, и в залысинах (не говоря уже про скособоченный галстук из-под воротничка рубашки с оторванной верхней пуговицей) она узнала нечто домашнее, из полузабытого детства, нечто по-животному родное — все эти семейные обеды и дни рождения с родственниками: бессмысленный громкий разговор, радостные взвизги и бесконечные лобызания, их толстые животики, лысины и подбородки, бульдожья отвислость щек и очки, сползающие с переносицы. Отец за обедом, прикрывающийся от семейных неурядиц "Правдой". В этом дядюшке, задвинутом в угол чужими спинами, было, короче, что-то семейно-ностальгическое: не потому ли она и таскалась в это заведение? Она продолжала свою болтовню под одобрительный и ничего не значащий хохоток своих случайных знакомых, но в главные слушатели она теперь включала и эту лысину с патлами из-под газеты.

Алек тем временем постепенно продвигался вдоль стойки бара так, чтобы оказаться поближе к ней, продолжая при этом делать вид, что читает газету, как будто происходящее вокруг его совершенно не интересует. Он с упорством пытался вникнуть в скачущие перед глазами строки газетной страницы: типичный для "Daily Telegraph" отчет из зала суда, где скабрезность прикрывается верностью деталям. Про даму, директоршу школы, решившую, вместе со своим любовником, авиаинструктором (между прочим: он ее учил летать не только в постели), укокошить своего супруга, крупного чиновника министерства транспорта (поезд, конечно, не способен тягаться с самолетом в глазах женщины).

Самое нелепое в истории: их стратегический план. Оказывается, с помощью газонокосилки. Гигантской газонокосилки, вроде трактора. Там еще играло не послед-

нюю роль озеро. Любовники собирались пристукнуть мужа, потом усадить его зачем-то на газонокосилку, а потом утопить. Или в несколько другом порядке: утопить, а потом усадить на газонокосилку голым? Он пытался вчитаться в репортаж, но нелепая комбинация авиаинструктора, газонокосилки и озера никак не укладывалась у него в уме, а в ушах звучали совсем иные звуки. Он заметил, что давно не вчитывается, а вслушивается. Ее голос перешибал своей звонкостью гудение голосов и какофонию трепотни, динг-донг стаканов набитого битком паба "Френч" (занимательно, что это английское слово, означающее "французский", обретало по-русски нечто мундирское — затянутое во френч). Как переводчик, Алек не мог не отметить почти неуловимый, скользящий иностранный напев в ее напористой речи. Речь шла про поезд, но не британского министерства путей сообщения.

"Представьте: английская леди со шпицем в одном халате. То есть, не шпиц, а леди — в халате. Вышла в китайском халате со шпицем чао-чао выпить чаю в станционный буфет. А поезд тронулся. Поезд ушел". (Алек отметил в уме, что у нее та же, что и у него, привычка: прояснять смысл сказанного бессмысленным повтором все тех же слов). "А она осталась на платформе. Представьте: леди со шпицем на пустой платформе где-то на полустанке между Китаем и Сибирью".

Речь шла о путешествии в Россию какой-то английской аристократки, леди то ли Бичэм, то ли Чатем (Алек не расслышал из своего угла бара), с собачкой на пустой платформе транс-сибирской железной дороги. Суть истории, насколько понял Алек, заключалась в том, что ради этой английской леди со шпицем подтянули железнодорожный состав чуть ли не из Владивостока по личному приказу Ленина. И как эта леди, прибыв в Москву, отправилась прямиком на аудиенцию к Ленину в Кремль. Оплот аристократии к лидеру большевизма в халате со шпицем, представляете? То есть, не лидер большевизма в халате со шпицем, а английская леди. Но больше всего объяснений у нее уходило на то, чтобы растолковать

своим слушателям мистику российской географии, где Сибирь граничила с Китаем. Суть дела утонула в топографии маршрутов этой леди со шпицем. Алек при этом не отрывал глаз от газетной страницы, где судебный отчет про сексуальные эскапады с газонокосилкой директорши школы был проиллюстрирован фотографиями участников. Голос за барной стойкой как будто озвучивал эти фотографии, и дама с собачкой в переводе на английский на границе Китая и Сибири изменяла своему супругу из министерства путей сообщения с авиаинструктором, бросаясь с парашютом под колеса газонокосилки, как Анна Каренина. Любопытно проверить, а не работал ли супруг-Каренин в министерстве путей сообщения? Самое поразительное — лицо супруги: такая матрона, лет под шестьдесят, умильное, слегка раздобревшее начальственное лицо директорши школы. Он попытался представить ее себе голой: на платформе с собачкой, или на газонокосилке с авиаинструктором. Гипнотизировала нелепость и несовместимость внешности и акта. Как, впрочем, нелепо и неуместно было его собственное присутствие здесь, в этом пабе, на этой улице этого города.

Дело даже не в том, что он уже слишком стар для подобных светских толкучек под "кир", "пастис" и "кампари". Дело в том, что он живет не в своем времени. Почему все приходит с таким грандиозным опозданием, как лондонский пригородный поезд? Он опоздал на поезд. Его поезд давно ушел, с его друзьями-товарищами. А это другой поезд. Не тот, не его, не наш поезд. Он не смог ужиться со своим поколением, в свою эпоху, в своей стране. И теперь обречен искать все это в других чужих обстоятельствах. Лица, казалось бы, его породы, его круга. Но это не его порода и не его круг: они старились и кружились без него, в другом времени: пространство то же, но время другое, как будто они ехали на разных этажах двухэтажного автобуса лондонского времени. Как всякий эмигрант, Алек жил в ином времени: времени своей эмиграции. Эмиграция, как тюрьма, как смерть (прыжок за Железный занавес — как на тот свет), кон-

сервирует прежний — российский — опыт. А его возраст на этой территории измерялся стажем эмигранта. Он открывал для себя то, чем полагалось увлекаться здешнему подростку. То есть, он увлекается или вынужден увлекаться тем, что ему давно не по возрасту. И поэтому его все время тянет к предыдущему поколению и к молоденьким девушкам тоже, между прочим. Как тянет к этой веснушчатой говорливой девице, годящейся ему в дочери.

Он вдруг отметил, что не слышит ее звонкого, тараторящего голоса. Он панически оглянулся: он не мог поверить, что она исчезла, вот так вот небрежно прикончив "кир" и не сказав ему до свиданья — если не словом, то кивком головы, движением брови. Ведь она дала ему знать взглядом, что она знает, что он на нее смотрит. И он дал ей знать, что он знает, что она знает. И тем не менее, она скрылась. Алек стал пробираться сквозь гам и толкучку паба, наступая на ноги, раздавая экскьюзы направо и налево. Кто-то чертыхнулся ему вслед: "bloddy Irish". Он не стал уточнять свое этническое происхождение. Он выскочил на улицу пробкой из-под шампанского (любимый напиток гуляк из Сохо).

* * *

На улице был праздник. То есть, день был будний, но ощущение праздника всегда возникало у Алека на лондонской улице. Оттого, что всего — и рекламы, и лиц, и вообще уличной жизни, — всего было гораздо больше, чем способен был ухватить взгляд и воспринять лихорадочный ум. Не это ли и есть ощущение праздника: состояние избыточности, экстраординарности происходящего? Однако его личный, непосредственный повод для праздника исчез: ее нигде не было. Вместе с ее неожиданным исчезновением пропало столь же неожиданное ощущение исключительности и необыкновенности происходящего с ним сегодня. В поисках этой потерянной избранности, он бросился по немногим знакомым местам вокруг Олд Ком-

птон Стрит, где, по его соображениям, могли толкаться люди, точнее, типы ее круга, ее окружения: от кафе "Валери" и "Maison Bertaux" до "Бара Италия" и паба "Карета и лошади" за углом. Но она как будто провалилась. И хорошо знакомым эхом этому ощущению потери в душу закрался неясный страх и подозрение в фальшивости всего происходящего вокруг. Тут же возвращалась советско-эмигрантская привычка во всем выискивать тайный подтекст, заговор и конспирацию, угляды-вать в шике и разгуле мрачную изнанку жизни: и з - г н а н к у жизни.

До вечера оставалась еще куча времени, но вокруг уже проплывал большой праздник: Сохо мотало, как палубу прогулочного катера, переполненного орущей и пьяной толпой гуляк-пассажиров. В последние годы столики кафе, баров и ресторанов стали постепенно выползать по-парижски наружу, заполняя тротуары. Вокруг них сидели, стояли, грудились толпы, балансировали на краю стола и чуть ли не друг у друга на голове чашки кофе, бокалы и обрывки реплик и хохота. Толпы клерков, с расстегнутыми воротничками и полуразвязанными галстуками, в обнимку с секретаршами подзуживали друг друга, слипаясь в одну развязно орущую кучу, под истеричный хохот разбрызгивая вино и пиво по тротуару. Город как будто отмечал хором некую праздничную дату, накачиваясь в разгуле при свете дня, но повод для праздника оставался неведомым Алеку — об этом празднике его не извещали и на него не приглашали. Эти парочки и группки за столиками и у входа в бары были полной противоположностью сдержанности и официозу учреждений, и поэтому создавали ощущение вольности, открытости и доступности этой жизни в обнимку. Но стоило около них остановиться, как сразу становилась очевидность твоего одиночества.

Фальшивые, под старинку, интерьеры пабов обманывали ностальгическим уютом, французские брассери и итальянские пиццерии, ливанские кус-кусные и греческие таверны — все это создавало атмосферу гостеприимства

и космополитичности, где у каждого есть место за столиком и каждый за стойкой на своем месте. В глазах Алека, однако, эта космополитическая толерантность не шла дальше кулинарных иллюзий. И не только кулинарных. В зале вокзальных масштабов с вывеской "Золотой гусь" подростки вместе с седыми старушками в перманенте неутомимо дергали, с одержимостью онанистов, за рычаги игральных автоматов, выбивая счастливый шанс из рук судьбы, как сталинские следователи — признание: тут подростковое поколение объединялось со стариками в своей вере в произвол судьбы — в удачу, не разбиравшую ни пола, ни возрастов. Алек проходил мимо с иронической улыбкой: он не мог полагаться на удачу — это нарушило бы всю его концепцию преступления и наказания в собственной жизни, где каждый шаг казался ему если не продуманным, то осмысленным. Он перестал давно удивляться собственному невезению. Он всегда считал, что все на свете ужасно, а если и выпадало, как встреча минуту назад, чудное мгновение, то это лишь фокус-покус и ловкость рук того, кто пытается заморочить нам голову, отвлекая нас от той вечной мысли, что жизнь — это каторга и рабская служба (если и на Бога, то от этого не легче). Алек продирался сквозь этот праздник с физиономией Достоевского, увидевшего в разгульном Лондоне поклонение Молоху. Но его, в отличие от Достоевского, гипнотизировала не толпа, а одно лицо в ней: этого лица он нигде не находил.

Тут она и возникла. Чуть ли не у него под носом. Точнее, из-за плеча. Она вышла, как будто из соседней комнаты — из дверцы за шторками между сэндвич-баром и магазином одежды для портье, швейцаров и официантов. Явно не замечая, что Алек стоит в сантиметре от нее, она выискивала, прищурившись, на другой стороне улицы то, чего, видимо, не могла найти на этой стороне. Алек стоял так близко, что видел, казалось, капельки пота на веснушчатом виске под влажным рыжим локоном. Пересекая Фрит-стрит, она приостановилась на границе солнца и тени, поправив спадающую бретельку боксерской

майки, и ее рука снова высветилась золотистым пушком, потом резкий разворот бедра, несущего все ее тело вперед, и нога обнажилась почти до трусиков из-под распадающейся надвое юбки, как будто она сейчас останется лишь в лакированных остроносых туфлях — тех, что в Москве когда-то назывались "лодочки". Алек облизнул пересохшие губы. Вид у нее был целеустремленный. На следующем перекрестке она приостановилась перед одной из тех витрин, которые выделяются среди пестроты магазинной жизни Сохо именно тем, что в них нет ничего от витринной завлекательности. То есть, человек неосведомленный мог бы подумать, что магазин этот вообще закрыт на ремонт. Или это не магазин, а контора по найму, склад, букмекерская ипподромная контора по ставкам на лошадей или офис по перепродаже билетов. Хотя витрины и были, они выглядели как плотно зашторенные окна.

Алек проследил, с какой целеустремленностью она скрылась за шторками при входе в заведение. Он пересек улицу и приблизился к витрине. Непроницаемые стекла были испещрены рекламными наклейками: "стриптиз", "парный акт", "peep show" (шоу сквозь дырочку, то есть — вподглядку), видео-кабинки, загадочные poppers. Заведение называлось "Супермаг". Он чувствовал, как начинает краснеть до корней волос. Секс-шоп. Порнуха. То самое заведение, что попадается в Сохо на каждом шагу, но ты продолжаешь делать вид, что его не замечаешь. Оно не существует, пока ты о нем не подумаешь: такой пример субъективного идеализма. Дверей как таковых видно не было, а перед входом позвякивали на сквозняке бамбуковые, или из бус занавески — эстетическое наследие 60-х: свободная любовь и революция в бамбуковых джунглях постылой цивилизации как будто призывали вернуться к первобытному состоянию, вспомнить наших предков обезьян с общим котлом, свальным грехом и прилюдным онанированием.

Перед тем как раздвинуть бамбуковые шторы в обезьяний питомник, Алек оглянулся по сторонам и тут же

понял, откуда до этого вышла его прекрасная незнакомка: на другой стороне улицы было еще одно подобное заведение, где розовый неон рекламировал прелести однополой, многосерийной и всякой другой любви — сквозь дырочку, на видео, в парнокопытном акте и в триединстве всех видов, размеров и рас. Значит, заведение, в котором она только что исчезла, было уже не первым такого рода.

Он никогда до этого в секс-шопе не бывал. И не только из-за врожденного российского лицемерия, желания не замечать того, что есть, но чему не следует быть. Не был он в подобных заведениях, скорее, из-за полуосознанного снобизма: именно сюда, в секс-шопы Сохо, устремлялись в первую очередь толпы советских (и не только советских) туристов из стран, где секс был главным табу для властей. Алек презирал толпу, и, считая себя коренным лондонцем, презирал туристов, и особенно из бывших соотечественников. Вздохнув поглубже, преодолевая в себе чувство презрения, дрожь любопытства и тошноту страха, Алек осторожно развел в стороны бамбуковые шторки: они прогремели отнюдь не сексуально: так гремят старые бухгалтерские счеты с костяшками,

Внутри не было даже обычного для подобных мест однообразно тупого бита-диско: тут было тихо и благопристойно, с легким запахом пыли и книг — очень похоже на публичную библиотеку, с полками журналов и шкафами с видео. Так мог выглядеть и провинциальный музей этнографии, где вместо туземных масок и шаманских орудий под стеклом красовались розовые резиновые вагины, надувные секс-куклы, пенисы-вибраторы, а по стенам были развешаны садо-мазохистские аппликаторы — от кожаных корсетов до хлыстов с кисточками на конце. Чтобы как-то скрыть полное замешательство, Алек выхватил из стопки какой-то журнальчик и уткнулся в него с головой, по-страусиному. Точно так же он отгораживался от остального мира газетой полчаса назад в пабе "Френч". Краем глаза он наблюдал, как его подследственная (он ведь за ней следовал), ничуть не смущаясь, покрутившись у полок с видео, деловито направилась к

детине за кассой. Тот с угрожающим видом выбрался из-за прилавка.

Там за полками начались загадочные выяснения и переговоры. Его прекрасная незнакомка делала при этом уже знакомые Алеку пассы руками, непонятно, правда, что она в этом секс-шопе могла руками изобразить. Она тараторила, как ни в чем не бывало; необычной была лишь неподражаемая российская певучесть звонкого голоса. "Американское, исключительно: не французское, не немецкое, а американское. Исключительно", донеслись до Алека ее повторы, как будто она разговаривала с иностранцем — преувеличенно четко и громко. Выслушивая ответ, она скашивала голову набок; а может быть, отворачивалась в смущении от разнузданности секс-продукции вокруг. Продавец отдернул шторку нижних стел¬лажей с видео, и она нагнулась, присев на корточки, и стала перебирать одну кассету за другой. Заглядывая сквозь просветы в полках, отделявших его от той половины, где находилась она, Алек наблюдал ее голую спину под задравшейся майкой там, где юбка плотно обтягивала зад.

Алек вздохнул отрывисто и проглотил слюну. Он не знал, куда себя деть. В руках у него все еще торчал развернутый журнал. Глаза наконец остановились на раскрытой странице: гигантским заплывшим глазом глядела на него вагина, а к ней, с высунутым языком удавленника, подбирался чей-то мокрый рот; впрочем, в переплетении тел трудно было сказать, где член, а где язык, где физиономия, а где еще чей-то зад, а снято это было с такой немыслимой позиции, что Алеку показалось: а может быть, картинка вверх ногами? Как будто если перевернуть журнал, то все станет на свое место: вагина, язык, зад, физиономия. Он еле успел захлопнуть журнал, когда у него перед носом возникла физиономия детины с усиками из-за кассы: от рубашки с цветами, похожими на развороченные вагины, до лица, напоминающего резиновый зад с усиками, — все померещилось Алеку столь же искусственным, что и экспонаты в секс-шопе, но при

этом — зловеще провокационным, потому что Алеку показалось, что эти южно-американские усики он уже где-то видел: стоит дернуть за один конец — и грим будет сорван.

"Soft porn, hard core, or, may be, gay? А может быть, резиновую куколку желаете, сэр?" — вежливо склонился над ним верзила, обводя рукой полки, как продавец итальянского мороженого: садо-мазохизм со сливками, гомосексуализм с фисташками, вагина с цикорием. Soft porn, hard core, gay. В этот момент его подопечная обвела как бы прощальным невидящим взглядом помещение и решительной походкой направилась к выходу. Алек, отодвинув плечом продавца, бросился за ней.

Ситуация повторилась В еще одном секс-шопе (все те же бамбуковые шторки, крикливая анонимность витрины и шокирующий эксгибиционизм товаров потр-ебле-ния на полках). Затем они передвинулись в еще один секс-шоп по соседству, потом в еще один в переулке неподалеку. Везде повторялась одна и та же процедура: она входила в шоп деловито, как клерк заходит в банк, оглядывала быстрым опытным глазом содержимое полок и обращалась к продавцу с одним и тем же вопросом: как отыскать видео американского производства? Особыми приметами в одном месте оказывались (как подслушал Алек) маленькие красные кружочки-наклейки на коробках, в другой порно-лавочке на американских кассетах непременно было выставлено загадочное слово hobo.

Всякий раз Алек забивался в дальний угол, отделенный от остального помещения полками с порно-журналами. Ему при этом ничего не оставалось, как хвататься за первое попавшееся порно-издание с ближайшей полки, пока его ухо улавливало ее диалог с продавцом в другом углу. Это создавало неправильное впечатление и ложные иллюзии о склонностях Алека у владельца шопа или у его подручных: ему тут же начинали предлагать разнообразнообразные вариации журнальной картинки (втроем? по-голубому? плетка с негром в наручниках?). Алек отбрыкивался, изображал чуть ли не глухонемого: мычал и

вертел головой, отодвигался, наталкивался на других покупателей-клиентов, людей, главным образом, за сорок, с такой же, как у Алека, согнутой шеей, заросшей сединой: каждый при этом делал вид, что и зашел-то сюда совершенно случайно, и каждый вел себя так, как будто он был слепым (или вокруг него были слепые?), или же как будто вокруг вообще никого нет (опять же субъективный идеализм).

В этой демонстративной приватности обнаженные гениталии всех размеров, видов и расцветок гляделись особенно беспардонно. Алек использовал всю эту бутафорию, включая других посетителей заведения, как десантник — кусты и деревья, чтобы пробиться поближе к своей незнакомке и понять, какова же истинная цель ее нескончаемых переговоров насчет американских порно-видео (за всякой видимой целью несомненно скрывалась потайная).

Когда исчерпывались все ходы и поводы потолкаться в шопе, не привлекая ни ее внимания, ни особого внимания владельца лавки, Алеку ничего не оставалось, как поджидать свою подопечную на другой стороне улицы, делая вид, как дешевый частный детектив, что он якобы читает газету или разглядывает витрины: в Сохо, в этой оргии товаров, людей и идей, попадались, слава богу, витрины не только с предложением взглянуть на удивительный разнообразный и красочный мир сквозь дыру в чьей-нибудь заднице.

В антрактах между этими мистическими порно-сессиями Алек неотступно следовал за ней по разным классическим забегаловкам Сохо, где она явно пыталась с помощью "кира" или кофе встряхнуться, перед тем как продолжить свои секс-маршруты. Но там он казался себе еще неуместнее, чем в секс-шопах: публика там была более разборчивой, и было видно за версту, что он явился не просто пить кофе.

Чем дальше они продвигались в сторону Пикадилли, тем пестрей и нелепей становились забегаловки и шопы. В квартальчике между Рупперт-стрит и Уиндмил-стрит

порно-лавчонки становились все мельче и подозрительней, а их реклама — все крикливей и беспардонней. Чем ближе к Пикадилли, тем больше все было рассчитано на заезжих зевак и шопингующий плебс, и вместо итальянских кофеен с французскими пирожными тут кавказскими танцорами крутились на огне мясные конусы шавармы, несло жареным луком от протвиней с шипящими гамбургерами и франкфуртерами, струился дымок от каштанов на углях. На углах толкались театральные барышники, мальчики "напрокат", сутенеры, подпольные валютные менялы и посредники в никому не ведомых антрепризах. Удивительно, что в обычные дни Алек, бывавший тут много раз, всего этого раньше не замечал: не замечал розового неона рекламы всех постельных колеров и сортирных радостей, со стриптизом и под шампанское. Тут бамбуковые или из бус шторки и муаровые занавески держались зазывно полураспахнутыми, и в подсветке пурпурных огней уходила вниз лестница, а за стойкой, вроде кассирши, восседала девица с вампирными губами и с бюстом, выпрыгивающим из декольте прямо тебе в лицо; она автоматически подмаргивала, как только ты поворачивал голову в ее сторону, причмокивала губами или совершенно нагло дразнила языком, как трясогузка дразнит хвостом.

Даже главную плешку порно-империи Сохо, стриптизные аркады-ревью Пола Раймонда с огнями рекламы, он в обычные дни проскакивал, как бы не видя: тут же за углом начинался рынок, и его всегда больше привлекали горы артишоков и манго, киви и фрукта-лассиона, экзотические плоды в виде морских звезд или парниковые огурцы, похожие на пенис зеленокожего гиганта: вся эта экзотика своим цветом и формами вполне конкурировала в своей искусственности с черно-розовой рекламой секс-шопов и девицами у входа в кожаных мини-юбках и чулках из рыболовной сетки. Рыночные трудяги и торговцы, покрякивая и с матерком, перекидывали с пролетарским оптимизмом с лотков в грузовики ящики, разворачивали свои пикапы, сворачивали киоски, упаковывая остатки

клубники в берестовые корзинки, чтобы распродать ее по дешевке туристам на ближайшем углу, и расчищали площадки. Вся эта трудовая жизнь шла в параллель фланированию девиц в синтетической коже и сутенеров в бейсбольных кепках. Это была другая, кромешная жизнь, в параллель нормальной, но и та, и другая не стеснялись своей рыночности, ни одна не считала себя хуже другой. Его подследственная прекрасная незнакомка курсировала между этими двумя мирами без всякого смущения. Подошла к лотку и купила кулек с черешней. И выплевывая в ладонь косточки, завернула в еще одно порно-заведение: такого мелкого пошиба и столь же мелких размеров, такое наглое и одновременно подозрительное на вид, что Алек решил подождать на тротуаре у входа. Он отступил к нише какого-то учрежденческого подъезда по соседству. Тут-то он и натолкнулся на знакомого редактора из ежемесячника "Engagement" (основатели журнала имели в виду политическую ангажированность, но в той же степени слово это означало и помолвку, и стычку).

* * *

Нужно сказать, что в этих грязноватых и подозрительных переулках Сохо нетрудно было вообразить, что тебя схватил за рукав сутенер; тем более, что у этого сотрудника журнала "Ангажемент" (проблемы Востока и Запада) физиономия была такая, что и сами сутенеры разбегутся. Билу Гринбергу было уже под пятьдесят, но одевался он так, как будто был диск-жокеем из рабочего молодежного клуба-паба для "голубых" в лондонском пригороде. В политике он был латентным большевиком, хотя по манерам напоминал секс-меньшевика. Впрочем, классы, возрасты и профессия невообразимо путались в его наряде, пытавшемся, как всегда в Англии, обмануть и свой класс, и возраст, и профессию. Из-под выреза футболки лезли наружу патлы волосатой груди, при этом пиджак — путал его с банкиром из Сити, а очки с металлическими дужками были украдены у хиппийствую-

щего интеллектуала 60-х, эпохи экзистенциализма, сменившего индийские шлепанцы на кроссовки "Рибок". Лоснящиеся волосы были затянуты аптечной резинкой в косичку — хвостиком пони. Излишний энтузиазм в потреблении дешевого кислого вина, которое раздают на бесконечных литературных и около-литературных сборищах, привел к тому, что лицо его стало похоже на карту раздела Восточной Европы после перестройки. В зубах у него дымилась сигара. В руках у него был тяжелый кожаный портфель, набитый рукописями годовой давности. Эссе Алека ("Двуязычное меньшинство") лежало в журнале с незапамятных времен. Но Алек на этот раз решил не сводить с редактором своих авторских счетов. Он вообще предпочел бы не замечать этого редактора. Ему было не до литературы и не до политики. Он, как выяснилось, поджидал, когда выйдет из секс-шопа объект его слежки (и обожания), на ступеньках входа в очередное заведение Сохо — дверь в дверь с редакцией "Ангажемента", и поэтому они не могли не столкнуться носом к носу с Билом Гринбергом:

"Ну как кино?" — спросил Бил Гринберг, редактор, пыхтя в лицо Алеку сигарой. Он склонился над ним покровительственно, не замечая, что при этом животом выталкивает его на проезжую часть.

"Какое кино?" — удивился Алек, пятясь от него в сторону, не отрывая при этом глаз от дверей секс-шопа.

"Да вы, мой друг, не смущайтесь," — сказал Бил и указал, мотнув портфелем, на соседний подъезд, где над входом сиял рекламный щит кинотеатра. Оттуда, увитые неоновыми трубками подсветок, глядели девицы, чьи невыразительные лица не отвлекали взгляд от нижней части их пухлых тел, где причинные места прикрывались изощренными названиями остросюжетных кинолент, вроде "Исповеди педагога по классу гимнастики" или "Супер-девственниц". Буквы выплывали из-под задранных ног, как спермо-извержение (или менструация?).

"Как видите, нетрудно перепугать вход в эту порнушку с нашей редакцией. Бывают накладки", — и Гринберг

забулькал, хихикая, как испорченный водопровод. Он, впрочем, полагал, что клиенты этой порнухи не слишком отличаются от его авторов: всем по меньшей мере за сорок, одинокие, не удовлетворенные жизнью люди, ищут, как и все на свете, тепла и ласки. "Типичный портрет нашего брата-писаки, не так ли?" — сказал Гринберг и потрепал Алека по плечу, пыхтя сигарой в лицо. Повторил какие-то банальности про близость сексуальных и литературных импульсов. Стал распространяться насчет того, что он — завсегдатай Сохо: вот уже второй десяток лет ходит в редакцию, и может заверить, что Сохо — идеальный пример того, как хорошо уживаются вместе искусство и проституция. "Разве искусство не проституция в своем роде? уж во всяком случае, проституция, это, несомненно — искусство". Однако времена уже не те, и в искусстве, по его мнению, все больше и больше проституирования, а в проституции все больше и больше искусственности. Пластик. Пластмассовые утехи. Кожа из заменителя. Целлулоид вместо плоти. В результате цензурных ограничений — все меньше и меньше искренности в порнографии. Но талантливые порнографы изворачиваются, как могут.

"Насчет цензуры, — запыхтел с энтузиазмом сигарой Гринберг, — вам, как выходцу из России, будут любопытны некоторое хитроумные уловки. Так сказать, умение протащить истину между строк". Он стал приводить примеры этого хитроумия. Когда издателям порножурналов и рекламы запретили публичную демонстрацию гениталий, они одели всех порнозвезд в прозрачные колготки. Поскольку закон гласил, что гениталии должны быть прикрыты, то больше ничего и не требовалось: формально все было прикрыто — и все видно. "В духе ваших эссе о цензуре как стилистическом приеме в тоталитарных режимах, не правда ли?" Алек решился-таки спросить, как насчет сроков публикации его эссе, но Гринберг был неуловим и как будто не слышал вопроса: он уже рассуждал про новую плеяду молодых авторов; о новом типе визитеров из России, все говорят по-английски, и один

другого обаятельней. Талантливые юноши и девушки, и не только девушки, а вполне зрелые женщины (он нагнулся к уху Алека, не вынимая сигары изо рта): Лондон кишит девочками из России, и каждая требует, чтобы ее немедленно прочли. Масса очень смелых сочинений: с матом и все про Бога и гениталии. Такой религиозный настрой среди молодежи. В этом есть что-то глубоко достоевское. Экспорт девочек из России сейчас процветающий бизнес.

Он слушал вполуха, вполглаза, но тут до него дошло, в чем же загадка его мистической незнакомки: она занимается проституцией. Полу-любительски, полу-легально. Из тех, короче, русских девочек, полулегальных эмигранток: жилье стоит фортуны, денег взять неоткуда, вида на жительство тоже. Судьба толкает их на панель. Им бы вернуться в Москву или "в глушь, в Саратов", но гордость не позволяет: как же так, такой-то и такой-то без году неделя в Америке, а уже отгрохал себе виллу, а такая-то и такая-то, известная харьковская мандавошка, без году неделя в Израиле, а уже распоряжается флотилией средиземноморских яхт с шашлычными на борту, а я что, полная бездарность? Не могу тут в Лондоне заработать себе даже на джинсы и вареное яйцо по утрам? За такими и рыщут по всему свету барышники и сутенеры. Он читал в газетах: русские девочки пользуются большим спросом среди мафиози: эта видимая податливость, улыбчивость, и одновременно напористость, быстрый ум и полная при этом разнузданность, никаких моральных препон — за таких много дают. Устоять перед подобными деньгами трудно. Ему представилось, как он спасает ее из рук всех этих монструозных пимпов-сутенеров и барышников-сексоторговцев.

Он оглядел улицу, и каждая вторая женщина показалась ему, как толстовскому герою "Крейцеровой сонаты", российской продажной девкой. Конечно, если взглянуть на подворотни Сохо, то можно угадать за милю интернациональный тип: будь то Пигаль в Париже или Яркон в Тель-Авиве — все те же кожаные мини-юбки в обтяжку,

груди, выпрыгивающие из декольте, губы вампира, чулки в рыболовную сеть, и туфли на шпильках, таких острых, что ими можно пришить врага в темном переулке. Но это все фасад, реклама — для обормотов-туристов. Девочки же высокого класса по виду ничем не отличаются от студенток, учительниц, соцработниц или просто домохозяек, может быть, слегка с уклоном в богемность. Взять к примеру все ту же развратную школьную матрону с ее авиаинструктором и газонокосилкой из "Дейли Телеграф": кто бы мог подумать? Внешность обманчива. Его незнакомка из паба "Френч" не подбирает, конечно же, своих клиентов на улице. Вполне возможно, она работает для какого-нибудь приватного агенства. Вызов по телефону. Составить компанию в ресторане. Прием у себя на дому. Шампанское. Нет, "кир". "Кир" и видео. Американское видео. Ей сказали, что ее клиенты — главным образом американские бизнесмены. Поэтому она и разыскивает в секс-шопах американские видео. А может быть, это ее личная инициатива: русские помешаны на Америке. Они считают, что Америка и Россия — близнецы-братья. Поэтому даже порно-фильмы предпочитают из Америки.

"Но прежний дух Сохо все еще с нами. В свободном теле — свободный дух". Гринберг продолжал свою белиберду про искусство и проституцию, и как все гармонично и параллельно продолжает уживаться в Сохо: бок о бок с секс-шопами на Уиндмилл-стрит до сих пор еврейский ресторанчик — на витрине звезда Давида и хозяин в ермолке. Солонина необыкновенной сочности, как промежности тридцатилетней вдовушки. А бульон с клецками? как соски молодухи! А блинчики с мясом? Гринберг облизнул губы. "Какая растленная глазунья", — ахнул он, переходя, видимо, от кулинарно-сексуального перевозбуждения на русский.

"Растленная глазунья? — переспросил Алек. — Вы имеете в виду: жареная яичница?" Но тот мотнул головой отрицательно. Алек проследил взгляд Гринберга и понял, что тот имел в виду: он имел в виду не яичницу, он имел в виду ту самую "глазунью" — с голубыми глазами,

которую поджидал Алек. Она стояла на тротуаре, выбравшись из бамбуковых джунглей входа в соседний секс-шоп, в двух шагах от того места, где стоял Алек с Гринбергом. Она оглядывала улицу своими голубыми светофорами. Алек застыл, боясь шевельнуться, как будто веря в то, что она его не заметит, если он не дрогнет. Она смотрела сквозь него невидящим взглядом и вдруг запрыгала и защебетала, отвечая на объятия и щебетание девицы, явно подружки, случайно возникшей в двух шагах на тротуаре, и Алек понял, что она смотрела на нее, а вовсе не на него. Алек повернулся к ним спиной, продолжая делать вид, что вслушивается в болтовню Гринберга: его покрасневшее от напряжения ухо тарелкой антенны было повернуто в сторону двух подружек. После взвизгов радостного удивления, всплесков ладоней, чмоканий в щечку, ахов и вздохов (они явно давно не виделись) — приблизительно такой диалог в грубом переводе с английского:

— А ты все на американцев работаешь? (Это явно голос подруги).

— Они хорошо платят. Как ты умудрилась так похудеть?

— Китайцы. И не надоело?

— Какая разница: лучше шляться по Сохо, чем торчать в пабе?

— В пабе торгуют несколько иным товаром. Где это ты такую юбку отхватила?

— Jigsaw. Распродажа. В пабе все кому не лень лапают тебя за что попало. Здесь по крайней мере профессионалы. Впрочем (тут голос ее понизился до полушепота), по-моему, за мной увязался один из местных фриков-извращенцев. В какой секс-шоп ни зайду, а он там, дышит мне в затылок. (В этот момент Алек покраснел и закашлялся, чтобы заглушить эти наглые выпады.)

"Насчет того, что ваши авторы периодически путают дверь редакции с порно-кино: у меня в Москве была аналогичная история," — начал Алек преувеличенно громким голосом, чтобы отвлечь внимание Била Гринберга от разговора за спиной. Это была старая история (и произошла она, кстати, не с ним, а с приятелем) про то, как однажды ночью в Москве он бежал с приступом зубной боли в дежурный зубоврачебный пункт на Малой Лубянке, и от темноты, и от боли вбежал в подъезд не с вывеской зубодерни, а в соседний, где размещалась приемная КГБ, и когда вахтер спросил его: "Вам куда?", он машинально ответил: "В зубодерню." Суть истории заключалась в том, что при слове "зубодерня" вахтер не сразу выставил нелепого визитера за дверь, а несколько помедлил: может быть, тот под зубодерней и имеет в виду КГБ? Когда Алек дошел до этого места (косясь при этом взглядом и ухом на двух подруг за спиной), то понял, что никакого каламбура по-английски с КГБ и зубодерней не получается, потому что он не знает подходящего английского перевода для зубодерни, чтобы звучало как КГБ. Впрочем, Билл Гринберг стал заранее понимающе хихикать: у русских эмигрантов всегда наготове анекдот из макабрического советского прошлого, что-то поучительное и ироническое о КГБ, не важно что.

— Ничего не показывал? — продолжал тем временем голос подруги за спиной.

— Чего показывал?

— Ну из тех, кто из-за угла — с расстегнутой ширинкой. Эксгибиционист? А юбка очень милая.

— Не думаю. Он хочет чего-то другого. И он мне кого-то напоминает. Лысина. Патлы с сединой. Голый живот торчит из-под расстегнутой рубашки. (Алек инстинктивно глянул вниз, на свой живот, и подтянул на всякий случай ремень.) Очки. Такой профессор.

— Эйнштейн?

— Я его где-то видела. Эту лысину. Эти патлы. Эти очки. По-моему, он русский. Они прямо с самолета — в секс-шопы Сохо.

— Сохо-стой, — скаламбурил про себя Алек.

— А у русских — что, особые извращения?

Они обе расхохотались. В этот момент Бил Гринберг как будто бы тоже стал прислушиваться к разговору по

соседству: при слове "русский" он насторожился и посмотрел на Алека полувопросительно-полуподозрительно.

— Порнография в России имеет сейчас на население тресковый эффект, — глубокомысленно сообщил на своем неподражаемом русском Бил Гринберг. Алек уставился на него, не соображая, какое отношение его непереводимый анекдот про зубодерню и органы безопасности имеет отношение к порнографии в России. Он, впрочем, не слишком старался вникнуть, что имеет в виду Гринберг. Когда он понял по затихающим голосам, что объект его слежки со своей подругой начинает удаляться, Алек бросился за ними вслед. На углу подруги приостановились, и Алеку, внештатному филеру несуществующих органов эмигрантской душевной безопасности, ничего не оставалось, как нырнуть в дверь секс-шопа по левую руку. Все та же атмосфера публичной библиотеки, полки с видео. Уже привычным жестом, не глядя, он схватил первый попавшийся порно-журнал, пристраиваясь поближе к выходу так, чтобы не пропустить ни одной реплики в разговоре двух подружек, расстающихся на углу. Чмокание в щечку. Бай. Бай-бай. Бай-бай-бай. Баааай. Застучали каблуки. Алек стоял, взмокший от напряжения, за бамбуковой шторой. Осторожно высунул нос: прекрасная незнакомка, медленно пройдя меж пьяными, без спутников, одна, пересекла улицу ленивой походкой, как в послеполуденном сне фавна, и скрылась в одном из секс-шопов напротив. Он вдруг почувствовал страшную усталость: еще один секс-шоп, еще один шоп, еще один секс, их слишком много, а он один, все равно за ней не угонишься.

Он захлопнул журнал: пора прекратить это подглядывание сквозь замочную скважину. Девушка работает. Завлекает клиентов своим, доступным ей способом. Американским или каким-то еще. Если она и русская, это не его собачье дело. В этот обворожительный до обморока июньский день он понял, что он моральный и душевный банкрот, не говоря уж о печальном состоянии его карманов: и в душе, и в карманах было слишком много дыр — и буквальных и метафорических. Вывернутый наизнанку, он провалился в дыру собственного кармана. Если бы даже ему взбрендило воспользоваться услугами его прекрасной уличной незнакомки как клиенту, то пришлось бы уговаривать ее открыть кредит: ни копейки за душой. Он состарился и обрюзг. Ему пора возвращаться на родину. Здесь его никто не любит. Ему казалось, что есть какие-то тайные ходы и трюки по охмурению прекрасного пола в этой стране — не так, как это делается в России. В действительности, он находился в том депрессивном состоянии, когда никто не нужен, и сила самоотвращения оборачивала его взгляд вовнутрь и отвращала от себя других. Ему нужны были доказательства того, что он еще способен испытывать эротический вздрог от жизни, с ней при этом не смешиваясь: это и есть порнография — в созерцании судорог чужой плоти. Однако меланхолическое отношение к себе как к полному банкроту было одновременно и декларацией полной свободы от этого мира. Он стал заново с любопытством разглядывать объекты, выставленные на полках секс-шопа.

"Софт-порн, хард-порн, гей-видео, сэр?" — подошел к нему хозяин заведения со стандартным меню услуг. В полутьме Алеку показалось, что на голове у него еврейская ермолка.

"Насчет видео", — неожиданно для себя решился спросить обнаглевший от собственного отчаяния Алек. И поставил вопрос прямиком: в чем, собственно, существенная разница между американским и другими порно-видео? Тот почесал за ухом, сдвинув набок ермолку:

"Дело, я думаю, в сюжете, сэр", — сказал он по-лекторски задумчиво, поглядев на Алека, как будто оценивал его интеллектуальные способности. Алек смотрел на него, как в афишу коза или как козел на стриптиз. "Американцы любят сюжетное развитие, сэр, разъяснял мудрец в ермолке. Сначала так, а потом так, а потом уже вот так. Так? Немцы же прямо сразу, без всяких сюжетов: так, так, так! Понятно?".

"Ничего непонятно. А другие? Французы, например?"

"Французы — известное дело, сэр. Французы любят что-нибудь романтическое. Comprenez?"

"Совершенно не comprenez," — стал раздражаться Алек. "Секс есть секс. В конце концов, все делают одно и то же, туда-сюда, сюда-туда, какие тут могут быть сюжеты?"

"Одно и то же, сэр? Не хотите ли вы сказать, сэр, что не понимаете разницу между сюжетом и фабулой?" — нахмурился озабоченно его собеседник.

"Мне нужны примеры. Это слишком абстрактно, — забормотал Алек, чуть ли не извиняясь. — Я не верю, как говорил Станиславский".

"Понимаю, — понимающе кивнул человек в ермолке. — Станиславский. Понимаю. Вы из России? Хотите примеров? Если вы с серьезными намерениями — мы покажем и примеры, сэр". Алек в свою очередь молчаливым кивком подтвердил серьезность своих намерений. С хорошо рассчитанной ленцой опытного продавца его инструктор подвел Алека к телевизору в углу. Зевнул. Вставил видеокассету с индифферентной ловкостью, почти сомнамбулически — явно не проспавшись после вчерашнего загула, или от полного безразличия к делу? Люди, торгующие пороком, редко сами предаются пороку, как сапожник не носит сапог собственного изготовления: слишком дорого. Алек заметил, что на голове у него вовсе не ермолка, а странная шапочка, вроде обрезанного ночного колпака. На экране возникла крашеная блондинка, склонившаяся над коленями мужчины. Медленно приспустила его джинсы, медленно вытащила из-под трусов член, медленно стала его мастурбировать, и когда добилась эрекции, стала медленно и сосредоточенно лизать его, потом обхватывать губами и только потом взяла его целиком в рот.

"И это вы называете сюжетным развитием?" — скептически пожал плечами Алек. Но этого знатока разницы между фабулой и сюжетом трудно было обескуражить отрицательной рецензией. Он снова взялся за переключатель: щелканье кассеты в видеомагнитофоне, когда

переключаешь кнопки, напоминает осторожный поворот ключа в скважине, а шелест перематывающегося видео — как шорох простыней. Все того же вида крашеная блондинка стояла на коленях и засовывала себе в рот пенис, как зубную щетку: туда-сюда, туда-сюда.

"Ни сюжета, ни эмоций, сэр. Немецкое производство", — прокомментировал его гид. Алек хмыкнул — его начинала занимать методология жанра:

"Я бы не сказал, что здесь нет сюжета. Здесь, скорее, нет подтекста". Тут было над чем задуматься: порнография как полное отсутствие подтекста — все наружу. Не это ли шокирует российский ум, привыкший загонять потайной смысл между строк — между ног? Туг можно даже сочинить фрейдистское эссе для Гринберга о подтексте как сублимации страха перед защемлением члена полузакрытой дверью.

"А вот и французы, сэр. Романтика, ирония, галльское остроумие", — объявил его гид, снова переключив видео. Блондинка, на этот раз в платье, присаживается на софу и задирает платье. Раздвигает ноги. Мужчина в костюме банковского клерка встает перед ней на колени и засовывает свою голову у нее между ног. Крупным планом его язык, лижущий задравшиеся ягодицы, раскрывшиеся складки вагины и лоснящийся от слюны клитор.

"Ну да: французы, немцы, американцы. Но почему у вас на всех видео одна и та же блондинка?" — кашлянув, решился спросить Алек.

"В наше время все звезды — международного масштаба. Национальные границы, сэр, стираются, все захватывает Голливуд", — вздохнул с грустью этот порно-нструктор.

Экран видео стоял в углу, подсвеченный настенной лампочкой багрово-лиловых, как синяк, колеров. Такое освещение бывает в фотомастерских, где идет проявка негативов. Это была негативная жизнь. В бурой мерцающей полутьме маячило белое мучнистое лицо хозяина в белой майке, со странной усеченной шапочкой на голове: Алек заметил, что с обрубленного колпака свисала

набок кисточка. Даже в этой полутьме было видно, что его лицо изборождено рытвинами оспин.

"Но для избранных, для привилегированных, для истинных ценителей этого жанра у нас есть одна пленочка-видео на патриотическую, сэр, тему." Алек пробурчал что-то, полагающееся в подобных случаях, выжидая паузу. "Роберт Бернс и Кровавая Мери", — объявил, наконец, его порно-гид. Алек чуть не прыснул от смеха:

"Кровавая Мери? Водка с томатным соком, что ли?"

"Отнюдь, сэр. С шотландской волынкой." Он перешел на шепот: "Изъято английскими цензорами из всех секс-шопов. Как англичане ненавидят свободный шотландский дух! А в России, говорят, Робби Бернс страшно популярен? Вы себе не представляете, сэр, какие штучки можно проделывать с шотландской волынкой!"

Алек, наконец, его узнал: это был уличный волынщик — по вечерам его можно было застать на шумных углах вдоль Шафтесбери Авеню от Пикадилли до Тотенхэм-роуд, у раскрытых дверей пабов и кафе. Иногда его пускали в дорогие рестораны — вроде зазывалы перед открытием в вечерние часы. В таких случаях он переодевался в шотландскую юбку со спораном и курточку-жилет с белой кружевной рубашкой, а на голове у него была эта самая шапочка-колпак со свисающей кисточкой. Он узнал его по этой самой шапочке, потому что в остальном он выглядел далеко не как королевский волынщик: как московский дачник, пожалуй, в майке и тренировочных штанах. И уже задним числом Алек догадался, что тип-вышибала с наклеенными латино-американскими усиками в одном из секс-шопов сегодняшнего маршрута, тот самый, с наклеенными усами, было на одно лицо с официантом из турецкого ресторана, куда однажды его водил редактор Гринберг; а тот, с острым личиком расторопного кокни в твидовой кепчонке из еще одного порно-шопа — явно диспетчер из соседней конторы такси-миникэбов. Этот мир был заселен людьми, появляющимися в разных ипостасях в зависимости от времени суток. Одни их знали как официантов, диспетчеров и

волынщиков; но в другие часы они возникали по совместительству в иной сфере — за прилавком секс-шопа. Вот именно: в иных сферах, по ту сторону добра и зла.

Неожиданно для себя он стал свидетелем мира, которого он раньше не замечал, который для него вообще до этого не существовал. И стал он не только свидетелем, но и участником, потому что участвовать в этом мире — это смотреть со стороны, подглядывать в щелку на содрогание чужой плоти, выставленной на публичное обозрение, — чтобы вызвать в себе дрожь приобщенности.

Верхи отрицали существование этого мира, но низы заявляли о себе сами, без посредников сверху: на видеоэкране вверх и вниз ходила женская рука, вверх и вниз — вдоль лоснящегося поршня пениса. Краем глаза, почти затылком, в мерцающей полутьме он неожиданно почувствовал присутствие третьего свидетеля. Их разделяла полка с видеокассетами. В промежутке между коробками он вдруг увидел ее профиль: немигающим взглядом, со сжатыми губами, она, не отрываясь, смотрела на этот порнографический повтор. Возможно, из-за багрового отсвета лампочки, но Алеку померещилось, что даже сквозь полумрак было видно, как щеки её рдели от стыда. Он был уверен, что она его видит. По косящему зрачку? По ироническим кинжальчикам в углах губ?

* * *

Ее лицо было так близко, что ему казалось — он слышит ее дыхание; сдавленное дыхание, такое, когда целуются украдкой — чтоб никто не слышал. Он понял, что она знает, что он знает о ее присутствии рядом. Понял, что пойман с поличным: он подглядывал в замочную скважину, мама вышла из кухни и застала его за этим непотребным занятием — штаны приспущены, он энергично онанирует, подглядывая в замочную скважину за соседкой в ванной. Алек развернулся и, не сказав ни слова шотландцу в ночном колпаке за прилавком, ринулся к выходу. "Эй, а как насчет Роберта Бернса? сэр?" Но Алек уже

раздвигал решительным жестом бамбуковые шторки у выхода. Напакостил и убегает. Он знал, что стук каблуков у него за спиной ему не мерещится: это ее каблуки, она вот-вот догонит его.

"С какой стати вы за мной шпионите?" услышал он ее звонкий и четкий голос. Затылок и плечи его напряглись, как будто его вот-вот ударят, но он не мог заставить себя остановиться, потому что не знал, как и что ей ответить; он продвигался сквозь толпу гуляк и бездельников, мимо кафе и баров, как будто во сне, когда пытаешься бежать, но знаешь, что уйти от преследования невозможно. Она уже шагала почти рядом, у его плеча, выкрикивая ему в лицо на ходу: "Вы думаете, я не заметила, что вы целый день ходите за мной по пятам?"

Алек хотел было развернуться и ответить так, как она этого заслуживает, но в этот момент каблук его скользнул по асфальту, подвернулась лодыжка, и он, потеряв равновесие, опрокинулся в сторону и назад — прямо в объятия этой прекрасной скандалистки: если бы она не подхватила его сзади, он треснулся бы затылком об асфальт. Из-под каблука выкатилась косточка от вишни.

"Я из-за вас чуть шею не сломал, — тут же перешел к обвинениям Алек. — Это ваша вишневая косточка".

"Косточка? Моя? На ней — что, написано, что ли, что она — моя?!"

"Я видел, как вы покупали черешню. А потом плевались косточками. Нехорошо. Чему вас в школе учили?"

"Я же говорю: вы за мной шпионили!" — победно провозгласила эта "растленная глазунья". Она была явно горда тем, что доказала свою правоту. Он едва вслушивался в то, что она ему говорит в ответ. Он вбирал глазами малейшие подробности ее лица, как будто увиденного сейчас в гигантский телескоп с сантиметрового расстояния. Все казалось грандиозным, символическим, прекрасным: бисер пота на верхней губе, пушок на скулах в веснушках и разлет ноздрей, бешеная синева глаз — стоит окунуться, не выплывешь. Он вдруг забыл про свою

лысину, двойной подбородок, животик и старые очки. Тяжесть ощущалась в руках и легкость в сердце.

"А может быть, я шел по своим маршрутам?" — в его голосе зазвучала давно забытая ирония.

"Это не ваш маршрут. Вы шли по моему маршруту", — сдвинулись ее брови на переносице.

"Все на свете относительно. У нас как бы совпали маршруты", — сказал он. Ведь в последний секс-шоп она попала, потому что там был он. Кто за кем, спрашивается, следил? "Я следил за вами, потому что вы следили за мной или наоборот?" — и он пустился в изящное рассуждение о том, что если маршруты совпадают, невозможно понять, кто за кем следит, где следователь и где подследственный?

"С какой стати я буду за вами следить? — вспылила она. — Вы меня ничуть не интересуете".

Он с демонстративным безразличием развернулся, чтобы идти. Она инстинктивно потянулась за ним: это ей теперь надо было доказывать свою правоту. Она чуть не схватила его за локоть. Он приостановился, обернулся:

"С подобными идеями насчет слежки, вы, судя по всему, предпочитаете в жизни американский вариант: остросюжетный, так сказать?" Он видел, как дрогнули ее губы, как сжались в кулак и снова разжались пальцы, как будто для разминки — перед тем, как залепить ему пощечину.

"Я же говорю: вы меня подслушивали, все мои разговоры в этих секс-шопах?" Она наконец-то отыскала убедительное доказательство его преступных намерений.

"Я вас не подслушивал. Я вас просто-напросто слышал. Трудно не услышать. С таким голосом — хоть уши затыкай". И он смешно показал руками, как следует затыкать уши, чтобы не слышать назойливый шум. Она смотрела на него, моргая глазами, не веря подобной наглости. Он опять поймал ее на слове, он снова вывернулся. Она всплеснула руками жестом отчаяния и недоумения, как провалившаяся на дурацком экзамене школьница.

"Ненавижу. Ненавижу, — повторяла она. — КГБ, Си-

ай-эй, Запад-Восток — ненавижу. Эта русская привычка шпионить. Подглядывать за чужой жизнью. Ничем не лучше порнографического сеанса: убедиться, что другой — не лучше тебя, что у него такие же похабные мыслишки. Это духовный онанизм". Чем чаще в воздух взлетали слова вроде "порнография" и "онанизм", тем больше прохожих замедляли шаг у этой странной парочки, как зеваки на ярмарке.

"Откуда вы знаете, что я русский, — нахмурился Алек. — У меня — что: на физиономии написано?"

"Как откуда? — опешила его собеседница. — А ваш акцент? Он что — африканский, что ли?"

"Вы тоже, вроде, имеете честь принадлежать к этому меньшинству?"

"Откуда вы знаете? У меня нет акцента."

"Я подслушивал, — он усмехнулся. — В пабе. Про английскую леди, поезд и шпица. Собачка во время пути, возможно, могла подрасти?" Она улыбнулась, как будто вопреки своей воле, услышав знакомые детские рифмы.

"Мой наемный отец любит эти стишки", — сказала она по-русски. Алек стал истерически хохотать, услышав про "наемного отца".

"Не наемный, — хихикал Алек. — Отец бывает приемный. Наемный бывает только убийца. Быстро же вы забыли родную речь". Она тоже, глядя на подрагивающие от хохота щеки Алека, расхохоталась заливистым детским смехом.

"Приемный убийца!" — повторяла она, давясь от хохота. Завороженная этим смехом улица как будто застыла на мгновение. Взгляды, устремленные на них, создавали впечатление, что их связывает нечто интимное, некая общая тайна. Алек взял ее под руку:

"Пойдем отсюда. На нас смотрят".

"Пошли", — тут же согласилась она, со странной английской мягкостью произнося согласные. Смех еще не окончательно оставил ее губы. И добавила: "Я целый день еле стою на ногах. Я хочу куда-нибудь сесть". Он ждал этого вопроса. С такого рода девицами не миновать

ресторана. Он нащупал в кармане последнюю пятерку. Его чеки в этом месяце уже не раз возвращались из-за минуса в банке; надежда была на дыру в стене: из-за компьютерной неразберихи, банк продолжал выдавать ему деньги из автоматов, но по его подсчетам, он уже выжал свою еженедельную норму и там. Ко всему прочему автомата по дороге не попадалось, и он боялся свернуть с накатанного маршрута: он боялся, что она повернется и направится по своим маршрутам, и это уже будет не его маршрут.

Рыская глазами вокруг, он заполнял паузу разговорами о том, что при всем кулинарном разнообразии Лондона приличного русского ресторана до сих пор не найти: потому что русские, в отличив от других нацменьшинств Лондона, стыдятся своего происхождения и делают вид, что их не существует. "Кроме того, — рассуждал Алек, — рестораны других этнических меньшинств — это кулинарная ностальгия по отечеству, и только русские ненавидят и свое прошлое, и настоящее, и ностальгируют по будущему, то есть по чему-то такому несуществующему". И тут ему страшно повезло: на углу с Шафтсбери Авеню оказался автомат Вестминстерского банка, и карточку этот автомат не выплюнул: в руки ему скользнули пять хрустящих десяток. Алек второй раз за сутки улыбнулся счастливой улыбкой. Он заметил, что на них пялились зеваки, потому что он стоял рядом с ней — поразительный контраст, а контраст завораживал. А может быть, ее просто-напросто знали в Сохо, ее лицо было знакомо всему кварталу. Ну и черт с ними: пусть завидуют — повезло дяде!

Прохожие как будто расступались перед ними. Но Алек пользовался толкучкой как поводом коснуться ее обнаженного локтя, плеча, бедра (она путала слова "локон" и "локоть"). Он ощущал каждый изгиб ее тела на расстоянии. Вышагивая рядом с ней, он незаметно косился на ее влажный от пота локон, раскачивающийся у виска над ухом. Он весь взмок от напряжения. Она же, наоборот, высказав все, что о нем думает, как будто забыла про

Алека и шагала с беспечностью рассеянной туристки, щурясь по сторонам; кто бы мог угадать в ней профессионалку (самой древней в мире профессии). Трудно было бы и Алека принять за сутенера; он убеждал себя, что приклеился к ней не по амурным соображениям, а как старожил этих мест, опекающий новичка, новоприбывшего, не сознающего всей опасности этих подозрительных районов города.

Впрочем, она вряд ли нуждалась в чичероне, гиде или сутенере. Когда они снова оказались у барной стойки паба "Френч" (оба инстинктивно двигались в привычном направлении), ее тут же облепила обычная свита ее полу-ухажеров, а может быть, заурядных сутенеров. Или все они были ее клиентами? Еще пару часов назад он отступил бы перед холодной жесткостью их глаз (рассчитывающих, разбирающих собеседника по косточкам: откуда он, какие деньги в кармане, в какие круги метит), замаскированной экстравагантностью одежды и эксцентричностью манер, эпатажем от бритоголовости до напудренных париков. Но на этот раз он мог обойтись без этой толпы: ему уже не надо было скрываться среди монстров.

"Кир?" — спросил он, продираясь со своим фунтом стерлингов в руке сквозь рой голов.

"Кир", — кивнула Лена (к этому моменту они представились друг другу). "Я же говорю: вы за мной шпионили. Все про меня знаете".

"Я ничего про вас не знаю. Но у меня такое впечатление, что все остальные тут про вас знают всё".

"Кто все? Я их не знаю".

"Но вы с ними только что целовались".

"Здесь так принято. Броситься с объятиями: дарлинг! Я понятия не имею, чем все они занимаются". Это экзальтированное "дарлинг" объединяло тут, действительно, всех: так восклицал и маньяк с картавой внешностью Ленина в кепке, и пьяный шармер, разыгрывающий из себя Франсиса Бэкона. "Прелесть этого заведения как раз в том и состоит, что здесь все делают вид, что друг

с другом знакомы, но на самом деле никто в принципе друг про друга ничего не знает". Алек хотел было ее перебить, чтобы вставить что-нибудь умное, но она уже выхватывала у него мысль из-под носа: "Здесь можно приписать себе какое угодно прошлое. Вон Ленин стоит. А рядом, вроде бы, Франсис Бэкон. Может быть, настоящий, а может — нет. Это не важно. Важен образ Франсиса Бэкона для репутации этого заведения, а не он сам".

"А вы себя за кого выдаете?" — спросил Алек.

"Я себя ни за кого не выдаю. Я себя продаю. В визуальном жанре, — сказала она, смотря ему прямо в глаза и глотая маленькими глотками свой "кир". — Вы могли бы всю остальную жизнь выдавать себя за Стенли Спенсера".

Алек несколько съежился от неприязни к самому себе: у английского примитивиста Стенли Спенсера было, как известно, депрессивное лицо провинциального учителя, страдающего несварением желудка. Они выпили еще. "Кир", виски. Виски, "кир". Она разглядывала его коротконогую фигуру с животиком, как музейный экспонат, скашивая голову, как на натюрморт, оценивающе, то в одну, то в другую сторону.

"Очки такие же металлические, кривые, как у него. Только волосы не те. То есть такие же, но если только эти залысины убрать", — и она фамильярным жестом, как будто обращаясь с натюрмортом или со шторой какой-нибудь, закинула его длинноватые патлы на одну сторону. В этом жесте было нечто до предела супружеско-домашнее.

В этот момент как будто параллельно приоткрылась штора облаков, и ее профиль высветился солнцем, как будто заново отмытый кусок старинной картины. Она стояла у окна, и когда протянула руку в его сторону, луч высветил нежную охру пушка волос у нее на локте, как легендарное золотое руно. С ответной фамильярностью Алек протянул руку и провел пальцем по пушку волос вдоль ее руки.

"Откуда это? И почему они видны только на солнце?" — спросил он с чуть ли не детским недоумением.

"Потому что подкрашены. Вы что, никогда не видели крашеных волос?" — сказала она, резко отдернув руку. Алек, оглядывая ее рыжину с ног до головы, спросил:

"А там какого цвета?" — Он бесцеремонно косился вниз, на ее распахнувшуюся юбку. Он почему-то решил, что опыт совместного пребывания в секс-шопе дает ему право на фамильярность за дверью этого заведения. Она покраснела так, что лицо ее слилось с бронзовой рыжеватостью ее головы.

"Пардон, — поспешил скрыть собственное замешательство Алек, — я просто сделал предположение в визуальном жанре, так сказать. Насчет визуальных жанров: Спенсер — это тот, который жил со своей сестрой, когда уставал от жены? А потом развелся и женился второй раз на женщине, которая жила не с ним, а со своей любовницей? Он ведь давно умер, — сказал Алек. — В Кукэме".

"От этого ваше с ним сходство не пострадало. Тем более, Спенсер верил в воскрешение мертвых".

"Эти его картины, про воскрешение мертвых в Кукэме, похожи, между прочим, скорее на оргию в воскресный день на деревенской общинной лужайке, а вовсе не на воскрешение. То есть, воскрешение, получается, и есть оргия по воскресеньям?" Алек был явно доволен своим каламбуром по-русски. Воскрешение — воскресение.

"Но главное не это, — сказала Лена, — залпом приканчивая один "кир" и приступая без паузы к другому. — Главное, что он носил тогу".

"Ну и что? — сказал Алек. — Волошин тоже носил тогу".

"Кто такой Волошин?" — спросила Лена.

"Это поэт. У него был дом в Крыму и в гражданскую войну он спасал без разбора и белых, и красных. Они спали у него в доме. Он там жил один с матерью".

"Вот именно: жил с матерью. Эрик Гил тоже носил тогу".

"Какая связь?"

"Ваш Волошин ходил в тоге и жил с матерью. Не считая белых и красных. А Эрик Гил, тоже в тоге, жил со своими дочерьми".

"Я не это имел в виду про мать и Волошина".

"А я имела в виду именно это — про дочерей. Так вот, этот Спенсер тоже ходил в тоге и занимался двоеженством с лесбиянкой".

"Ну и что? Байрон тоже жил со своей сестрой, но в тоге не ходил".

"Он ходил в халате. Это почти что тога, — сказала Лена. — Дело в том, что все они, эти искатели гармонии, ходили в тоге, потому что под тогой можно было ходить совершенно голым. Очень удобно заниматься развратом". Она смотрела на Алека своими голубыми глазами, не мигая. Глаза сияли провокацией. Алек глотал виски со льдом и вытирал пот. "Очень удобно: во время сеансов с обнаженной натурой, не отходя от мольберта, заниматься онанизмом. Если проделать химический анализ картин этих артистов в тогах, непременно выяснится, к маслу примешана сперма. Вы надолго в Лондоне?" — спросила она без перехода.

"В каком смысле? — несколько опешил Алек. — Я здесь живу".

"Значит вы эмигрант? Все эмигранты занимаются онанизмом — это называется: тоска по родине".

"Я себя эмигрантом не считаю", — сказал Алек. — Я не эмигрант. Я подданный Ее Величества", — добавил он с плохо скрываемой гордостью, имея в виду свое британское гражданство.

"И это ваше единственное занятие?" — снова сыронизировала Лена под глоток "кира". Алек нахохлился:

"По родине, во всяком случае, не тоскую. Тем, кто уезжает сейчас на Запад за инвалютным рублем (в его голосе появились риторические нотки), не понять, как для тех, кто уезжал навсегда без надежды на возвращение, избранное тобой (или для тебя) место жительства и становилось родным домом: иначе сойдешь с ума. Но

нынешним советским туристам этого не понять." Он в Лондоне чувствует себя как дома: в этом пабе, например. Как для всякого англичанина (а он себя считает англичанином), паб для него — это второй дом; три столпа английской экзистенции — семья, церковь и паб.

"Так у вас, кроме этого паба, есть здесь еще и семья и церковь?" — спросила Лена. Алек смутился, как это происходило всякий раз, когда речь заходила о его еврействе, или про оставленную в Москве жену. Он стал привирать про эмиграцию через Израиль, к фиктивным родственникам, как единственный возможный способ отъезда в те далекие семидесятые. С жаром, свойственным лишь еврейским интеллигентам из России, он тут же пустился в рассуждения про трагедию отъезда: следует ли оставлять близких во имя личной свободы? Или во имя продолжения великого российского разговора пренебречь правами человеческого достоинства? Он стала объяснять, почему они с женой разошлись из-за его решения покинуть Россию. Она считала, что истинной свободы не бывает вне родины, а он считал, что человек — не дерево, и поэтому нечего апеллировать к корням.

"Так вы, значит, тоскуете по вечному Иерусалиму? — не отставала Лена. — Поэт Уильям Блейк ("And we will build Jerusalem on England's green and pleasant land"), я не сомневаюсь, тоже носил тогу".

"Но я не ношу тоги. И туники тоже. Ни тоги, ни туники, ни байроновского халата. И в отличие от вас не занимаюсь, так сказать, визуальным искусством". Вопрос о тоске по родине как онанизме он опустил. Он чувствовал; что она его дразнит и что ему следовало бы отвечать с той же остроумной дерзостью, но его сковывала эта лицемерная российская стеснительность — на словах, а не на деле. Его стеснял звук. "В отличие от ваших визуальных, так сказать, увлечений, моя профессия — звук".

"Я так и поняла: вы за мной ходили по секс-шопам, чтобы не подглядывать, а подслушивать".

"Я работаю на радио." И тут же снова приврал: "Я

делаю передачу про секс-шопы. Для Русской службы Би-би-си. В России этим теперь очень интересуются. С вашим двуязычием вы могли бы стать идеальным работником Би-би-си", — поспешил добавить он.

Инстинктивная тактика, когда ясно, что избавиться от чужака не удастся и придется с этим новоприбывшим сосуществовать, ничего не остается, как стать его патроном, наставником, старшим другом — превратить его сначала в своего протеже, в подручного твоих затей и прожектов, а в конце концов — в раба твоей эмигрантской империи. Он чувствовал себя персонажем то ли Куприна, то ли Бунина: эмигрант с падшей женщиной, что-то в этом роде. Они будут работать вместе на радио, а по вечерам это радио слушать вдвоем у камина.

"У меня отец тоже работает на радио. На "Голосе Америки". Он в Вашингтоне", — пояснила Лена. А она в Лондоне. Типичный случай среди новой породы экономических эмигрантов. Он представил себе беспечного отца в комфортабельной Америке, не подозревающего, чем зарабатывает на жизнь и где проводит ночи его дочь. Чувство возмущения чужой безответственностью и разгильдяйством всегда восстанавливало в нем ощущение уверенности в себе. От временного замешательства не осталось и следа. С легкостью и напористостью жуира и бывалого человека он пустился инструктировать ее о зигзагах и опасных поворотах лондонской жизни. Я вижу его, уже не зажатым толпой: его напор, его уверенность создавали вокруг него некую защитную зону. Ясно, что этот человек занимал сценическую площадку — и публика расступалась, хотя спектакль разыгрывался не для нее, а исключительно для Лены. Он говорил несколько микрофонным, излишне громким голосом, если учесть, что они были прижаты друг к другу. Его голос звучал слегка надсадно: он слишком увлекался тем, что говорил. Про то, как трудно выжить российскому человеку в Лондоне: тут нет эмигрантского центра, нет общины как таковой, с сетью деловых эмигрантских контактов, как в Париже или в Нью-Йорке. Да и нынешний интерес к России сам

по себе — явление преходящее. В России кажется, что весь мир крутится вокруг Москвы. В действительности, Россия очень быстро превращается в еще одну страну третьего мира, выкачивающую заемы у здешних капиталистов. Его голос креп, глаза сияли: он уже не говорил, он вещал. Он готов ей помочь. Он мог бы познакомить ее со своим кругом, провести ее по удивительным местам в Лондоне, и она не чувствовала бы себя так бесприютно, чужестранкой, вынужденной бродить в одиночестве по улицам Сохо.

"Вы надолго в Лондоне?" — спросил вежливо Алек.

"В каком смысле? — опешила она. — Я здесь живу". И она объяснила, что ее привезли из Москвы через Израиль в Лондон в семилетнем возрасте родители — эмигранты "третьей волны".

Знакомая история. Родители, наверное, из поколения Алека. Он, может быть, даже встречал их в очередях за визами. Алек чуть не поперхнулся своим виски с водой. Надо было срочно менять тактику разговора. Получалось, что это она ему, а не он ей, должна читать лекции об английской жизни.

"И все-таки: давно вы занимаетесь этим самым, как вы говорите? — он кашлянул, — визуальным жанром?"

"С тех пор, как закончила училище, — пожала плечами Лена. — Я экспериментирую с фотографией. Это моя, в общем, профессия".

"Самая древняя в мире", — скривился Алек.

"Плохо, однако, оплачивается", — сказала Лена.

"Зависит, видимо, от клиента", — кивнул понимающе Алек.

"Если бы не эти американцы, непонятно, как бы я продержалась этот год на одном пособии по безработице".

"Американцы всегда хорошо платили. А в войну расплачивались сигаретами и тушенкой".

"Я предпочитаю наличные. Они до сих пор неплохо платят. Огромная корпорация. Это мне отец устроил".

"Что это за корпорация? Я ничего не понимаю. Так вас

отец, что ли, в это дело втянул?" — он был ошарашен. Отец продает свою дочь с панели. Достоевщина какая-то.

"У отца связи с рекламой. Американцы помешаны на статистике. Хотят понять, какой процент порно-видео американского производства на британском рынке." Лена продолжала тараторить про всеобщую безграмотность: какая может быть статистика, когда никто понятия не имеет, как отличить американское видео от британского, не говоря уже про французское или немецкое; тем более, все кассеты — пиратские копии. Переписаны по двадцать раз друг с друга: оригинала вообще никто никогда не видел. До Алека постепенно доходило, что речь шла о каком-то опроснике-анкете американского статистического агенства. Влияние США в Европе. Они платили ей за опрос общественного мнения, или что-то в этом роде, по поводу американской порнографии по эту сторону Атлантики. Она, недолго думая, отправилась рыться на полках секс-шопов в Сохо. Столь же неоригинальны были его собственные грязные мыслишки. Алек покраснел. "Продавцы знать ничего не хотят", — продолжала возмущаться Лена, не слишком обращая внимание, насколько смущенный был у Алека вид. "И неудивительно. Вы заметили, кто там работает? Начальники всей этой порно-империи сидят в задних комнатах, а за прилавком кто? Один — кассир вечерней смены из "Макдональда", другой — диспетчер миникэбов на углу, еще один — шотландский волынщик по совместительству, вы заметили?"

"Еще бы, — обрел наконец голос Алек. — У меня с этим волынщиком была любопытная беседа. О национальных корнях. В порнографии. Роберт Бернс и Кровавая Мери." Он прервал собственную мысль и заметил: "Удивительно, все-таки, что шотландцы носят юбки".

"Еще одна разновидность тоги. Или туники", — кивнула, с комически серьезной миной подмигнув ему, Лена. Они заказали по еще одному "киру" и виски.

"Но дело не в юбке. Наш волынщик считал, что порнография по-шотландски придется по вкусу именно мне, человеку из России. А почему? А потому, что Роберт

Бернс, как всем известно, в России страшно популярен. Понимаете, к чему я веду?" План в несколько нетрезвой голове Алека сложился элементарный. Он исходил из того, что продавцы и владельцы секс-шопов, вообще все эти мафиозные порно-империи, очевидно, терпеть не могут всякую журналистскую шушеру и социологов, сующих нос не в свое дело и подглядывающих не в ту дырочку. Он поэтому предлагает следующую тактику: они должны вдвоем притвориться глупыми туристами из России. Ведь приняли же они друг друга за приезжих из России? Он, Алек, со своим русским акцентом будет говорить с продавцами в каждом секс-шопе про вкусы московских друзей. Он может сказать, что в России интересуются именно американскими порнофильмами. Потому что Америка и Россия — близнецы-братья. В этом можно убедить кого угодно. После этого можно задавать какие угодно вопросы: какой процент, чем отличаются, сколько покупают — в каждом секс-шопе, как по анкете.

"Алек, ты — гиннес!" — сказал она на своем удивительном русском, имея в виду, что он — гений. Но Алек отметил совсем другое: что она вдруг перешла с ним на ты.

* * *

И улица, и лица, и погода, и политическая ситуация в Сохо были теми же, что и пару часов назад. Но для Алека это были совершенно иные улица, лица и погода. Поразительно, как один и тот же объект материального мира становится неузнаваем в зависимости от пары ласковых слов, нашептанных нам на ухо — да что там нашептанных, просто померещившихся между двумя улыбками, одним двусмысленным взглядом и гулом толпы в баре под звон монет в кармане. С каждой рюмкой "кира" звон монет в кармане у Алека становился, нужно сказать, все тише и тише, да и он заглушался бряцанием бамбуковых штор и занавесок из бус при входе в секс-шопы: зато гремели они уже не костяшками бухгалтерского абакуса, а при-

зывно, как туземные барабаны и бубны. Они заглядывали в эти заведения с улицы уже не украдкой, а вдвоем под ручку, как в комнату ужасов или кривых зеркал на ярмарке, прыская от смеха, в предвкушении еще одного дурацкого фокуса. Самого Алека тоже было не узнать. Даже в сиянии лысеющей макушки появилась некая целеустремленность: как будто это встречным ветром сдуло волосы, чтобы не мешать продвижению к цели. Очки, подавлявшие убогостью и дешевкой из-за гнутой металлической оправы, стали восприниматься как элегантная функциональность профессионала. В расстегнутом воротничке рубашки при галстуке, даже в животике, нависающем над ремнем, неожиданно стал узнаваться матерый волк журнализма, с наплевательством на внешнюю презентабельность: не хватало разве что сигары во рту и толстенной авторучки с блокнотом. Он входил в секс-шоп, как ревизор в советский продмаг. Его там как будто ждали.

Эти заведения больше не казались анатомическими кабинетами или кунсткамерой готических ужасов. Смущение и робость сменились у Алека с Леной школьным хихиканием: подзуживая друг друга, подталкивая друг друга локтями, они громко обсуждали все уморительные и абсурдные наглядные пособия в этих школьных кабинетах секса. Как, скажем, насчет хлыста? Или же вон тех кожаных трусиков с отверстиями где надо и где не надо? А вот эта надувная девушка: кого бы вы предпочли — пухлую блондинку или длинноногую брюнетку из резины? Алек сообщил, что предпочитает "растленную глазунью", и принялся объяснять каламбур. В еще одном шопе они обсудили все виды вибраторов с пупырышками и раздвоенными загогулинами на конце. Всякий раз, когда они выходили из очередного шопа, самые заурядные предметы, попадающиеся на глаза, гляделись странно: они долго, скажем, не могли уразуметь, для чего предназначены никелированные конструкции, вроде космических аппаратов в миниатюре в одной из витрин, пока до них не дошло, что это были разного размера и стиля кофе-

варки. Все, короче, напоминало веселый воскресный выход по вернисажам авангарда.

Окончательно исчезла, во всяком случае, робость перед сутенерами и барышниками в полутемных углах за прилавками с красными фонариками. Алек с удовольствием разыгрывал из себя дурака-туриста. Откуда? Из России. Секс? И на таком морозе? Горбачев с Раисой и три медведя? По ходу дела, когда остроты и каламбуры по поводу России и секса истощались, Алек переходил к делу и объяснял, что российские люди почему-то предпочитают американский порн. С деланной наивностью туриста он интересовался: а в чем, собственно, прелесть американских видео? Популярны ли эти видео только у русских или у англичан тоже? И т.д. и т. п. Лена была страшно довольна. Создавалось восхитительное ощущение, что весь мир — секс-шоп, а мы в нем — сутенеры. По дороге Алек успел рассказать половину своей жизни. Напирал он, как человек своего поколения, на экзотику коммуналок: если ты родился и вырос во время оргии — в комнате, где при тебе по ночам одновременно совокуплялись три поколения, одержимость советского человека сексом — это не болезненное любопытство, а просто-напросто ностальгия по детству. Она тут же стала доказывать, что все, что происходит в британских собесовских блоках для бедных, не снилось никаким советским коммуналкам. Заодно она сообщила, что русский классический балет — и есть советская порнография, а Солженицын — агент ЦРУ. Она изложила много любопытных точек зрения по разным вопросам. Но чем одержимей они пытались опровергнуть друг друга, тем чаще они смотрели друг другу в глаза, обрывая спор на полуслове и забывая, кто что сказал. К тому моменту, когда они попали в заведение под названием "Двойной акт", Алек полностью отбросил всякую настороженность и сдержанность в манерах, как, впрочем, и все свои комплексы по поводу своего английского, а заодно и по поводу своего российского акцента, как впрочем и нелепого эмигрантского вида.

Мимо этой зеленой двери (с надписью "Double act" над входом) они проходили не в первый раз, курсируя по злачным заведениям Сохо. Дверь эта была зажата между магазином одежды для всякой обслуги — от официантов до портье, и тем самым магазином кофеварок, где товары выглядели как космические аппараты мистической конструкции или как орудия секс-пыток. Дверь, измалеванная граффити и обклеенная случайными афишами, выглядела настолько мрачно и неприступно, что он не сразу заметил рекламу секс-шопа над входом. Оба, как шаловливые дети, поочередно подергали за дверную ручку: ни звонка, ни дверного молотка. Алек, обнаглев, готов был стукнуть в дверь ботинком, но в этот момент дверь сама распахнулась. Они шагнули в черный провал входа и оказались в предбаннике, типичном для порнозаведений. Коробка стен была обита черной, как траурный креп, материей с подсветкой красных матовых лампочек. В этой багровости лицо верзилы, возникшего из черного крепа, как из космической дыры, казалось распухшим от кровавых побоев. Сияли лишь белки глаз: это был темнокожий, в кожаном жилете с панковыми шипами и нашлепками, его бритоголовость была увенчана на затылке косичкой-растафари, но Алек узнал в растянутых по-жабьи щеках — индийца, как будто из "Тысяча и одной ночи", похожего на джина из бутылки: мускулы, надутые, как воздушные шары, рвались к потолку, и при каждом движении гремели какие-то цепочки и шпоры. Дверь была на такой мощной пружине, что даже этому джину приходилось придерживать ее двумя руками. Страж этот задрал вопросительно подбородок. Алек тут же завел привычную уже шарманку про Россию, и что он турист, обещал своим московским друзьям привезти видео, но все требует американские порн, а как их, эти американские видео, выбрать, никто не знает, Горбачев с Раисой, белые медведи, хинду-руси бхай-бхай. Он уже сожалел, что шагнул в этот притон.

"Босс! — прорычал джин-ланк неизвестно куда, сквозь

бамбук и бусовые занавески за спиной. — Русские явились".

"Без оружия?" — раздался мощный раскатистый бас из темноты.

"Туристы. Дипломатическая миссия. Устроим комиссию?" — проклокотал в ответ загадочные дефиниции цербер-панк.

"Впускай! — прогрохотал бас. Мощной рукой буддийский страж отодвинул занавеску, пропуская вовнутрь Алека и Лену.

В этом секс-шопе глаз тут же замечал все то, что можно обнаружить в любом секс-шопе любой столицы мира: все тот же стеклянный ящик с надувными куклами, искусственными вагинами, садомазохистской машинерией из кожи, плеток и готических кружев. Все те же бесконечные полки с порножурналами. Все те же шкафы с видео. Все те же шторки в дальнем углу — с кабинками-автоматами для порнофильмов. Однако в этом секс-шопе все это выглядело вторичным, посторонним, как будто все это случайно свезли и сбросили здесь из другого выставочного зала. Потому что само помещение было похоже на гигантскую студию с огромным итальянским окном на заднике. Заходящее солнце пробивалось сквозь пузырчатое стекло и разбивалось, как бы распыленное пульверизатором, бесконечным количеством солнечных брызг. Под этим мелким солнечным душем, как будто купая лицо, и сидел главный распорядитель всего этого порно-хозяйства, этой театральной бутафории секса.

Кресло тоже было странное для подобного заведения — парусиновое: что-то среднее между раскладным дачным и режиссерским киношным, а может быть, оно было судейско-теннисным. Первое, что бросалось в глаза — голые ноги в домашних тапочках из клетчатого войлока: стоптанные, уютные в своем привычном убожестве. Крупный лысеющий лоб прикрывал бейсбольный картуз с пластмассовым козырьком. Но главное, вся его одежда состояла из просторной туники или тоги (Алек тут же переглянулся с Леной), а поверх ее был накинут

жилет с бесконечным количеством карманов и карманчиков разного размера. Такие жилеты можно увидеть у боевиков или террористов: жилет служил вместо патронташа, где карманы предназначаются для пуль, гранат и бомб разного размера. Но вместо бомб из кармашков торчали почему-то обрывки газет. Газеты лежали перед ним пачкой на столике рядом, выхваченные страницы были разбросаны вокруг кресла. В этой своей тунике и с небритостью, перед ворохом газет он производил впечатление человека, который только что вышел из спальни к утреннему кофе. Кофе, действительно, стоял рядом в кофейнике на подносе. На носу у него были очки, и газеты он перелистывал, проглядывая сверху донизу, с профессиональной четкостью.

"Это нам приносят наши добрые соседи-итальянцы, — сказал он, взглянув из-под очков на Алека и лениво прихлебывая кофе из чашечки на миниатюрном блюдечке. — Наш брат-англичанин предпочел вест-индскому кофейному ореху Америки волшебную китайско-индийскую травку". Больше всего он был похож на авторитарного гуру, с добрыми и усталыми глазами, с легкой небритостью — из тех, кто в решающий момент, перед окончательным разоблачением в шарлатанстве и деспотии, отдает тысячам своих обожателей приказ — или указание свыше — покончить всем одновременно самоубийством. "Почему леди и джентльмены стоят? Леди и джентльмены не на городской площади. Кресла для леди и джентльмена". По мановению его руки сикхский страж-панк внес два стула, которые когда-то можно было назвать венскими. Гнутая спинка одного свернулась в спираль от часов, а в другом сиденье зияла огромная дыра. Алек присел на краешек. Через мгновение у него в руках была кружка с кофе и неизвестно откуда, из-под парусинового кресла мистера босса, а возможно, из-под его туники-тоги, появилась бутылка виски: "Кофе по-ирландски?" — спросил босс и, не дожидаясь согласия, плеснул в кофе щедрую порцию из бутылки. Лена пробормотала что-то про "кир", но тот, видимо, ее не расслышал

или просто проигнорировал как малолетнюю другого пола. "Чем могу быть полезен, леди и джентльмены, какими судьбами к нам?" — сказал он, как будто был не хозяином секс-шопа, а членом парламентской оппозиции.

Алек тут же узнал этот голос. Голос герольда. Глашатая. Голос как будто отменил маскарад пенсионера в шлепанцах перед вчерашней газетой и вернул ему его истинный облик: уличного глашатая, герольда. Алек периодически встречал, его перед знаменитыми ресторанами Уэст Энда, куда его приглашали для развлечения клиентов-туристов отнюдь не в тунике и не в домашних тапочках — в белых чулках до колен и башмаках с бантом, в ливрее, в парике, с колокольчиком в руке. Он звонил в этот колокольчик, а потом голосом, где рокотало звонкое "р", начинал свое "о-йе, о-йе, о-йе" и дальше, как радиостанция Би-би-си, все основные новости дня, как и полагается глашатаю на средневековой площади. В дневное же время, как выясняется, он заседал самодержцем по совместительству здесь, в этом порно-дворце. Эта ипостась устраивала его, как нетрудно было заметить, больше, чем орание благим матом в снег и дождь про катастрофы и убийства, делая вид, что никто, кроме него, не читает газет. Стало понятно, откуда и зачем такой ворох газет: он, судя по всему, готовился к своей вечерней смене, набираясь материала для своих герольдовских деклама ций.. Первое впечатление было — как от встречи со старым знакомым. И отсюда иллюзия, что и сам ты для другого — тоже старый знакомый. Кофе с виски еще больше укрепляли эту иллюзию, и Алек, со светской фамильярностью (в обычных обстоятельствах ему не свойственной), подхватив замечание герольда насчет китайского чая, американского кофе, снова вкратце изложил цель своего визита в секс-шоп: насчет того, чем же американские порновидео отличаются от всех остальных и почему именно они привлекают российских людей?

Тут же завязалась дискуссия двух начитанных людей. Герольд пустился в ностальгические реминисценции и параллели между маккартизмом и сталинизмом. Алек, в

свою очередь, отметил любовь генсека Сталина к голливудским фильмам, а герольд подхватил эту мысль, напомнив, что Рейган перед тем, как стать президентом, был киноактером. Алек ради вежливости сделал вид, как будто впервые слышит эту сногсшибательную новость, состроил удивленное лицо и даже пробормотал: "Не может быть! В Голливуде?"

"А вы не знали? — подлил ему кофе с виски довольный герольд. — Рейган снимался в порнофильмах. С лошадьми", — шепнул он, уточняя актерский опыт американского президента. Тут лицо Алека вытянулось от удивления без всякой иронии. Он незаметно переглянулся с Леной. Может быть, ковбойский жанр герольд и называет иронически порнографией? Но герольд был совершенно серьезен: "Леди и джентльмены, взглянем на колонку светских сплетен. Что нам Рейган! Возьмем классические британские имена. Джоан Коллинз? Ванесса Редгрейв? Гленда Джексон? Или, скажем, Ку Старк. Вчера она порно-звезда, а завтра любовница королевского отпрыска". Он деловито похлопал по карманам своего жилета и стал вытаскивать оттуда газетные вырезки, разворачивал их, вооружившись очками и водя пальцем по строкам. Все они, все эти звезды и всемирные знаменитости, начинали в секс-шопах и порнухах, в школе жизни, так сказать, в подготовительных классах на пост лидера государства или театральных подмостков. "Ванесса Редгрейв? С чего началась ее слава? С фильма Blow Job. Ф о т о э р е к ц и я " .

"Blow up, — поправил его Алек. — Фотоувеличение".

"Эрекция, увеличение, разве увеличение — не эрекция? — пожал плечами герольд. — Главное, что сначала она каталась головой по паркету, а теперь заседает в политбюро троцкистской партии и ездит с красными знаменами в Москву, вторая Айседора Дункан. Или взять Гленду Джексон. У нее вообще бисексуальное амплуа. Чего стоит ее порно-шлягер про жену русского гомосексуалиста Чайковского? А в роли леди Чаттерлей у нее муж вообще без ног на инвалидном кресле, и поэтому,

кстати, ее потянуло к конюху: у лошадей все-таки четыре ноги. А чем все ето кончилось? Она хочет стать членом Парламента. Женским членом."

"Женщина-член? — прыснула от смеха опьяневшая Лена. — Это какой-то феминистский кошмар. Как вагинальный пенис. У вас есть в продаже вагинальный пенис?" — обратилась она к герольду. Алек был несколько шокирован ее фамильярностью. Он был польщен вниманием. Он чувствовал себя героем этого часа: ему удалось попасть в святая святых порноимперии, потому что дядька в бейсбольной кепке явно был не просто боссом этого заведения. Еще неизвестно, зачем он регулярно появляется в виде герольда на площадях Уэст Энда перед ресторанами: была ли эта страсть к переодеванию сексуальной прихотью? Или, может быть, маскарад — прикрытие его главной роли в этом мире: пахана порноимперии Сохо? И эта вот мифическая личность принимает его здесь, на равных. Герольд продолжал свой экскурс в британский секс историей Ку Старк и принца Чарльза. Алек, раскрасневшийся, то и дело поправлял галстук и запускал пятерню в свои седеющие патлы. Его принимали здесь не как иностранца, а как полноправного жителя этого мира, небольшого, но своего, где особые отношения, особый жаргон, особые манеры — он здесь свой, его понимают с полуслова и он понимает с полуслова, он, короче, в своем привелигированном клубе, среди избранных — он избранный.

"Чем же отличается британский (он чуть не сказал — наш) секс от американского?" — по свойски, чтобы замять неловкость из-за фамильярности Лены, поспешил спросить Алек.

"Ответ прост: всем и одновременно — ничем, — ответил герольд, наморщив бровь. — Как сказал Оскар Уайльд, единственное, что отличает нас, британцев, от американцев, — это английский язык. У нас другой язык. Другой, так сказать, оральный секс: мы, англичане, предпочитаем сексу — разговоры о сексе. Еще предпочтительнее — по телефону. Чтобы не видеть лица партнера". Он

уже вещал истинным герольдом. Известно ли нашему русскому другу, что есть целая сеть порно-телефонной связи? Голос в наше время — самый мощный афродизиак. Звук играет гигантскую роль в развитии национальной порнографии. Что такое порно-фильм без звука? Ничто! Тут Алек и сделал роковую ошибку.

"Я знаю", — энергично кивнул он, соглашаясь. И с плохо скрываемой ноткой снобизма брякнул: "Не говорите мне про значение звука — я сам работаю на радио. Я работаю на Би-би-си". Лена незаметно наступила ему на ногу, и Алек чуть не взвыл от боли, но проглотил язык, перехватив ее взгляд. Он понял, что проговорился.

"Би-би-си, — процедил герольд, приподняв брезгливо свои кустистые, брежневские брови. — Би-би-си? Си-си-си, как говорят французы. I see, как говорят англичане".

Алек хотел что-то сострить про "бэби-сиськи", но раздумал, потому что, во-первых, эта идиотская шутка была по-русски, а во-вторых, было уже не до шуток, потому что цербер-панк с физиономией из "Тысяча и одной ночи" присвистнул крайне неодобрительно, услышав про Би-би-си, и угрожающе загремел какими-то вагинальными пенисами, как недовольные домашние хозяйки гремят посудой при неуместных гостях. Засосало под ложечкой, как перед экзаменом. Закрученная в спираль сломанная спинка псевдо-венского стула впилась ему в лопатку. Он явно провалил их гениальный план разведать состояние дел в британской порнографии, притворяясь дурылами-туристами.

"Так вы, значит, вовсе не из России, а из Би-би-си?" — нахмурился герольд. Алек заерзал. Он стал оправдываться, тараторить про то, что он, по сути, из России, но не из ее настоящего, а из еще недавнего прошлого, но в наши дни — мощная кооперация между российским радио и радио Би-би-си, и поэтому он на Би-би-си как командировочный, обменивается эфирным опытом: он, может быть, не из России конкретно в данный момент, но несомненно из российского эфира. Пока он нес всю эту

белиберду, герольд дымил сигарой и, не подымая глаз, пролистывал газеты, мусоля палец; когда он находил что-нибудь любопытное, он тут же ловким движением вырывал заметку и отправлял ее в один из карманчиков. Алек никак не мог проследить, каким образом герольд вырывал заметку так аккуратно, как будто в руках у него были невидимые миниатюрные ножницы. Было ясно, что ситуация непоправимо изменилась и явно к худшему: этот порно-император решил, наверное, что они лишь притворяются русскими, а на самом деле они — фининспекторы, или, еще ужаснее, из полиции нравов.

* * *

"В России порнография имеет в эти дни, кстати сказать, тресковый эффект, — решил он процитировать Била Гринберга. — В этом смысле...", — Алек запнулся. В каком "этом" смысле? Надо было срочно выдумать какой-нибудь смысл, связь, чтобы как-то с достоинством ретироваться. "Насчет русско-британских связей, в эфире, например, было бы любопытно в этом смысле понять, а какова специфика именно британского секса? И возможные параллели с русской эротикой". Алек снова запнулся. Герольд продолжал мусолить газетные страницы. Потом поднял глаза на Алека.

"Вы, я вижу, читаете орган британских консерваторов, достопочтенную газету "Дейли Телеграф"? Там была одна заметочка, — и он потянулся рукой к карману Алека. Бесцеремонно вытащил оттуда газету, развернул на нужной странице. "Как директорша гимназии с ее любовником, авиаинструктором — читали? — пыталась избавиться от своего супруга", — сказал он и одним мгновенным движением, не спросив Алека, вырезал заметку из газеты. Она выпала из газетного листа поразительно ровным квадратом, как будто вырезанная ножницами. Но это были не ножницы: Алек наконец увидел это орудие производства — на большом пальце у герольда был огромный ноготь, заточенный, видимо, как острый нож. Мурашки

поползли у Алека по спине. "Казалось бы, леди и джентельмены, зловещий план любовников оригинален, но прост: слегка пристукнуть супруга, усадить его на газонокосилку, запустить ее, чтобы она свалилась в пруд и супруг бы в этом пруду утоп: несчастный случай. Элементарно, доктор Уотсон, не так ли?"

"Вы это называете — элементарно?" — усмехнулась Лена. Краем глаза Алек наблюдал, как из-за шторок задних дверей появился южный американец с наклеенными усиками, тот самый, из другого секс-шопа, и стал нашептывать что-то на ухо индею-панку.

"Я обрисовал лишь контуры интриги, — продолжал мусолить вырезку из газеты герольд. — Сексуальное возбуждение, леди и джентльмены, достигается постепенным усложнением деталей". И герольд стал излагать, подглядывая в газету, как в шпаргалку, как же любовники собирались пристукнуть злосчастного супруга, работника министерства путей сообщения. Хитроумное решение состояло в том, чтобы заманить его в беседку в глухом конце сада. С этой целью директорша школы очень искусно притворилась, что вновь возжелала своего мужа с необыкновенной страстью. Остроумная идея была следующая: когда супруг взгромоздится на жену-директоршу, любовник-авиаинструктор незаметно подкрадется сзади и стукнет его по затылку, слегка оглушив; затем они усадят мужа на газонокосилку и направят газонокосилку прямиком в пруд. (Как будто с супругом случился инфаркт и он не успел нажать на тормоза). Произошла небольшая, однако, загвоздка: идея совокупления с собственной женой была для супруга настолько необычной, что он страшно возбудился, и как только прибежал в беседку, тут же разделся догола. Но это не устраивало заговорщиков: ведь не станет же, в самом деле, английский джентльмен подстригать лужайку в голом виде? Поэтому супруга стала настаивать на том, что любовные игры они должны начать одетыми; она объяснила это тем, что крайне возбуждается, когда раздевает мужчину сама, расстегивая все пуговицы и молнии от воротничка рубашки до шнурков

от ботинок. И чем сложнее процесс раздевания, тем больше она возбуждается. "Этим и отличается британский секс от любого другого в мире — сложностью процесса", — сказал герольд. — В любовных делах у англичан, может быть, больше страсти, чем у каких-нибудь испанцев. Но у англичан эта страсть на Альбионе расходуется на преодоление ими же созданных трудностей: не в этом ли сходство английской и русской наций?"

"В России леди и джентльмены ходят в шкурах диких животных, не так ли?" — уточнил у Алека герольд. Казалось бы, процесс отстегивания крючков и шнуровки убивает прелесть эротического соития. Это не так! Акт совокупления в шкурах диких животных не становится от этого менее увлекательным, по мысли герольда, чем у голых туземцев на африканском пляже. Наоборот. В чем прелесть стриптиза? В процессе раздевания. Он подмигнул Алеку и Лене. Алеку показалось, что он хочет сказать нечто большее, чем говорилось вслух, как будто это не разговор с ним, а сложный процесс раздевания.

"В таком случае самый мощный оргазм среди народов мира можно обнаружить только у эскимосов за Полярным кругом?" — сыронизировала Лена.

"Но эскимосы, в отличие от остальных народов мира, вообще не раздеваются, — отпарировал герольд стриптиза, — В то время как контраст между голым телом и шкурой дикого животного — неповторимый афродизиак".

"Шкуры диких животных в России давно дефицит, — сказал Алек, откушав еще одну порцию ирландского кофе. — Простой народ ходит в шкурах домашних животных".

В этот момент из угла раздалось мяуканье. Пушистый белый кот, как будто эмигрант из Сибири, высунул свою усатую морду с полок видео.

"Всем известно, что в любовных делах англичане предпочитают не людей, а друзей человека", — неожиданно выступил на авансцену еще один голос из угла.

"Под друзьями человека кого вы имеете в виду: негров,

женщин или кошек?" Герольд ценил точность газетного репортажа.

"Я имею в виду дельфина", — сказал голос. Акцент был знакомым: шотландским. Алек всмотрелся. Это был несомненно он: шотландец-волынщик из секс-шопа по соседству с редакцией еженедельника "Ангажемент". Он был уже переодет к своему вечернему выходу: в шотландской юбке со спораном. Алек хотел было сострить про эту юбку как преодоление трудностей в сексе, но решил промолчать: во-первых, потому что в присутствии волынщика здесь было что-то фатальное и подтверждало подозрения Алека о конспирации владельцев секс-шопов; а во-вторых, его заинтриговала связь между сексом и дельфином, тем более, что дельфин — не животное.

"Ааа, дельфин", — вздохнул ностальгически герольд. "Дельфин Фреди. Из городка, одну секундочку...", — и он порылся в карманах-патронташах своего жилета и выудил оттуда целый букет вырезок. "Леди и джентльмены. Дело о мастурбации дельфина на глазах у изумленной публики. Защитник прав животных, мистер Купер из рыбацкой деревушки Амбл на побережье Нортамберленда предстал перед судом присяжных и сказал в свое оправдание, что дельфин, по прозвищу Фреди, в игривом настроении самолично подхватывает купающихся за руку или за ногу своим пенисом, который находится в состоянии постоянной эрекции. Дельфин Фреди стал предметом культового обожания восторженной публики. В деревушку Амбл началось паломничество сексуально неудовлетворенных слоев населения. Однако они слишком примитизировали роль пениса у дельфина Фреди. Сложность, сложность — залог успешного секса. Пенис служит Фреди не только в сексуальных целях. Мистер Купер утверждает, что дельфин Фреди, выхватив ртом рыбу из воды, подбрасывал ее в воздух, а потом упражнялся с нею своим пенисом как теннисной ракеткой. Мистер Купер назвал пенис Фреди протянутой рукой дружбы: было бы хамством отвергнуть это рукопожатие. Судья предупредил присяжных не мерить пенис дельфина человеческими

стандартами. Защитник прав животных, мистер Купер был оправдан. Но дельфин Фреди, то ли обескураженный судебной процедурой, то ли шокированный лицемерием англичан, а может быть, просто устав от обожания, ушел в открытое море и больше не появлялся у берегов деревушки Амбл. Толпы женщин, стариков и детей в отчаянии бродят по побережью Нортамберленда и всматриваются в морскую даль: не покажется ли пенис дельфина Фреди среди гребешков волн на горизонте? Мужчины, как говорится по-английски, держат свои пальцы скрещенными".

"Пальцы?" -—переспросила Лена.

"Пальцы. Не пенисы. Английские мужчины пока что, в залог удачи, не скрещивают свои пенисы".

"Это как по-русски — постучать по дереву", — кивнул Алек.

"Пенисом?"

"Нет, пальцем", — уточнил Алек.

В этот момент пушистый белый кот спрыгнул с мощного чернокожего плеча индийского джина-панка и оказался на куче газет перед герольдом. Тот бросил ему газетную вырезку про пенис дельфина. Кот стал обнюхивать газетную трубочку, как будто это была не газетная вырезка, а говяжья. Потом уселся поудобнее и стал жевать этот кусок. За ним последовала статья про директоршу и газонокосилку. Слышалось аппетитное чавканье.

"Так материал лучше запоминается", — сказал герольд, как будто это не он, а кот выступал в качестве глашатая с газетными новостями на лондонских площадях. Он почесывал жующего кота за ухом. Вид у герольда был как у Голдфингера из фильмов про Джеймса Бонда. Особенно с его подручными джинами, мучачос, панками и волынщиками за спиной. Загадочные типы в углу переглядывались, перешептывались, может быть, обменивались инструкциями? Эти цирковые номера с котом, жующим газетные обрывки со всеми этими бредовыми историями про сверх-эрекцию у дельфинов и секс с газонокосилками: до Алека стало доходить, что ему с Леной просто-

непросто морочили голову. Отвлекали внимание, а сами решали, как избавиться, не оставив следов, от этой парочки назойливых журналистов-разоблачителей, возможно, даже тайных агентов полиции. Алеку казалось, что уголовный сброд, толпящийся в углу, сжимает кольцо вокруг них. Пора сматываться.

"А что, кстати, произошло с тем работником путей сообщения на газонокосилке — супругом любовницы авиаинструктора?" — Алек старался звучать небрежно, по-светски, осторожно отступая к выходу. Кот дожевывал у них на глазах эту любовную историю.

"Супруг очнулся, выпрыгнул из газонокосилки и выплыл на другом берегу озера, — сказал герольд. — Авиаинструктор догнать его не мог, потому что не умел плавать: он умел только летать. А вы куда?"

"Нам тоже пора двигаться", — сказал Алек, неясно, на что намекая, и взял Лену под локоть.

"После приема пищи нашему коту тоже необходим моцион", — сказал герольд и, приподняв кота за шкирку, оторвал его от газетной кучи, и подбросил в воздух. Кот приземлился на плече у волынщика. Тот брезгливо поморщился, но взял кота в руки. У кота под мордой поблескивал ошейник. Разве котов выводят на прогулку на цепочке? Кот это или собака? Впрочем, какое ему дело: это все отвлекающий маневр. Гости, натужно улыбаясь и раскланиваясь, попятились задом к выходу. "Куда же вы? — всплеснул руками им вслед герольд. — А мы так надеялись послушать про секс с русскими медведями".

Он поднялся с кресла: тога его зацепилась за ручку кресла и обнажила белое в склеротических венах бедро. Алек отвел глаза и заспешил прочь. Перед бамбуковыми шторами стоял мексиканец с усиками, как будто у него за поясом было два револьвера. Какие-то тени шевелились за занавеской. Краем глаза Алек видел, как волынщик в юбке с котом поднялся с табурета и двинулся за ними.

"А мы вот тоже — прогуляться с уличными котами", — бросил Алек через плечо и рванулся с Леной наружу.

* * *

Лондон, соблюдающий приватность, привыкший отделять торговый прилавок с развлечениями от места жительства, — город темный; от этого освещенные злачные места города, вроде Сохо, кажутся ярче, чем на самом деле. Алек с Леной выскочили из предбанника секс-шопа на улицу, как будто из-за полутемных кулис на залитую огнями сцену. Вечернее Сохо встретило их коктейлем из пьяного гула толпы, яичного желтка музейных газовых фонарей, шипения неоновых реклам, кулинарным чадом из кухонных вентиляторов. Продавцы фалафеля, французских бличнов-креп, пиццы и самозы, шавармы и хот-догов высвечивались гирляндами разноцветных лампочек под навесами своих лотков, как зловещие кукловоды из балагана. Над протвинями поблескивали ножи и поварские трехзубые вилки этих тайных осведомителей порно-мафии Сохо. Они, казалось, были нацелены на Алека с Леной. Лена считала, что Алек преувеличивает: так в детстве кажется, что если ты идешь в цирк, то вся улица идет туда же.

Но стоило завернуть за угол и стало понятно, что за ними действительно следят: волынщик двигался параллельно им сквозь толпу по другой стороне улицы. Белый кот был виден за версту. Что за нелепая идея моциона для котов: кошки, как известно, гуляют сами по себе. Это не кота "прогуливали" по Сохо, а их сопровождали, выслеживая их маршруты, не отпуская ни на шаг. Иначе и быть не могло: этот монстр в бейсбольной кепке с ногтем-ножом, этот якобы диспетчер миникэбов с мексиканскими усиками-кинжалами, этот джиноподобный сутенер-панк — вся порно-мафия Сохо явно решила сплотить силы, чтобы выловить и как следует проучить, по крайней мере запугать эту парочку шаромыжников, выдающую себя за российских туристов, хотя любому опытному антрепренеру порно-бизнеса без очков ясно, что они — правительственные агенты, и явились шантажировать, и их следовало приструнить. Надо было уходить подальше

от гнезда порока на Пикадилли, и Алек, косясь через плечо, нырнул в переулки, ведущие через Шафтсбери Авеню к Лейстер Сквер.

Именно в этом состоянии роковой, как ему казалось, опасности, к Алеку вновь вернулось забытое чувство цельности, осмысленности жизненного маршрута, он вновь почувствовал себя решительным, ловким и смелым, а вокруг враги и мороз. Мороза никакого не было, был теплый июньский вечер, и вместо снега должен был бы летать пух (если бы все тополя в Лондоне не были бы женского рода и пуха-семени поэтому не распространяли); Алеку было жарко так же, как было жарко на трескучем морозе в Москве, где глаза резало не от рекламных огней, а слепящего снега, а плечо ныло от тяжелого чемодана, набитого рукописями: он пробирался сквозь сугробы брежневской России к голландскому посольству, чтобы переправить рукописи на Запад, и казалось, что в спину ему глядит вся улица, и его вот-вот схватит за шкирку агент в штатском. Чемодан, в конце концов, был благополучно доставлен на Запад. Но когда он взялся перечитывать свои страницы, выяснилось, что это были слова про жизнь, которой уже не стало, как будто ее никогда и не было, потому что она, эта московская жизнь, продолжала существовать, но уже без него, она без него могла обойтись, а значит, и его присутствие там, в прошлом, не имело никакого смысла. Он закрыл чемодан и больше о нем не вспоминал. Но нечем было захлопнуть образовавшуюся пустоту внутри, без дна и покрышки. А сейчас вместе с железным занавесом исчезала и страна, где находилась дыра в его прошлом. Мы хотим, чтобы наша любовь умирала вместе с нашей изменой этой любви, не понимая, что любовь может существовать сама по себе — без страны и чемодана, без дна и покрышки.

И вот сейчас, уходя от зловещего волынщика сквозь лондонскую толпу, он сжимал пальцы с той же дрожью предчувствия развязки, как тогда в Москве, его рука сжимала ручку чемодана. Сейчас его рука была переплетена с рукой Лены. Она возникла как будто из этой

чемоданной дыры в его биографии. Весь сегодняшний маршрут обретал и цель, и смысл. Ему было и страшно, и сладко. Он был на своем месте, у себя дома, в окружении врагов, спасая друзей. Что на свете более всего ностальгично? Что не меняется от страны к стране? Классическая музыка? Запах скошенной травы? Конечно. Но еще и чувство опасности. Ощущение угрозы. Боль. Право на гражданство обретается через страх. До смерти напуганный уголовщиной Сохо, Алек больше не чувствовал себя чужаком на этой улице, в этом городе, в этом мире. Подхватив Лену под руку, он с прозорливостью гениального стратега прокладывал маршрут, запутывающий их сыщика. Он знал, например, что в магазине одежды для официантов и швейцаров, на углу с Олд Комптон Стрит, есть зеркало в витрине, и можно наблюдать за движением своего врага, разглядывая якобы витрину, как это делается в шпионских фильмах. Сыщик, впрочем, не скрывал ни своих целей, ни своего присутствия. Перед ним расступалась толпа, потому что его тянул вперед на цепочке кот — наподобие собаки: этот ангорский альбинос как будто шел по следу, вынюхивая Лену и Алека в пабах, подворотнях и магазинах.

"Эй, стоп, эй," — кричал волынщик в юбке и махал руками, пытаясь привлечь внимание Алека с Леной. Так казалось ей. Но Алек был уверен, что он делает знаки и дает указания своим сподручным из подпольного порномира, чтобы захватить Алека в мешок, зажать в тиски и взять на абордаж. Но Алек каждый раз находил обходной маневр, проходной двор, заднюю дверь. На удивление Лене, он знал все ходы и выходы. Заведения Сохо стали казаться ей подпольными явками, уголовной малиной, политубежищем.

Они попытались слиться с толпой в "Баре Италия" на Фрит Стрит, где марсианские треножники барных табуреток в узком промежутке между зеркальной стенкой и кофейной машиной-экспрессо были забиты парнями, от маляров до жиголо, кто в майках, кто в пестрых галстуках и кожаных куртках: они смотрели итальянский матч по

футболу, на гигантском телеэкране у задней стенки. Тут была своя ностальгия: с заглушением всех звуков, кроме итальянского гвалта. Разглядеть лица сквозь сизый сигаретный дым было невозможно, у Алека было ощущение, что здесь они смогут затеряться. Тем более, вид и взгляд у него изменился настолько, что его явно принимали за своего, хлопали по плечу и подали капуччино так, как будто он тут кофе заказывал всю жизнь. Он заглянул в кафе-патессери "Валери", где напудренные девушки в беретах и с ярко накрашенными губами изображали из себя кокоток 50-х годов, и даже нырнул в иную ностальгию — в паб "Карета и лошади" на Грик Стрит, где собиралась толпа клевретов при еженедельнике "Спектейтор" (клика, отстаивающая право на нездоровый образ жизни, перманентный спад в экономике и сентиментальный цинизм в любви и дружбе); там стоял кислый пивной дух, как будто в этих пивных кружках прокисали и идеи, и эксцентризм их проповедников — надо было или сменить напиток или идеи. В обычные дни ему казалось, что эта толпа в полосатых пиджаках старой школы писак с Флит Стрит не подпускает его ближе, чем на расстояние выстрела. Но сейчас, с Леной под руку, он был тут же пропущен к барной стойке, а кто-то даже заговорил с ними о погоде в Сибири. В их виде было нечто незаурядное, это всем было понятно. Но не успевали они пропустить по стаканчику, как тут же за стеклом Алек замечал зловещий силуэт волынщика и его сподручных, приходилось снова менять политическое убежище.

В одном из окон китайских баров Алеку померещился носатый профиль Била Гринберга, но именно померещился, как призрак — и призрак редакции "Ангажемента" с мистическими конфронтациями Востока и Запада, и его, Алека, собственных эмигрантских парадоксов, залежавшихся в архивах. Сейчас становилось ясно, все это ушло в астрал, провалилось вместе с чемоданом старых рукописей в ходе перестройки неизвестно, в какие подвалы памяти. Алек испытывал необычайную приподнятость, как будто избавился от страшного гнета и уезжал в другую

страну, оставляя все заботы позади. Они с Леной, кстати, выяснили, что оба живут на южном берегу Темзы, куда не ходит метро, а только поезда надземки: надо было вместе продвигаться через Лейстер Сквер к вокзалу Чаринг Кросс, уходя от хвоста, и в этой общности маршрута Алек тоже углядел намек на vita nova, без российских архивных чемоданов. Уже не было ни России, ни Англии. Ни Востока, ни Запада. Были только он и Лена. Ему казалось, что он знает ее чуть ли не с детства, просто они давно не виделись.

Он как будто забыл, что поводом для этих откровений были темные делишки в порнухах Сохо; что вместе с волынщиком за ними крадется и мексиканец-диспетчер, и джин-панк, и все на свете эрики гили в туниках и тогах. Они уже кружили в Чайна-тауне, где голые, обмазанные лаком для обманной аппетитности туши китайских уток смотрелись зловещим будущим, а косящие китайцы с поварскими тесаками в руках казались сообщниками порно-конспирации. У китайцев исчезало, действительно, косоглазие, когда лица их вытягивались при виде лысоватого эмигранта под руку с развязной девицей (племянницей? дочерью?), уходящих в убыстренном темпе от волынщика в шотландской юбке с белым котом на цепочке. Эта экзотическая четверка свернула на Чаринг Кросс к вокзалу. Там они с боем стали продираться сквозь толпу, которая, как обычно, как верующие неведомой секты, пыталась вычитать свою судьбу из расписания поездов (половина из которых была отменена, а другая половина страшно запаздывала) на электронном панно под чугунными сводами. Натренированный глаз Алека тут же угадал нужную платформу: поезд отходил через несколько секунд. Краем глаза Алек убедился, что запутавшийся в расписании волынщик (или его кот на поводке) никак не может выбраться из толкучки. Алек с Леной рванулись к поездам, однако в последний момент тяжелые ворота перед входом на платформу с грохотом захлопнулись у них перед носом, как железный занавес перед советским эмигрантом. Раздались милицейские

свистки кондукторов и загрохотали составы под стук колес. В этот момент перед ними вырос волынщик в шотландской юбке. Вокруг его оголенных ног в гетрах увивался кот на поводке.

"Похоже на ситуацию с леди Бичэм, правда?" — сказала Лена. Все они опоздали на свой поезд. Оказались припертыми к железным воротам. Скованные одной цепью. С котом на собачьем поводке.

"Эй, русски-русски менч", — обратился к ним на смеси русского и идиша шотландский волынщик, придвигаясь к Лене и Алеку.

"Отлынь!", — отмахнулась эмигрантским неологизмом Лена, а Алек, не тратя время на неологизмы, подхватил ее под локоть и ринулся к боковому выходу, по ступеням лестницы вниз на Виллерс Стрит. Там, под галереями подвалов вокзала и арками железнодорожного моста собирались пьянчуги и доходяги, полусонные и полупьяные. "Change, change", тянулись они с протянутой рукой за милостыней-мелочью на каждом углу. Но слово change означает не только карманные деньги, но и перемену в судьбе, и обезумевший от беготни Алек чертыхался: "О каких переменах в этой стране может идти речь?" И вдруг понял, что арка, в которую они забежали, была тупиковой. Впереди была стена и множество протянутых рук требовало то ли карманной мелочи, то ли кардинальных перемен в образе жизни. Отступать было некуда. Слыша, как настигают их шаги волынщика за спиной, Алек завернул за поворот и втиснулся с Леной в узкую нишу в стене.

Алек был прав: волынщик был не один. Первым возник перед нишей этот странный джин из бутылки: лысый, темнокожий, с косичками-растафари, в кожаных штанах с нашлепками, шипами и с цепочками, где гигантские мускулы были похожи на дирижабли. Толстогубый, он пыхтел, уставившись на них из темноты — белки его глаз вращались, как фары страшной машины. Еще мгновение, и он разнесет Алека с Леной в клочья. Каждый реагирует на смертельную опасность по-разному. Но никто бы не мог предсказать того, как среагировала на это чудовище

Лена. Она прыгнула. Она прыгнула на индийского джина из секс-шопа, обвив руками его мощную шею, увешанную цепями секс-стража, и впилась ему в губы звонким смачным поцелуем. И тут же отпрыгнула, испугавшись собственной смелости. Темнокожий панк стоял, ошарашенный, покачиваясь, с открытым ртом, дыша, как рыба, выброшенная на берег. Лишь шевелились косички-растафари, ставшие дыбом в вечернем сквознячке. Его лицо побелело, как у Майкла Джексона после сотой пластической операции: видели ли вы когда-нибудь белого негра? Потом, не проронив ни звука, он развернулся и бросился бежать, в ужасе оглядываясь на Лену: не преследует ли она его?

В этот момент у ниши возник волынщик с котом на поводке. Алек не верил в непротивление злу. Пока Лена занималась странными сексуальными играми с сикхом-панком, Алек, вжавшись в стенной проем и сжав зубы, выждал, пока обрезанный колпак с кисточкой на голове у волынщика не поравняется с ним. Именно за этой кисточкой прыгнул в воздух кот, сорвавшись с поводка, когда шапочка волынщика слетела с его головы при первом ударе Алека из-за спины ребром ладони по затылку — он бросился на волынщика из темноты с ловкостью опытного гангстера. Не давая волынщику опомниться, он ударил ему ногой прямо под яйца. Волынщик взвыл и, согнувшись вдвое, повалился на асфальт, попискивая под ударами Алека, как мешок шотландской волынки. Алек чувствовал себя защитником слабого пола (Лены), национальных меньшинств (эмиграции) и борцом за свободу слова (в секс-шопах).

Ошарашенная всей сценой насилия, Лена, только что избавившаяся от джина-панка, стала в ужасе колотить Алека своим блокнотом со статистическими выводами о секс-шопах, оттаскивая его в сторону. Но Алек оторвался от волынщика только тогда, когда кот вспрыгнул сначала на распростертого на асфальте волынщика, а оттуда, описав дугу в воздухе, приземлился прямо Алеку на лысину. Алек взвизгнул и отпрянул в испуге, нелепо

взмахнув руками. Кот, распушив хвост, с мяуканьем спрыгнул на асфальт и, выскользнув из-под ног столпившихся ротозеев, обманными зигзагами устремился из-под арки на улицу. Алек в изнеможении прислонился к стене. Он дышал астматически.

"Псих, псих!" — поднялся, чертыхаясь, с асфальта волынщик. Отряхиваясь, он стал объяснять Лене с перекошенной от бешенства физиономией: "Объясни своему русскому, — втолковывал он ошарашенной Лене, — что я хочу предложить ему бизнес. Бизнес, понял? Мы здесь, вы в Москве, о-кей? Видео, о-кей? Москва-Лондон, Лондон-Москва, секс-шопы, совместное предприятие, о-кей?" Из его объяснений выходило, что Лену с Алеком никто не собирался запугивать; что волынщик сам запуган до смерти; что он предлагает им вступить в сделку — по секрету от босса-герольда из секс-шопа. За индийца-панка (он, кстати, никакой не сикх, а марокканский еврей) волынщик не отвечает: тот сам, вроде бы, следил за волынщиком, а может быть, тоже тайно хотел бы вступить в дело. Экспорт американских и любых других видео в Россию. А из России в Англию — девочек. Короче, начать собственный порно-бизнес. По мнению волынщика, Лена могла бы стать прекрасной барменшей или даже хозяйкой борделя. Поставили бы дело на широкую ногу. С филиалом в Чикаго, Глазго и других странах.

"И одновременно преподавали бы русский язык заинтересованным лицам. Секс в обратном переводе, так сказать", — задумался Алек о будущих перспективах неожиданной идеи совместного предприятия.

"Стоп, — вдруг зашептал волынщик. Он оглянулся в панике. — Где кот?" Он забегал кругами, заглянул в угол, в нишу, добрел до тупика под аркой, вернулся обратно. Он был бледен и дрожал. "Я потерял кота. Босс меня уволит", — повторял он, вытирая кровь с губ и пот со лба. Дело в том, что волынщик отправился вслед за Алеком с Леной по секрету от босса, сделав вид, что пошел на прогулку с котом. Этим котом босс-герольд дорожит больше, чем родной мамой, он, возможно, с ним

живет по-супружески, и если кот исчезнет, волынщику придется отвечать за эту потерю головой — вполне возможно и в буквальном смысле, потому что у герольда связи не только с похотливыми дельфинами, безумными газонокосилками и джинами из бутылки. Если он не найдет кота, Сохо для волынщика закроется раз и навсегда, а без Сохо у волынщика нет жизни. Тогда прости-прощай всем надеждам на совместное российско-британское порно-лредприятие. По ходу дела волынщик признался, что он на самом деле никакой не шотландец, а из семьи эмигрантов-украинцев, но горд тем, что вырос в Шотландии, и считает Роберта Бернса — шотландским Тарасом Шевченко. Как Алек относится к идее порно-фильма украинско-британского производства про Тараса Шевченко и Кровавую Мери? С Котом в сапогах? Они вспомнили, что кот исчез.

Они начали прочесывать улицы квартал за кварталом. Однако кот оказался действительно тем самым, с большой буквы и в семимильных сапогах, и скрылся, судя по всему, в районе Лукоморья, где дуб зеленый и златая цепь. В конце концов Алек так проникся бедами и духовными метаниями волынщика, что заявил о своей готовности лично переговорить с боссом-герольдом об исчезновении кота. Избавившись от чувства страха, Алек тут же вообразил себя обладателем фиктивных прерогатив человека не без связей. Он готов был компенсировать потерю кота предложением о сотрудничестве герольда с Русской службой Би-би-си.

Однако подобных кардинальных мер не потребовалось: все, как всегда в Лондоне, благополучно разрешилось само по себе. Когда они добрались до дверей секс-шопа под названием "Двойной акт", они не поверили своим глазам: на пороге перед шторками из бусин восседало знакомое белое пушистое животное. Кот усердно вылизывал свою шерстку, отмываясь от грязного прошлого и готовясь, очевидно, ко сну. Перед ним шелестели на тротуаре обрывки газет. Сохо тоже пустело, всасывая,

как обглоданную кость, оставшиеся кучки гуляк в ночные клубы.

"Коты всегда сами находят дорогу домой, — сказала Лена. — Но только очень сложным путем".

"Похоже на формулировку секса по-английоки", — сказал Алек.

"Где вся прелесть — это преодоление трудностей по ходу дела, что аналогично сексу по-русски", — напомнила она ему уроки прошедшего дня в такси по дороге домой. Они действительно оказались соседями. Алек, провожая ее до дверей, размышлял про себя, с кем можно было бы сравнить его отношения с Леной, если бы они стали любовниками: с Эриком Гилом, который спал со своей дочерью, или со Стэнли Спенсером, у которого была, вроде бы, связь с его младшей сестрой? Или это у Байрона — с сестрой? Нет, он не Байрон, он другой. Но заведомо изгнанник. Лена, впустив после недолгих колебаний Алека вовнутрь, заметила цинично: "Смешно, но я-таки заполучила своего первого клиента из Сохо".

"Я был уверен, что это в конце концов произойдет, — сказал Алек, — но не думал, что это произойдет таким сложным путем".

Лондон 1994

Василий АГАФОНОВ

ДВА РАССКАЗА

В далеком городе

Дождь не переставал. Он обстоятельно стучал в давно уже вымокший плащ, внезапно бросался на озябшие никлые липы, задирал дрожащие светлой изнанкой листы, радостно вздувал холодные пузыри в быстрых мутных ручьях и сбегал чугунной решеткой к равнодушным сапогам постового у финского посольства. Михаил сунул руку в липкий карман. Сигареты безнадежно вымокли. Он медленно стряхнул воду с тяжелого лица. Перед ним блестящий и пустой, насквозь выдутый ветрами лежал Малый Левшинский...

Утром, когда подъезжали к гостинице, он увидел свой старый дом. Желтый, облезлый, с чахлым садом, тусклым призраком мелькнул он за окном такси. Как давно не был он в Городе! Как бесконечно давно! Но сейчас время вспыхнуло и сгорело, обвалилось жалким садом родного дома, разбежалось ленивыми арбатскими переулками,

забродило глухими прудами Нескучного сада. Ах, эти пруды! Тихой осенью как сумрачно и покинуто лежали они в своих каменных чашах! Как холодно перебирали волной багровые листья.

Он тряхнул головой, расплатился с шофером, подхватил до седины потертый чемодан. Зачем он приехал сюда? Искать ушедшую молодость? Увидеть старых настороженных друзей? Пощупать заграничным ботинком дырявый асфальт Неопалимовских переулков? Он не мог, да и не хотел отвечать на эти вопросы.

Получив ключи, Михаил прошел в номер, бросил чемодан к узкой кровати, растворил скрипучие дверцы шкафа. Потом, вплотную к зеркалу, рассмотрел красные петушиные веки, рыжезеленые сумрачные глаза, широкие брови, с длинными дыбом ставшими волосками, и глубокие угрюмые складки, опущенные к полным губам. В окно глядело наивное безобразие министерства иностранных дел. По завиткам и балясинам он добрался до самого верха и опять опустился к помпезным парадным дверям. Но время примирило его и с безобразием. Со многим примирило оно его.

Было около трех пополудни, когда вышел он из гостиницы. Дождь шуршал усыпительно. В редких витринах на бочковатых торсах пузырились серые пиджаки, банки рыбных консервов затейливыми узорами распространялись по пожилой серебряной бумаге. Михаил вышел на Плющиху, свернул к Девичьему парку и зашагал пустынной аллеей с хромыми скамьями. Небольшой, темного гранита Толстой стоял среди песочниц и качелей. Лев Николаевич стоял отрешенно, в длинной крестьянской рубахе, небольшие изящные руки заложив за веревочный поясок. Слезы безудержно катились из его глаз, бежали широкою бородой и падали на все еще алчущую землю. Михаил обошел памятник и задумался. Холод привел его в чувство. Он двинулся к Зубовской площади. Вот и поликлиника, куда таскали его с корью и дифтеритом. Он хорошо помнил желтые плакаты с этапами развития малярийного комара, пухлых детей на благодатных ладонях

любящих матерей и стеклянные пластинки, собранные в книгу, висевшую у кабинета зубного врача. По пластинкам разгуливал доктор Айболит, Мойдодыр и зубастый, празднично зеленый крокодил. У сахарных зубов держал он громадную щетку. По поводу земноводного также сообщалось: — Аккуратен, видно, он чистит зубы с двух сторон.

Михаил миновал поликлинику, вышел на угол площади, заглянул в бакалею. Конечно, он не надеялся увидеть подушечки и подсолнечное масло, отмеряемое алюминиевыми кружками, но те же просторные бабы в захватанных фартуках монументально стояли за прилавком, и та же угрюмая очередь ходила к кассе. Он не зашел в молочную, а просто постоял рядом, под пузатыми часами. Перейдя на сторону Кропоткинской, Михаил подумал и устремился к "Галантерее". Знакомый запах цветочного мыла, трикотажа, ремней, кислого металла дешевой бижутерии. Трикотаж. Помнится, это слово донимало его своей нездешней французистой музыкой. Оно сквозило легким облаком где-то далеко, далеко, в четвертом что ли классе, и обернулось прозаическими сатиновыми трусами. Михаил прошел за стеклянную будку кассы в отдел трикотажа. Сатиновых трусов не было, Ну, хватит тянуть, наконец приказал он себе и вновь окунулся в нескончаемый дождь. Сберкасса, "Пиво", усталые белые колонны, проход на задний двор, яичнобурый угол и первый подъезд. Здесь помещался Васька-Муравьед и та, с лисьим носом, которая гуляла с ним в паре в детском саду. Второй — Пуздря и Сопливый, детки лейтенанта безопасности Пузырева. Еще сынок академика Воля Куницкий и сестра его Зинка, с рыжей лисой наперехват и тонкими завитыми ногами в красных лодочках. Пропал Воля где-то электриком в безвестной Сибири. Третий. Что же было замечательного в третьем? Да, Рабкор. Рабкор Зубастый. Действительно имел очень крупные зубы, а рабкором была неведомая личность, подписывающаяся Зубастым не то в "Гудке", не то в ином каком-то паровозном листке. Еще Гаврила. Огненнорыжий, кирпичнорожий с бородой

клином. Держал дворницкую в сугубом порядке, вставлял стекла и драл безбожно с убогих старух. "Здорово, дядя Гаврил". — "Здорово, здорово молодые яйца..." И перетягивание пружинных матрацев по весне. Моток шпагата в красной лапе, пенье оттянутых пружин...

Весной все горбатое, подслеповатое, недопеченное временем выползало к солнышку, распространяясь на плечистых скамьях. Их, отдыхая от дворницких дел, утесняли чугунными задами Фроськи и Нюрки. Они полыхали невиданным здоровьем. Солнце не сходило с их румяных лиц. Шелуша семя, простодушно обсуждался каждый житель, поспешающий по свои делам: вон идет еврей со второго этажа, а за ентим машина вчерась приходила. Гаврила, однако, держал их в строгости и, если случался трезвым, сейчас гнал в дворницкую...

Михаил подошел к своему подъезду, тронул двойные двери. Сумерки, пыль, теплый запах сухой штукатурки, двери лифта, ушедшего в темную нишу, и две потертые ступени туда, наверх, где за каждой дверью судьба.

Он медленно одолел лестничный пролет, встал на площадке у длинного окна, рассеченного на узкие прямоугольники грязной рамой. Двор был пуст. Бедные кусты дрожали у края газона. На широкую клумбу выбегали неказистые желтые цветочки. Слева выдирался из асфальта корявый дуб, на котором Бог знает сколько тому назад вешали Онищенко, сына домоуправа. Хлопнула дверь, Михаил поднялся еще на один пролет. Вот теперь все. Дальше идти некуда. Он все-таки был благодарен этим людям. За старую дверь, которая не выпучивалась гладким, посаженным на вату дерматином, не глазела блестящими узорчато рассыпанными шляпками затейливых гвоздей, не подглядывала толстым подозрительным оком волчка; за теплую деревянную ручку с латунными шишками, за древний почтовый ящик, так просто и открыто являющий себя времени. Михаил обхватил ручку и долго стоял, сжимая ее в горячей ладони...

Ветер кинул ему в лицо холодный туман. Одинокий пес в рваном ошейнике независимой рысью удалялся на зад-

ний двор. Он завернул за ним. Пошли гулкие железные ящики, куда досужие обитатели затаривали лелеемые "Жигули". Возникла контора райпищеторга с просевшею дверью и розвалью гнилой тары, и наконец широко зашагали неутесненные стойла. Здесь особо отмеченные граждане держали холеные "Волги", а в самом просторном и пышном отделении когда-то нездешними зелеными глазами сиял "Мерседес" генерал-лейтенанта Бугрова. Того самого, который, возвращаясь после многотрудных далеких военных упражнений, рубил шашкой платья своей молоденькой Ляльки-жены. Михаил, улыбаясь, смотрел на кованые ворота и два увесистых замка, тяжелыми пятками косящиеся на всякого праздного прохожего. — Ох, крепок Бугров! Да, небось, уже и на пенсии. Небось, сажает клубнику и всякий хозяйственный овощ на ядреной своей дачке, да жрет водку в неурочный час, пока не постучит в шишастый череп внезапный "Кондрат", да не нальется в последний раз широкое лицо жаркой кровью, и не повалится Бугров в закружившийся белый свет, сотрясая кусты, подминая плоды. И не случись сыновей-дочерей, да уж немолоденькой Ляльки-жены, как забегут со всех сторон племяши да брательники, да всякой твари на десятой воде, как зачнут тащить по сусекам да норам непроглотный кусок... Но еще раз глянув на пудовые замки, Михаил покачал головой. Нет, не должен еще заехать Бугров в деньки свои последние. Еще, глядишь, погуляет на своей воле с ружьецом да молодушкой в Петушинских Грязях. Неизводима порода эта. Бестрепетно-крепка.

Ветер так и не смог разогнать подслеповатые рваные тучи. Михаил вдруг вспомнил, что не ел с самого утра. И подумал: не жива ль еще та пельменная у сорок шестого дома. Пельменная стояла в назначенном месте и, казалось, тем же сытым туманом закрывались толстые стекла и те же красные рожи уминали пельмени, заедая для плотности ломтями черного хлеба. Подавалась там и вареная колбаса с лапшой, и чай, наливаемый из сияющего титана. Михаил выпросил оба дежурных блюда и

принес их на круглую мраморную стойку. Шевельнув серую ленту лапши и недоверчиво понюхав колбасу, он оборотился к пельменям, затряс перечницей, из которой нехотя вышел засохший кусок соли. На стойке, впрочем, имелось и блюдце темной горчицы. Окуная в нее пельмень за пельменем, Михаил вдумчиво их пережевывал. Пельмени оказались не то чтоб хороши, но и не вовсе плохи. Они были очень горячие, и это-то и казалось их главным достоинством. Колбасу он тоже съел, переложив двумя кусками черного хлеба. Хлеб, время ничего не могло с ним поделать. Думал он: не спросить ли и чаю, и глянул в окно. Опять закосил дождь, но он уже решил дойти до школы, туда, в Малый Левшинский...

Школа была тот стандартный кирпичный прямоугольник о четырех этажах с припаянной глыбой гимнастического зала, которых довольно напекли и усадили во всяких переулках, тупиках и собачьих площадках, чтобы дворовая молодежь не слонялась по подворотням, не "щипала" по темным булочным и не слушала зазывных рассказов фиксатых блатарей, а прилежно шагала в ремесло, стекольный техникум и прочие хоженые проверенные учреждения. Времена была патриархальные. Горячее население почти каждого двора или сидело или готовилось сесть. Очень в ходу были настроения, что шило в бок — и никакое образование не поможет, что учатся только очкарики и что против лома нет приема. Школа должна была вычищать дворовую уголовную накипь и приводить заблудшие юные души к идеям Послушания, Добра и Служения.

Михаил обошел школьный двор: мозолистую площадку, одним концом уткнувшуюся в Померанцев переулок, другим — в белесую стену с черными дырами выпавших кирпичей. Во дворе этом молодежь получала практические уроки жизни, особенно если какой разобиженный вьюнош приводил свою гвардию в кирзовых сапогах. Гвардия эта, не разбираясь, била в кровь, а иной раз и подкалывала нерасторопных учеников, преданных зави-

ральной идее, что их сапожная гвардия не в пример проворнее нынешней. Тут еже натягивалась милиция, переливчато играли свистки и вновь подтверждалось, что учение свет.

Михаил потянул тяжелую дверь. Далекой щемящей юностью засипели пружины. В темном вестибюле стояла прохладная тишина. Матово блестел кафель, выступал бордовой и серою шашкой. У дальней стены со знаменами веерные пальмы обступали фигуру Вождя. Михаил сделал несколько медленных шагов. Дверь гимнастического зала отворилась. Высокая женщина в саржевом халате вышла ему навстречу. "Родительское собрание в восемь часов", — спокойно объявила она. Михаил молча повернул к выходу. Он вдруг почувствовал, что устал, что бессмысленно бродить по руинам прежней жизни. Хватит задирать время. Время — категория, требующая уважения. Он пересек Левшинский и пошел вдоль стены австралийского посольства, пока не уперся в кусок рельса. Все было на месте. Даже дыра в толстом деревянном заборе. Но дальше явились новости, вроде шестиэтажной бетонной коробки и других, вольно раскинувшихся институций агенства печати "Новости". Одолев лабиринт тупиков и всяких не вовремя выбегающих подсобных помещений, он все же выбрался к Провиантским складам, отметив мимоходом, что ворота этих замечательных сооружений, с рыцарями, щитами и забралами, сильно подались с отошедших времен. Тут только сообразил он, что дождь кончился, что веселее бежит река автомобилей и гуще вываливает народ изо всяких казенных присутственных мест. И он бодро зашагал в этой толпе, ловя обрывки пустых разговоров, внезапный плотный шелест наезжающего троллейбуса, рассеянный свет вдруг зажегшихся фонарей; чувствуя, как выглаживается его печать, и все дальше и дальше, в спокойные прозрачные сумерки, отходит непримиримое прошлое.

Тени, сумрак, дуновенье...

— Знаешь, если закрыть глаза и сесть вот так, тихо-тихо...

Вера, улыбаясь, опустилась на снег, подставив веселым солнечным брызгам вздернутый носик, осыпанный редкими конопушками.

— Ты что? — снисходительно спросил Михаил, глубоко упирая палки в хрустящий наст. Вера сидела неподвижно. Синие тени дрожали на ее матовых скулах. Старая заброшенная ветка железной дороги лежала спеленутая искристой, выглаженной ветром парусиной, кое-где пробитой крестиками птичьих следов. Внезапно ближняя ель махнула упругой лапой. Подтаявший пласт снега легким облаком заскользил вниз.

— Так что? — вновь спросил Михаил, поводя плечами, на которых устроился широкий рюкзак. — Вера опять улыбнулась, не открывая глаз.

— Пошли? — неопределенно предложил Михаил, уминая лыжню.

Вера тряхнула головой. Носик ее сморщился, как у кошки. В глазах заплясали зеленые огни. Она вскочила на лыжи.

— Когда я была совсем маленькая, мне часто снился снег, и я просыпалась больная и грустная. И мама брала меня на руки, щупала лоб и пристально смотрела в глаза. Я любила свои снежные сны, все эти хлопоты вокруг: теплые носки, горчичники, чай с малиновым вареньем... А потом эти сны кончились и пошел вздор. Но как-то мне купили коньки и в этой уморительной шапке с помпоном повезли в Лужники.

— Мы больше в парк Горького ходили, — оживился Михаил. — Перевалишь через забор у Нескучного сада — и на катке. А в самый последний момент держись за голову.

— Ну конечно, Мишенька, она у тебя и тогда была слабовата.

— Ты, Верочка, хоть и проницаешь, но в сторону.

Просто висишь, как сосиска, и готов уже спрыгнуть, а в это время сзади протягивается длинная грабка и сдирает с тебя шапку. Особо сторожись, если пыжик. Об ондатре тогда и не слыхивали.

— Рыжик-пыжик, где ты был...

— Замечательное было времечко, — вздохнул Михаил. — Краснорожие блюстители — форменные брюки закатаны в толстые вигоневые носки, синяя шинель обливает могучий зад, строгость и величие во взоре — как тяжелые броненосцы, чинно раскатывали на "гагах". Утомленные жиганы в черных "пальтуганах" — кепки-многоклинки "с разрезом" кинуты к правой брови, белое шелковое кашне пеленает горло — меланхолически резали лед в хороводе почтительной "шестерни". Курсанты военных училищ с блондинками в красных свитерах лихо перебирали ногами. Мрачное "ремсло" угрюмо раскатывало по краям, "нарываясь" на "чистую" публику... Да, замечательное было время. Ну что, тронулись?

Они заскользили вдоль старой лыжни, глубоко проваливаясь в неожиданные пустоты. Бежавшие навстречу ветки хлестали по груди и со свистом отскакивали назад, бросая снежную пыль в жаркие лица. И опять шорох лыж, оцепенелый строй деревьев, горячий, радостный разбег молодого тела.

Уже там и сям разбросало сиреневые тени, когда они выскочили к речке. Лыжня запетляла меж поваленных стволов, деревья расступились, показалась крохотная поляна, стянутая корнями матерых елей.

— Миша, какое чудесное место!

— Нравится? Это наше старое логово. — Он скинул рюкзак, наклонился к лыжам.

— Сейчас расчистим снег и соорудим грандиозный костер.

Михаил похлопал рюкзак, вынул широкий лист дюраля, топор с длинной рукоятью, два котелка, вложенные один в другой, фонарь с золотистым рефлектором и две пары валенок: побольше и поменьше.

— Снимай ботинки, пока ноги не выстыли.

— Ой, валенки!

— Михаил обстучал топором толстое бревно, усадил Веру, очистил носки ее от намерзших ледяных крошек и ловко обул валенки. Затем быстро, в два приема переобулся сам, подошел к куче смерзшегося хвороста, просунул в нее руку, выдернул длинную ровную палку и заработал дюралевой лопатой, вырезая огромные бруски снега.

— У тебя здесь прямо домашнее хозяйство, — засмеялась Вера.

— Стараемся, — пробурчал Михаил, обнажая мерзлую землю с крошевом сучьев. Вера, сжавшись в пушистый комочек, пристально смотрела в сгущающиеся морозные сумерки.

— Ну так, довольно. — Михаил вытряхнул последний брус снега, воткнул лопату и схватил топор.

— Что, замерзла? — Он бросался к дровам, выкатывал пузатые чурбаки, в несколько точных сильных ударов распахивал их кряжистое, тугое, сладким холодом пахнущее нутро. — Теперь бересты, — озабоченно бормотал он, шаря фонарем в зыбучей стене обступившего леса. Конечно, надрать бересты следовало заранее. Но на душе было так солнечно,бодро, весело, что он оставил всякие заботы и просто жил в своем счастливом часе. Разодрав бересту на тонкие свивающиеся ленты, Михаил чиркнул спичкой. Пламя моментально скрутило податливую кору, лизнуло мелкие щепки, обняло хворост. Рыжие космы лохматились, тянулись вверх. Снопы искр золотым столбом прянули к еловым лапам. Талая вода катилась по зеленым иглам, шептала, падала в костер, пропадая в пламени. — Ну, Верочка, теперь давай устраиваться с чувством, с толком, с расстановкой. Михаил двинул толстое бревно к костру, затесал насвежо его поверхность, расстелил поверх одеяло. Потом нарубил мелкого лапника, рассыпал его у бревна, повернулся к Вере. — Не хотите ли накрыть на стол? Кстати, грандиозный успех: достал шпроты и банку исландской селедки.

— Мишенька, я стянула из дома все, что смогла, плюс

два папиных серебряных бокала. Видишь, пунктуально следовала твоим пожеланиям.

Вера поднесла рюкзак к свету и стала проворно вынимать кульки и свертки.

— Это, по-моему, кулебяка. Осторожно, тут заливное, пирожки, сыр...

— Фантастика! Где бокалы?

— Вот. И постели, пожалуйста, скатерть.

— Скатерть! — Михаил рванулся к своему рюкзаку, выхватил бутылки шампанского, воткнул их в снег серебряным горлом. — Есть еще лимонная водка. На случай замерзания в обступивших снегах, — улыбнулся он.

Скатерть расстелили на лапнике. Закуски соблазнительно толпились у ее середины. Михаил нагнулся к шампанскому.

— Ну...

— Подожди секунду. — Вера торопливо вытащила из кармана коробочку. В ней лежали четыре крохотных свечечки в фарфоровых чашечках и нить серебряной канители.

— Ого! — поразился Михаил.

Вера накинула сверкающую нить канители на еловую лапу, зажгла свечи.

— Ну, теперь можно? — Михаил осторожно наполнил бокалы.

— С новым годом, Верочка. Пусть принесет он нам счастье.

— Счастье, — отуманилась Вера, и, глядя в огонь, заворожила, — тени, сумрак, дуновенье. Унеси мои сомненья, синий вечер, белый снег...

Михаил поднимался, колол щекастые поленья, по-особому устраивал их в костер, и, блестя темными глазами, целовал, целовал до боли милые морозные губы. Ночь стояла на цыпочках, не вступая в магический огненный круг.

РЕКЛАМА

К вашим услугам любая информация о России.

Информационный центр при Научной библиотеке Московского университета имени М.В. Ломоносова предлагает самый широкий спектр информационно-библиографических, справочных услуг по E:mail.

Мы готовы ответить на любые вопросы, связанные с Россией. От простейших — адреса, телефоны, имена руководителей организаций, фирм, ученых, политических деятелей. До сложных — исторические, экономические справки, библиографические списки книг, статей по любой теме. На каждый вопрос вы получите содержательный ответ.

Если необходимо, мы также готовы направить Вам копии практически любых материалов когда-либо издававшихся на русском языке. Scanned image in the TIFF or PCX format no E:mail или бумажную копию по почте.

Запросы принимаются по адресу: inf@lib.msu.su. Язык английский или русский по Вашему желанию. Ответ будет послан на том же языке. Через 24—48 часов (в зависимости от сложности запроса) мы по E:mail подтверждаем принятие заказа, сообщаем примерные сроки исполнения и высылаем счет на оплату в банке США. Стоимость зависит от объема работы, количества запрашиваемой библиографической информации, минимальная цена справки 25 USD.

Ян ПРОБШТЕЙН

ЖЕМЧУЖИНА

Подпольный человек

Что лежишь, лежебока, на лежбище лжи?
Субпродуктом субстанции впрямь ли доволен?
Знал бы ты, что в недремлющих недрах дрожит
вещий клад вещества, но пока ты подполен,

ни любви любомудрия, ни лепетанья
лепестков — лепоты нерасцветших цветов,
ни миров, что рождаются втуне и в тайне,
не видать и не ведать во веки веков.

В подземельях ума — в сих глухих погребах
что увидишь отыщешь ты, пасынок правды?
Лишь змеится на пагубных синих губах
ложь-всезнайка, которой все, кажется, рады.

Так и будешь уже до конца стервенеть,
голодая, глодать свое бедное сердце,
чтоб принять с торжеством правоты свою смерть
в подтвержденье теории тлена и смерти.

21 окт. 93

Читая "Лолиту"

Истовых чувств исток
заперт, наложен запрет,
перебродил сок,
перебродил в бред.

Рвется нежная плоть,
мякоть из кожуры —
истому перебороть
в порыве адской игры

тщится тщедушный мозг,
шаток сознанья мост,
сладок запретный плод,
но отныне запрета нет.

Все дозволено тем,
кто в силах, переступить
через табу, тотем,
чтоб жажду Лилит испить.

1993

Душа

Гений — это негр.
во сне увидевший снег.
В. Набоков, "Дар"

Охладевает постепенно,
как степь под утро на Азове,
растет в нас доля жизни бренной,
и вот уже ничто не внове;

ступень, еще ступень, и в степень
возводится земное благо,
где трутень, муравей и слепень
равновелики, где отвага —

добыть, сразить врага, иль соты
тягучим медом наполняя,
от солнечной устать работы,
о солнце мира забывая...

Стремление остепениться
и гением овладевает,
и негру снится снег — страницы
горчайше-белые мелькают,

две бездны снятся — два колодца
и звук архангельской трубы,
и кажется, что все пожрется
и общей не уйдет судьбы.

Каин

Сжигает Божия окарина:
известен всем и безымянный,
ибо уже лишился имени
и растворился в нарицании,
ибо уже лишился семени
и сгинул в самоотрицании,
и неприкаянный, в отчаянье
куда пойдешь ты, окаянный?
Куда нести свое раскаянье,
когда весь мир вокруг — окраина?
Сжигает Божия окарина
Идущего путями Каина.

Беспамятство

1

Они уже не помнят ничего
и радуются солнышку, как дети,
или как те, которым суждено
пуститься в путь — уже на этом свете
готовясь к новой жизни, к новой смерти.

И вот они сидят на берегу
в каталках и в покое пьют забвенье
летейских вод Атлантики — отныне
осталась им лишь память бренной плоти,
крупицы слов, лишь языка частицы,
обрывки снов, как память о полете, —
уже почти распавшиеся звенья
цепочки бытия земного, где
понятней им, о чем щебечут птицы,
но эта жизнь им продолжает сниться.

2

Теперь Творец дарует милость нам,
лишая памяти, стирая грани
меж этой жизнью и небытием —
вот почему, наверное, душа
вернуться в жизнь так медлит поутру,
ей, страннице, так странен этот мир.

Но тот изгнанник первый помнил все,
и мужественно добывая в поте
свой хлеб, он посвятил заботе
о спутнице, соузнице своей
и труд, и кровь, и пот, и жизнь, и смерть.
Ее нарек он Жизнью, созидая
свой сад — хотя и жалкий слепок рая.

Но будущего, к счастью, не дано
ему провидеть было — разве смог бы
он бремена свои нести столь стойко
и помнить все, и знать, что суждено
ему еще и Каина проклятье,
живя в своих потомках, разделить?
Какой достался жребий бы ему —
то ль стать сыноубийцей самому,
то ль жить с братоубийственной печатью.

3

Какое счастье, что плодов бессмертья
они, познав пути добра и зла,
отведать не успели, ибо все
дозволено им было бы тогда,
из праха сотворенным — безразличье
могло б взрасти за веком век в их душах,
даров лишенных — дара созиданья,
сорадованья, как и состраданья,
и благодати сна, забвенья, смерти —
достойный нашей бренности венец,
и тварей путь не ведал бы Творец.

5 *сент. 1993*

Ангел мира

1

Над Хиросимою безоблачное небо,
и в Нагасаки все, друзья, спокойно,
но ангел мщенья вере на потребу
уже готовит праведные войны.

В том мире, где об истине ревнуя,
мы в бой вступая с пеной на губах,
не будет ни любви, ни поцелуя,
ни трав, ни птиц, ни Бога в небесах.

1993

2

Застыл с протянутой рукой
над миром Ангел мира —
Он, как всегда, незрим, слепой
он, как всегда, для мира,

ибо лишь ангел мщенья зрим
с карающей десницей,
но Ангел мира, словно дым,
нам только снится.

1993

Жемчужина

Мать жемчуга, мать перла — перламутр
на дне морском стирает с перла муть.

Блестит, переливается жемчужина,
нам кажется, она Творцом разбужена,
а в сущности, что устрица? — моллюск,
на дне морском в ракушке сгусток слизи,
живой комочек, что достоин жизни,
как мы с тобой — комочки пыли, прах,
когда б не свет — тот отблеск, что в глазах...

В начале был почти неслышный хруст,
песок иль паразит застрял меж створок,
чтоб в углекислой слизи после стать
тем жемчугом, тем карбонатом кальция,
что глаз так радует, когда на пальце я
ношу его, забыв про перста под перстнем.

И мы с тобой глядим со дна времен,
как зреющие зрячие жемчужины,
на отблеск света, светом тем разбужены,
а в океане ока — окоем.

Юлия ГЕНЮК

КОГДА ПРОИЗНОСИТСЯ СЛОВО

Странствуя в поисках языка,
Видишь, как мир с равнодушной миной,
Не отражающей сущность мира,
Строит защиту от дурака.

Блуждая в сумерках языка,
Слышишь, как речь избегает слова.
Ради чего ожидать иного?
Цена покоя невысока.

Но поклонение языку —
Это не поиски абсолюта,
А сотворенье себе приюта,
Где не придется узнать тоску...

Как иронично глядит на нас
Некто, владеющий тайной речи.
От немоты защититься нечем,
Слово рассыпалось, свет погас.

Ах, филология, страсть богов!
Если взаимности не добиться,
Дай хоть за краешек уцепиться
Тонущим в море без берегов.

Спастись на острове языка,
Там, где сомненья приходят реже,
Мир безопасен, сон безмятежен,
Жизнь беспечальна и коротка.

* * *

Когда произносится слово — теряется цвет.
В глазах — черно-белый рисунок запутанных связей.
Хотя разбираться в их смысле никто не обязан,
Но так велико искушенье, что выхода нет.

Когда произносится слово — теряется мир.
На месте его возникает твое отраженье,
К тому же оно неизменно с таким искаженьем,
Что зрелище это кошмарнее всяких химер.

Когда наконец произносится несколько слов,
Теряется мысль, застывая, как лужица воска
Потухшей свечи застывает на блюдечке плоском.
Огонь исчезает и не оставляет следов.

Поэтому нам остается молчать или петь,
Надеясь, что музыка смоет чернильные пятна.
Молчи или пой, если хочешь вернуться обратно,
К знакомому миру, где звуки чисты и понятны,
К беспечному миру, где нам не дано уцелеть...

ИЕРУСАЛИМ

Если молиться незримому сложно и странно,
То поклонение тленному просто безумно.
И потому остается лишь точка пространства,
То есть единственно прочное в мире подлунном.

Радуют глаз украшения этой святыни,
В каждом столетье их снова возводят, однако.
Все разрушается, но неизменна пустыня,
Где не построили храм Авраам и Иаков.

Где, обернувшись внезапно, легко обнаружить,
Что тротуары и пальмы, фонарь и автобус —
Только мираж, возникающий, чтобы нарушить
Этой земли равномерно-торжественный образ.

Так появляется город, колеблемый ветром,
Он же незыблемый и освященный веками.
И растворяется слово любого завета
В переплетении хрупком пространства и камня.

Так исчезает из памяти эта картина,
И опускаются в море огни у причала.
Я наконец возвращаюсь в свои Палестины,
Словно бы там никогда ничего не случалось.

* * *

Музыка, горькая музыка
Листья взметнула осенние.
Топая тропочкой узенькой,
Я спотыкалась рассеянно.

Мир был упрям и беспомощен
Перед мелодией этой.
Как за соломинку тонущий,
Листья цеплялись за ветки.

И в суматошном кружении
Их расставания с ветками
Лужи мое отражение
Немилосердно коверкали.

Не за кого уцепиться.
Не улететь бы нечаянно
Желтой березовой птицей
В серое небо молчания.

* * *

Лучше видеть глазами,
нежели бродить душою.

Еккл. 6,9.

Проживающим в городе этом убогом,
Где забытые вещи рождаются снова,
Где не видно конца возвращенью к истокам,
Где само над собой насмехается слово,

Потерявшим последнюю точку опоры,
Забывающим, чем различаются годы,
В этой сонной стране, где нелепые споры
Создают впечатление тайной свободы.

Наблюдая в собратьях свое повторенье,
Начинаешь сочувствовать им поневоле.
На ходу своем кружится, кружится время,
И не все успевают вертеть головою.

Потускнела уютная память о прежнем,
И фамильные ценности съедены молью.
Направляйте же снова в унылой надежде
Свой дырявый ковчег в пересохшее море!

Собирайтесь, витийствуйте неутомимо,
Выбирайте, какою химерою мерить...

Говорят, все дороги выходят из Рима.
Существует ли Рим — невозможно проверить.

* * *

Ленке — на память
об осеннем сборе яблок.

Ах, леди, присядьте поближе к камину.
Здесь очень уютно в дурную погоду.
Попробуйте, милая, к чаю малину,
Я слышала, сахар выходит из моды.

А помните, мы еще молоды были,
И к вам собирались на дружеский ужин.
Старинный хрусталь отражал изобилье
Изысканных блюд, королевских не хуже.

Лирических струн разносились аккорды.
В гостиной у вас было чуточку тесно.
Тогда обязательно юные лорды —
Учтивость сама! — уступали вам кресло.

Потом наслаждались неспешной беседой
О музах, о вечном, о крышах Парижа...
Ах, где эти лорды? Тот вроде в Толедо,
Другой в Нагасаки, а третий — на бирже.

Подружка, дрова в очаге затрещали,
И взгляд от огня оторвать невозможно.
Возьми себе яблоко с чашечкой чая.
Похоже, червивое — ешь осторожно.

А помнишь — умытые снегом вершины,
По скалам отвесным тропинка кривая,
Где шли бородатые наши мужчины
И руку над пропастью нам подавали.

Где ночь пролетала порой в разговоре,
Костер освещал загорелые лица,
И вторило струнам далекое море...
Ах, разве такое еще повторится?

Но я уезжаю на этой неделе.
Пора отдохнуть от привычного мира! ..
...Нет-нет, мы устроимся в скромном отеле.
И так поистратились на сувениры.

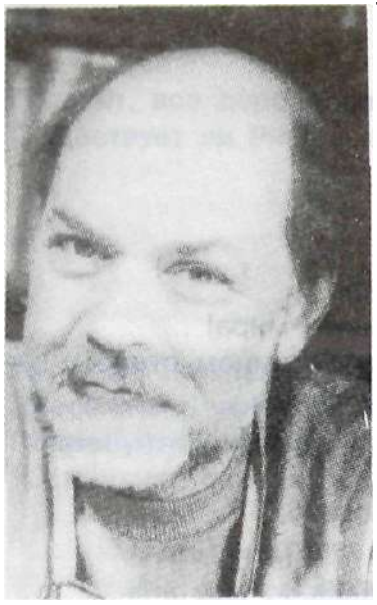
Эй, лапушка, печка уже остывает.
Сегодня мы, видно, уснем на рассвете.
А что будет завтра? — А кто его знает, —
Как некогда Кант остроумно заметил.

Пусть рушатся стены, пусть падают цены,
Но главное, в общем, чтоб чаю хватило.
Тогда я к тебе вечерком непременно
Приду рисовать на окне крокодила.

* * *

Пока ты не занят подсчетом своих прегрешений,
Пока ты не ищешь себе второпях оправданья,
Пока не пришлось тебе ждать от врагов утешенья,
Уже ощутив, как мучительно жить в ожиданье,

Пока ты не предан во имя твоих же идей
Другим претендентом на тихое место в раю —
Ищи человека, который на Страшном Суде
Возвысит единственный голос в защиту твою.



Лев АННИНСКИЙ

РУССКАЯ ДУША: ЛИЦО И ПСЕВДОНИМЫ

Эти заметки — отражение метаний русского духа, пытающегося заново сориентироваться в мире, где ориентиры либо потеряны, либо оспорены.

У России сегодня только одно неопровержимое измерение: она е с т ь .

Какая она? — неведомо ни окружающим ее народам, ни ей самой. Привычные границы понятий или не работают, или работают с обратным эффектом. Самое острое схождение граней: русское — советское. Недавно Алла Латынина в "Общей газете" заметила об эпохе распада СССР: наконец-то "русское" и "советское" перестали быть синонимами. Я-то думаю, что дело обстоит как раз наоборот: наконец-то стало ясно, что русское и советское — синонимы, или, как остроумно сформулировали наши американские коллеги: русское писалось советскими иероглифами (хочется поправить: каракулями). Грань стирается.

Есть еще одна проверенная система координат: Европа — Азия. По меткому сравнению Михаила Берга ("Московские новости", 1993/22; 30 мая) Россия сейчас похожа на сварливую сестру Золушки, в ярости напяливающую на себя европейскую туфельку. Ну, тогда идем на Восток? О, это реально! Азия — реальность русской судьбы в XX веке. Но от этого маршрута отмахиваются сами русские: азиатский Восток представляется им роковой бездной, которая грозит поглотить Россию.

Есть еще одна, коварнейшая грань, хитрым лезвием вошедшая в самую плоть русской жизни: соблазн "жидомасонский" (определение, с точки зрения действительных связей масонства и иудаизма совершенно безумное и вполне иероглифическое, но — общепринятое).

Коснемся этих линий.

1. Нация мы или не нация?

Уже название статьи Ксении Касьяновой в журнале "Знание — сила" (1992/11) звучит так, что силы могут оставить и знания обессмыслиться:

"П р е д с т а в л я е м л и м ы , р у с с к и е , с о б о й н а ц и ю ? "

Ничего себе... а вдруг не представляем?

Первая, чисто нервная реакция: ну, так и не надо! Что за проходной балл, в самом деле. Пушкин — был? Был. Толстой, Шолохов, Гроссман, Солженицын? Имеются. Так что нам маяться и мучиться, признают нас "нацией" или нет на каком-то там теоретическом уровне? Надо жить дальше. В конце концов, и нынешняя раздача слонов, то есть присвоение суверенитетов, то есть титулование "нациями" всех этнических веточек общечеловеческого древа, — пройдет, как всякая очередная "стадия". И еще вопрос, так ли это будет важно, признают нас "нацией" на излете советской эпохи или не признают. Там, может быть, уже вообще "нациями" не будут мыслить, эпоху

спустя, и не так существенно, "русский" или "советский" вклад мы внесли в мировой опыт, "дикими" или не "дикими" предстанем в свете вечности, "химерическая" или не "химерическая" у нас культура в результате всех безумств нашей истории. Потому что еще не известно, куда она повернет, история, кто станет судить, кто окажется "передовым", кто "отсталым", и какие "химеры" оживут на поворотах.

"Чем мы можем оживотворить мир? — пишет Ксения Касьянова. — Этим нашим бесконечным терпением, мимо которого ни один лихой иностранный мемуарист и ни один отечественный интеллектуал, побродивший по европам в поисках образования, не прошел, не пнув и не обозвав "тупым"; этим нашим смирением, умением в своем представлении и воображении поставить другого выше себя, которое постоянно и упорно путается почему-то в головах европейцев и европеизированных русских с "рабской покорностью"? Какая-то она очень древняя и суровая — эта наша культура, требующая от человека очень сильного самоограничения, репрессии своих непосредственных внутренних импульсов, своих личных индивидуальных целей в пользу социальных групп и глобальных культурных ценностей. Все культуры в какой-то мере построены на таком самоограничении и на такой репрессии, без них нет культуры и нет общества вообще. Но важна также и сама степень. В нашей культуре эта требуемая от человека степень очень высока."

Прекрасная характеристика. Во-первых, в ней выявлены объективные черты национального характера, которые не зависят от того, апологию русского или поношение его мы затеваем. То есть ни в русофобы, ни в квасные патриоты К. Касьянову не затащишь. Дело в реальности. Самые язвительные насмешники и самые беспардонные клеветники не преуспели бы в своем поношении России, если бы окарикатуривали свойства, реально ей не присущие.

А они присущи. Эту реальность носишь в себе, ее чувствуешь независимо от того, какую систему убеждений

принимаешь (либеральную, консервативную, коммунистическую, антикоммунистическую и т.д.), независимо от того, какую Россию выбираешь (романовскую, доромановскую, советскую, постсоветскую). Если живешь в этом народе и с этим народом, то инстинктивно принимаешь некоторую неписанную систему правил, некую иерархию ценностей, некоторую негласно принятую "степень качества" (степень самоограничения, самоуничижения, самоотверженности, самопожертвования). Иначе — не жизнь.

Эта система ценностей старше любой формы государственности, она коренится в культурной почве и даже глубже: в докультурной, предкультурной, природно-этнической почве, изменяющейся так же медленно, как и сама природа. Это неуловимо и непреложно. Это то самое, что неистребимо присутствует даже и в противоположных действиях народа. То самое, что называется национальным характером.

Итак, что же получается? Единый язык есть, и общее пространство есть, и общее "хозяйство" есть, и национальный характер у русских есть... все прямо-таки по сталинскому определению... Впрочем, «почему по "сталинскому"? Оно столько же и "бухаринское" — разработки-то для Сталина делал Бухарин, к тому же делал их — по общепринятым тогда европейским теоретическим источникам — это был стандарт, и именно его воспроизводит К. Касьянова, чтобы... оспорить.

Все есть у русских, чтобы быть нацией. Но русские — не нация. Русские — "в донациональном состоянии". Русские — только "материал для будущей нации".

Чего не хватает? Осознания. Тут К. Касьянова вводит в традиционную "объективно-научную" категорию нации сильнейший субъективный элемент: нация — это то, что о с о з н а н о как нация. По Дюркгейму: "общество основывается... на идее, которую оно само себе создает". По Сенгору: "нация — это не родина, это воля к ее созданию". По Ренану, которого перефразировал Ортега -и-Гассет: "Жизнь нации — это ежедневный плебисцит"... Я бы добавил: и по Бен-Гуриону, слова которого

передают так: "еврей — это тот, кто называет себя евреем".

Свои мысли Ксения Касьянова излагает не только в той статье, какую напечатал журнал "Знание — сила", а в своем фундаментальном исследовании, выжимку из которого и дал журнал. Название этого труда выдержано в жанре усыпительно-академическом: "К вопросу о..." Но дочитав название до конца, вы мгновенно просыпаетесь: "...о русском национальном характере".

Книга, как сказано в предисловии, писалась в конце 70-х годов и была завершена в 1983-м. Но до сих пор официально не издана... Впрочем, что такое при нынешней гласности "не издана", понять трудно. Теперь любое "совместное предприятие" может набрать текст на компьютере, сверстать, отпечатать и сброшюровать столько экземпляров, сколько надо (сколько возьмут с лотков или попросят прислать). Словом, книга К. Касьяновой, красиво переплетенная, у меня есть; читается она взахлеб, мысли вызывает самые неожиданные, а кто ее издал и как, не ведаю. Выходные данные исчерпываются строчкой: "Москва, 1991", а все прочее сокрыто в прошлом, в тех временах, когда рукопись ходила по рукам "в социологических кругах", и вопрос о выпуске ее в государственном издательстве даже и встать не мог — по причине полной несопряженности этой книги с официальной доктриной. То есть ни за, ни против, а — вне. Что, конечно, доктрине еще обиднее.

От того полуподпольного существования рукописи осталось только смутное ощущение, что "Ксения Касьянова" — псевдоним.

Но это не по нашей части. Перейдем к делу.

В основе книги Касьяновой лежит следующий социологический эксперимент. Существует тест MMPI — Миннесотский многофакторный личностный опросник, сочиненный американцами в 1941 году для нужд психиатрической диагностики, первоначально — десятишкальный, впоследствии разработанный в сотнях вариантов, обкатанный на компьютерах и пропустивший сквозь себя чуть не всю Америку.

У нас этот тест перевели в 1965-67 годах.Обработали. То есть сократили и расширили применительно к нашим условиям. И попробовали пару раз на соотечественниках. Выборки были небольшие (одна, собственно, касьяновская), но результаты оказались интересные. Особенно когда легли рядом с американскими.

Контраст психологии "среднего американца" и "среднего русского" (тогда еще — "советского") и побудил К. Касьянову к написанию книги.

Диагноз у русских такой: мы — эпилептоиды с репрессивным типом реакции и выраженным судейским комплексом.

Прочтя это впервые, я пошатнулся. Но потом успокоился. Потому что перед нами вполне научные и совершенно необидные термины, ничего общего не имеющие ни с Конституционным Судом, ни с эпилептическими припадками, а с репрессиями политическими, если и обнаруживающие корреляцию, то самую отдаленную и совершенно не фатальную.

То есть, имеется ввиду репрессия как подсознательное (или сознательное, но тогда это уже супрессия) подавление импульсов, если таковые не соответствуют некоторому общему представлению о целостном миропорядке. В просторечии: "запрещающая совесть". Или, как говорили отцы, "хранение ума" в противовес "суете дел". Или, как это видится восхищенным наблюдателям со стороны, "русское терпение".

Эпилептоидность — это сдвиг в сторону внутренних ритмов, задержка реакций, вязкость мышления, основательность действий, склонность к долгому поэтапному достижению фиксированных целей. В просторечии: "медленное запрягание" и "задний ум".

"Судейский комплекс" — склонность переступать сиюминутные обстоятельства, вообще, нелюбовь к "среде", которая обычно "заедает", и тяга судить о вещах "сразу" с точки зрения вечности.

Конечно, совесть имеют дети разных народов, и основательность свойственна многим другим сынам вечности… а все-таки: раз уж мы сравниваем себя с американцами, то вот для наглядности формула Джеймса Планта, которую Макс Лернер приводит в 9 главе своего знаменитого двухтомника "Развитие цивилизации в Америке": нормальный американец судит о себе по тому, чего он д о с т и г , не слишком смущаясь вопросом о том, кто он е с т ь . И это понятно: цивилизация, находящаяся в непрерывном движении и ставящая превыше всего "успех", не дает людям ни времени, ни возможности вязнуть в онтологических основах бытия, но властно направляет все их силы на самореализацию.

Нормальный русский мыслит прямо противоположно. У нас не очень важно, чего ты д о с т и г , но все хотят понять, кто ты е с т ь . На этот вопрос окончательного ответа, естественно, не найдут, но думать об этом будут неотступно. Упирая на то, что есть "Высший Суд", которому все ведомо.

Это — мы с вами. То подсознательное, глубинное, древнее, основное, подпочвенное в нас, что существует помимо и под, и независимо, и наперекос всяким сменяющимся доктринам и системам. Что идет от предков, "от святых отец".

У Касьяновой святоотческими текстами оно и подкрепляется: и Иоанн Лествичник у нее в свидетелях, и авва Дорофей, и те мудрые старцы, что учили отложить попечения и крепить дух...

Тут уже и вопрос к К. Касьяновой: где же начало "русского национального характера"? Конечно, блаженный Августин правильно писал о силе сострадания, и Иоанн Златоуст правильно писал о воле и произволении; но ведь из учения отцов церкви равно выходят как русские терпеливцы, так и западные борцы-преобразователи. Почему мы должны извлекать нашу специфику из общехристианских ценностей — где же тогда специфика? У Касьяновой этот вопрос предусмотрен и ответ на него

имеется: мы, русские, акцентируем в общехристианских ценностях именно то, что для нас актуально.

Для нас, эпилептоидов, репрессантов с судейским комплексом. Для нас, терпеливцев со страдающей совестью. Для нас, "загадочных" русских...

В сущности, мы и сейчас не к "западу" поворачиваемся, а к здравому смыслу. А здравый смысл в том, что если колхоз даже и себя прокормить не может, он расходится; если завод нерентабелен, он закрывается; если газету не раскупают, ее не издают. А "запад" это или не "запад" — дело вторичное. Когда соседи из зависти жгут фермера или выкалывают глаза его корове, ибо дает "слишком много молока", или с утра ищут, с кем бы опохмелиться, — это признаки порчи и вырождения, хотя под все эти действия можно подвести и инстинктивное желание, чтобы всем было поровну, и даже "соборность" помянуть, не говоря уже о готовности судить всех, перепрыгивая через такие суетные вещи, как труд и законный заработок. Задним числом, наверное, теоретики найдут объяснение и этим особенностям нашего менталитета — "вербализуют" существующие на "довербальном уровне" народные ценности, как формулирует К. Касьянова, но пока бы нам ту сугубо "западную" истину освоить, что дважды два четыре.

А уж потом получится что-нибудь вроде того, что демократия плюс компьютеризация есть царство Божие на земле, как коммунизм уже был суммой власти и лампочки, а советские пиджаки — вывернутыми русскими армяками.

2. Псевдонимы русской души

Когда говорят: "русская культура — советские иероглифы", хочется переспросить: а почему не наоборот: "советская культура — русские иероглифы"? Сейчас, кажется, это больше похоже на истину. Хотя первый вариант вполне годится для характеристики двух начальных десятилетий советской эпохи: тогда советское накладывали

на русское. Иногда как грим. Реже как компресс: уменьшить боль. Или как шину: прикрыть перелом.

Самое простое — грим: эмблемы, гербы, флаги, аббревиатуры, манеры. Сбрасывают двуглавого орла — водружают пятиконечную звезду. Вместо трехцветных полотнищ вывешивают одноцветные. Переименовывают Петроград в Ленинград, Царицын в Сталинград, Екатеринбург в Свердловск и Гатчину в Троцк. Наращивание новых слов прикрывает тайную неуверенность; слов требуется много; для того, чтобы закрепить новую, советскую принадлежность, нижутся целые гирлянды определений; их на бегу сокращают, производя на свет неудобоваримые "глоссы" вроде РСФСР (исконно русские люди так и не научились это правильно выговаривать за все семьдесят лет, вплоть до отмены).

Все это действительно выглядит как вытеснение русского советским, национального интернациональным, архаичного современным, органичного искусственным. Вытеснение насильственное: смена одежд, смена почерка. Мейерхольд, сменивший артистический фрак на гимнастерку, и Есенин, сменивший костюм Леля на артистический фрак, — явления одного порядка: смена культурной парадигмы осуществляется как смена пиджака.

О пиджаках хотелось бы добавить следующее. В начале 60-х годов известный американский славист Морис Фридберг выпустил на Западе книгу "Русские классики в советских пиджаках". Поскольку речь там шла об издательской политике большевиков, поставивших классическое наследие на службу своей идеологии, то слово "пиджаки" в ближайшем смысле можно было понять как "обложки". Но и шире — как переодевание и перегримировку.

В 1987 году М. Фридберг, даря мне книгу, надписал: "Помните — это написано четверть века назад!"

В надписи прозвучало осознание того, что за четверть века "что-то произошло".

Правильно, произошло: пиджаки стали выворачиваться очередной раз. На армяки.

Поэтому сегодня и хочется вывернуть вопрос, как пиджак. Хочется спросить: не пытается ли советская культура переписать себя русским почерком?

Поворот начался давно: скрытно — в предвоенные годы, явно — в войну, когда Сталин осенил войска не именами бунтарей вроде Разина и Пугачева и не именами интернациональных полководцев вроде Фрунзе или Котовского, а именами русских национальных героев. Список открывался Александром Невским, лишенным, правда, нимба святости. Пришло, однако, время вернуть его и в качестве святого. Сегодня. Полвека понадобилось на то, чтобы "утрясти" советские идеи с русскими.

Теперь, когда это, наконец, утряслось, — завязываются последние бантики на сарафанах. Звезды обратно заменяются орлами, одноцветные полотнища трехцветными, новые названия старыми. При этом в спор "старого" и "нового" впутываются названия "промежуточные". Сталинград, вместо того, чтобы восстановиться в качестве Царицына, застревает на "Волгограде", а Ленинград через голову "Петрограда" перелетает в Санкт-Петербург. Такое же странное обрусение постигает и Свердловск, вернувший себе имя Екатеринбурга. То, что оба эти "бурга" остаются центрами Ленинградской и Свердловской областей, — не столь курьез, сколько памятник нашему неутомимому переодеванию.

Советская культура и впрямь меняет почерк на русский. Писатели и поэты, возросшие в лоне социалистического реализма, перекантовываются в национальные эпики и одописцы. Вчерашние секретари обкомов, сопровождаемые телекамерами, идут в церкви возжигать свечи, а в лицах церковных владык, обросших бородами, если приглядеться, угадывается что-то обкомовское.

Я не подвергаю сомнению неизбежность происходящих перестроений и перекрасок: происходит то, что назрело, и пусть происходит. Это, повторяю, неизбежно, а благотворно ли — вопрос открытый, благотворность таких перемен зависит от их личностного наполнения. Это другой уровень.

Но есть во всем этом деле уровень именно общественный; и тут вопрос тоже открыт: что же в этом процессе органично, а что искусственно? Что базисное, а что наносное? Где почерк, а где сам текст?

Да, в 1927 году, когда советские праздники внедрялись на смену Пасхе и Рождеству, было ясно: советские — пиджаки, а плечи — русские.

Но вот сегодня стремительно крестившаяся интеллигенция и стремительно последовавшая за интеллигенцией новая власть повернули всю "надстройку" на русский лад, и эта старая ритуальность с н о в а поверху возвращается в культуру, а в глубине культуры ворочается, стараясь влезть в национальные формы, народное сознание, насквозь пропитанное советским духом.

Спрашивается: что же в этом сюжете почва, что органика? Советское — не отрицание русского. Коммунистическая держава — не убийца Российской империи; она — наследница, решительно овладевшая богатствами и правами умершей. Советская власть — не отступление от русской власти, а очередная ее модификация. Большевизм — не антипод русской духовности, а ее воплощение, или, лучше сказать, восполнение.

Если я напомню, что корни большевизма уходят в русский "мир", в крестьянскую общину, в круговую поруку, в толстовский "рой", то это сочтут (и правильно сочтут) тривиальностью.

Но если я предположу, что таким же точно, но как бы зеркальным отражением исконной русской рыхлости и непредсказуемости является крепостное право, это могут счесть клеветой и посягательством на исконное же русское вольнолюбие. Однако если додумывать вещи до конца, то придется связать все это воедино. Крепость Домостроя — коррелят вечной гульбы; крепость государства — гарант против междоусобия и смуты; крепостное право — противовес праву бежать куда хочется: на край света, туда, откуда "выдачи нет".

Разумеется, большевизм вырос на идее борьбы п р о т и в самодержавия и крепостничества. Но вырастал он, питаясь теми же народными качествами, что от века определяли строй жизни на русской равнине, то есть в скифских степях и финских чащобах: он смирял внутреннюю шатость русской души, собирал нацию крепостью кулака, частоколом лагеря, ранжиром казармы. И ранжир, и кулак могли быть прусскими (как при Павле), но физиономии оставались отечественными, и сколько бы битые и бьющие не менялись ролями (кто был ничем, становился всем), "пьеса" была та же, и тот же безудерж скоплялся на полюсах действия: или "все" или "ничего"! Или мертвый зажим или безоглядная, все побросавшая, заголившаяся под небесами анархия.

Советское — это русское Двадцатого века. Рухнуло в 1992 году Советское — началась очередная смута. Тоже русская.

Две коренные русские черты в большевизме: безудержность размаха и безжалостность усмирения.

"Нормальному европейцу", созерцающему русские бездны: верхнюю и нижнюю (ну, скажем, на заре Советской власти: порыв к мировой справедливости и первые концлагеря) нелегко понять, как можно жить в таком безумии. Ведь это не только критические моменты истории, это же вся толща русского исторического бытия проходит под таким прессом.

Как дышать?

"Через соломинку". Без всякой метафоричности.

Как дышали через соломинку воины в дрягвах-болотах, притворяясь травой во время вражеских (точнее: соседских) набегов, а потом неожиданно вырастая за спиной пришельцев. Двойная жизнь русской души — закон ее спасения. "Не согрешишь — не покаешься..." — это нам понятно. А "жить не по лжи" — нет. Совершенно утопический солженицынский лозунг более понятен ясному западному сознанию, чем уму нормального советского человека, притворившегося травой. Мы живем во лжи, гадая, где и как она может обернуться правдой. Правда на Руси всегда прикидывалась ложью, иначе она не успевала проклюнуться: вытаптывали. Правду кто говорил?

Юродивые и скоморохи. Правду знали советские идеологи времен Застоя; они знали, что их дети читают Самиздат и эмигрантскую литературу; "мирное сосуществование" двух тайных свобод составляло основу выживания... впрочем, почему д в у х? Тайную свободу лелеял диссидент на московской кухне, ночами слушавший соответствующую радиостанцию; тайную свободу лелеял и функционер, теми же ночами, опохмелившись после сауны (проведя "закрытое совещание") и слушая ту же радиостанцию на загородной даче. И тоже тайно.

Это — сквозной закон русской души. Александр II неожиданно спрашивает в окружении придворных, нет ли у кого-нибудь случайно последнего выпуска "Колокола": хочет почитать. Все прячут глаза: ни у кого "нет".

У Александра I лежит на столе устав Тайного общества, но лежит — "тайно", ибо никто не должен показать, что он знает, что государь знает.

При этом и царь немец, и Пестель немец (и Герцен наполовину немец), и во всем русском деле участвуют "двунадесять языков", но поскольку они действуют в России, они ведут себя именно так, как принято вести себя в России.

Планиметрическое сознание может удивляться тому, что большевики "сдвоили власть", создав вторую, партийную структуру в параллель советской. Но точно так же за полтысячелетия до них сдвоил власть Иван Грозный, создав опричную структуру... и еще: посадив вместо себя обманное чучело, в роли которого оказался ни в чем не повинный Симеон Бекбулатович, а мог бы в принципе — кто угодно. Двойная жизнь, дублирование систем — странный закон этой жизни, "этих мест". Когда царь уходит в Александровскую слободу, оставляя Кремль "пустым", — то это то же самое, что уход москвичей в Тушино в 1609 году или уход москвичей к Белому дому в августе 1991-го. Это то же самое, что лесное убежище древлянина, имеющее несколько тайных выходов.

Русская загадочность — не от особых талантов, она — от необходимости спасаться в непредсказуемых ситуациях. Все наши таланты — результат отбора по этим признакам.

Сколько бы ни находили мы контрастных качеств в русской и советской ментальности, сколько бы ни противопоставляли "совковое" хамство русскому радушию и "расейское" разгильдяйство советской целеустремленности, — это о д н а реальность, о д н а ментальность. Только поворачивается она разными сторонами.

Угроза исчезновения — при каждом повороте. После поворота — воскрешение все того же. Под новыми именами.

Когда в 20-е годы именем Советской власти вытаптывали и искореняли все русское, — была искренняя вера, что на смену национальному идет интернациональное. Искоренили, вытоптали: оказалось, что сделали все это типично по-русски, и Русь-матушка жива.

Когда сегодня именем воскрешаемой русской государственности вытаптывают и искореняют все советское, — искренне верят, что на смену имперскому великодержавию придет национальная русская органика. Но как только "придет", — выяснится, что без чувства великой державы русским нечем заполнить свое национальное бытие, что империя (и, соответственно, — всемирность, всеотзывчивсть, всепонимание) является тем историческим делом, которое и вызвало к жизни русских как нацию, создало их из смеси славянских, финских, тюркских и иных племен. Без этой всемирной, кафолической, вселенской задачи русское бытие становится провинциальным; русские как народ могут деградировать до самоощущения "третьего мира", до положения, при котором нас никто не боится, а значит, нами никто не интересуется. Далее — распад на "исходные племена".

Вопрос действительно стоит о том, быть или не быть России. Народ-то, конечно, не исчезнет; только, может быть, рассредоточится, рассосется, разбредется. И — переименуется. Перепишется в другие государства. Доведет диалекты и говоры до "других языков".

Забудет, что был когда-то единым. Чем можно пожер-

твовать без риска исчезнуть, и где та грань, за которой начинается исчезновение? Евреи когда-то потеряли в с е : землю, государственность, язык. В конце концов многие и религию потеряли: променяли на революцию и атеизм. Что осталось? Эфемерность: "имя". Что такое "имя", когда за ним ничего нет? Звук пустой!

Звук-то звук, да дело в резонансе. Имя — залог памяти. Память — залог в с е г о . Рядом с евреями были филистимляне. И тоже все потеряли.

Включая имя. И вот теперь — с и м е н и пытаются вернуться в реальность: "Мы — палестинцы". То есть: "мы — филистимляне". За имя воюют. Потеря имени — конец.

Вы скажете: так и евреи имя меняли! Иудея, Израиль... Так. Да только имена-то кружились вокруг фиксированной точки. И сколько бы из "иудея" не продуцировался "жид", — и он, жид, и тот, кто выворачивал его имя в ругательство, знали: это — он, он, и никто другой. Не скроется! Это его точка в мировом пространстве.

А русские — разве не меняли имени? Разве "СССР" на мировой карте в свое время не зачеркнул "России"? А разве "Россия" не вытеснила, не поглотила, не затопила когда-то старую "Русь"? И разве "Русь" не сдвинула в свой черед славян с исконного днепровско-карпатского рубежа, не кинула в лесные дебри Севера и Востока, где стала эта Русь из Киевской — Московской? И тем самым — азиатской, восточной... Всю свою историю разве не живем мы под псевдонимами?

Живем. Но только потому и живем, что помним: это — псевдонимы. Это — узелки на одной нити. Это — мы, наш сюжет, наш "договор с господом".

Пока саднит, пока болит, — есть надежда. Шок, который испытали русские при крушении СССР, свидетельствует о том, что не все потеряно. А вот бурная радость, с которой в 1991 году демократы дотаптывали рухнувший Союз, — признак вырождения, исторической невменяемости, потери памяти. Речь не о том, мог или не мог устоять Союз. Не мог! Есть неизбежность исторических

циклов; с неизбежным приходится смиряться. Так хоть не пляши на руинах, не подлаживайся под этот "прогресс", не задирай штаны перед очередным "комсомолом"!

Не мы первые, не мы последние. И не такие империи рушились. Рим-то когда разваливался, — тоже, наверно, носителям "всемирной культуры" невесело было. Помню с детства старинную картинку: варвар врывается в Сенат и, обнажив короткий меч, бежит к сенатору, который ждет его, сидя в кресле. Меня поразило спокойное величие этого старика. Не спасается, не просит о пощаде, не блажит о "мире и сотрудничестве" — спокойно ждет.

Нет у нас такого величия. Это-то обиднее всего. Когда еще в пределах СССР "демократические структуры", окрашенные в национальные цвета, ликуя от собственной безнаказанности под крышей российского парламента, расшатывали и разваливали союзную систему, — они что думали: что для Союза Закон один, а для России другой? И что татары и чеченцы не последуют примеру прибалтов и украинцев? И что тело России не поползет по тем же швам, по каким расползлось тело Союза?

Повторяю: неизбежное неизбежно. Но чему же вы так радовались, слепцы, зачем плясали на собственных похоронах, зачем бесновались из-за "процедур", ведь завтра не будет ни "парламента" для этих "процедур", ни страны для этого "парламента"!

Вот это и есть главное горе. Крушение духовного сознания. Сейчас оно предстает как крушение советской идеологии. Но не стройте иллюзий: это кризис р у с с к о г о сознания, это нашему н а ц и о н а л ь н о м у к о с м о с у грозит крушение, это м ы в с е под вопросом: и те, которые ставили железного Феликса на Лубянке, и те, которые его скидывали.

Так что же, вы скажете: он так и должен стоять, железный Феликс, рядом с Соловецким камнем?

Да, должен. Да, рядом. Потому что это — наша история. Один мой дядя был белый, другой красный, они стреляли друг в друга. А я их соединяю в памяти и в душе. Болью, слезами, ужасом, состраданием — соединяю.

Иначе — конец. В советском ли гриме или в русском, в "белом" ли особняке или в "азиатском" муравейнике, — это будем уже не мы.

3. Белые господа

Дмитрий Галковский выдвинул концепцию российской истории. Белая держава посреди цветного, пестрого, сизого, желтого, азиатского полулюдского месива. "Белая" — в том чисто художественном словоупотреблении, когда прямая живописность перекликается со знаковыми смыслами: русский "белый царь" — с англоамериканским "белым человеком", а также с "белой костью", "белой работой" и прочими колониальными просветами в дикой тьме.

Вот как рисует Галковский зарождение России ("Независимая газета", 1992, 9 июня, с. 5):

"Огромная территория, редкое население, народ глупый. Так соберем все в один город, сделаем в глупой стране город умных и будем остальные миллионы из этого города спасать. Плюс этническая проблема. Набрали из полуазиатского месива европеоидов на один белый город, добавили немцев — получился Петербург. С немцами поссорились, уложили своих белых сначала под немецкими, потом под китайскими пулеметами, — получился Ленинград. Бывший европейский город с новой азиатской судьбой — расстрелял и тысячи заложников за Моисея Соломоновича Урицкого..."

Я так понимаю, что евреи в этом месте должны взвиться. Но не надо. Не надо "подозревать" Дмитрия Евгеньевича Галковского в антисемитизме — он уже сам как-то во всеуслышанье о б ъ я в и л себя антисемитом (что не помешало ему в той же статье в "Комсомольской правде" почтительно процитировать Надежду Яковлевну Мандельштам). Дм. Галковский не более "антисемит", чем, к примеру, его патрон В. Кожинов — все это игра. Я подозреваю даже, что и вся картинка "белой России" посреди азиатского идиотизма — вариант вполне игровой... но по сути он — реален, да и исполнен, надо признать, мастерски.

Галковский вообще — фигура уникальная. По сочетанию природной одаренности и какой-то старательно воспитанной разнузданности. За три-четыре года успел покусать всех, кто попался на глаза: шестидесятников, коммунистов, сталинистов, либералов, Окуджаву, Золотусского, Мамардашвили, Зиновьева... Осведомленность редкостная, готовность памяти прекрасная, знаний — вагон: все тридцать лет сознательной жизни грыз книги, да и сейчас, похоже, не вылезает из библиотек. Но какая-то не "библиотечная" прямота выражений. А может, именно "библиотечная"... Врагов русского народа н а д о б и т ь . Физически. П р и к л а д а м и . Пусть враги к р о в ь ю з а п л а т я т русским за то, что вынудили их быть азиатами.

"А еще лучше — сделать стучкиным детям небольшую операцию на головном мозге. Опустить их в первобытное состояние, чтобы ни они, ни их дети и внуки не поднялись больше по социальной лестнице. Никогда".

Люди, представляющие себе облик Дмитрия Евгеньевича хотя бы по портретам, наверное, усомнятся, что он способен ударить человека прикладом. У него и на вивисекцию вряд ли достанет жестокости. Вот призывать, указать, подначить — это пожалуйста. Фамилию Стучки издевательски обыграть — запросто. Сказать оппоненту, что он не философ, а украинец, — это можно. И не боится!

Словом, Галковский, несомненно, — самый отчаянный из птенцов, вылупившихся в кожиновском гнезде. На все готов. Советская власть для него — власть оккупантов, и ее надо уничтожить в ходе гражданской войны. Никакие "перестройки" с азиатскими ворами невозможны — азиатов надо истреблять. Советская интеллигенция — антирусская, фиктивная; она капитулировала перед азиатской властью; значит, и ее — туда же (вот откуда "биологическая" ненависть к шестидесятникам... если это, конечно, тоже не игра).

Но, допустим, не игра. Страшная правда. Галковский выговаривает то, что не каждый идеолог "Памяти" решится сказать вслух, да и не додумается — так отрубить от белого все: и красное, и желтое, и голубое (под цвета смело подставляйте значения: у Галковского каждый блик играет). Все "опустить" и среди месива недожизни воздвигнуть Россию: форпост западной культуры. Что-то вроде Англии, возвышавшейся над грязным океаном. Белый утес. Или; белый дом "на холме". В колониальном стиле.

Между прочим, на очередном вираже Галковский вцепился в Парамонова. Прикрывшись, впрочем, псевдонимом. Парамонов Галковского "вычислил" и в очередной радиопередаче цикла "Русские вопросы" ответил коротко, как бы "стряхивая с рукава". Хотя по существу они ведь — смыкаются. Борис Парамонов, идеолог рыцарственного индивидуализма, ненавидящий социализм как "богадельню" и муравейник паразитов, — кем он ощущает себя, вырвавшись из этой азиатской тины? — "владельцем личного автомобиля", уже присматривающим себе "дом в пригороде" (см. его философский этюд "Дом в пригороде" — журнал "Звезда", 1993/2).

Что же из этого всего следует? Во-первых, то, что белые господа, побившие прикладами азиатскую нечисть и отъехавшие на сверкающих "иномарках" в сверкающий чистотой "пригород", не станут жить мирно: они между собой передерутся (и тогда явление Салах-ад-Дина, который всех этих очередных крестоносцев сбросит в море, — вопрос времени).

Во-вторых, не будет конца и этой дурной бесконечности: подавлению "полулюдей" "сверхчеловеками". Зря надеется Френсис Фукуяма, что история кончилась, — не кончилась. Продолжается. Со всей тошнотворной мерзостью: с высокомерием "белых" и "опусканием" всех остальных "в первобытное состояние".

И, наконец, третье — и главное для меня: что станется в этой свалке с Россией?

Неохота мне быть "белым". Стыдно. Если азиатов начнут сгонять в газовые печи, — я азиат. Если суждено

оказаться России в Азии, то лучше остаться азиатом в реальной России, чем европейцем в воздушном замке, каким Россия вознесется над Азией. Есть ощущение судьбы, если хотите, исторического рока. Есть то, о чем говорил Л.Н. Гумилев: мы — р е з у л ь т а т встречи Европы и Азии. Вопрос о том, кто сделал "больше" мерзостей, то есть: что хуже, гитлеровская печь или полпотовская мотыга, я отказываюсь здесь обсуждать. Достанет ужасов и с того, и с этого боку. И изнутри тоже достанет: из нашей шатающейся неопределенности.

А все-таки — судьба. Убери это шатание, это скитание духа, это вечно-детское желание соединить, сопрячь, сплотить несоединимое, убери эту "кашу", эту "полуазиатскую полуевропейскость" — нет России.

Есть что-то другое: белое, ослепительное, с отмытыми от крови прикладами и хорошо проваренными шприцами.

Без нас.

* * *

Я закончу этот этюд о "русском национальном характере" диалогом, который произошел у меня с одним честным деятелем правого крыла нашей литературы ("правее Бондарева"). Напомнив мне о коварных планах сионских мудрецов сбить с толку русский народ, этот литератор сказал, что надежда русских — на здоровые силы, которые собираются под красными знаменами национальной оппозиции.

Я заметил, что красные знамена плохо вяжутся с русской национальной идеей и что большевики-марксисты как раз и предложили русскому народу масонскую отраву. Честно сказать, я хотел поддразнить моего оппонента.

И тут он ответил мне без всякого юмора, с замечательной убежденностью:

— Да, это так: марксизм, перенесенный на русскую почву, был органически чужд нашему народу, но за семьдесят лет произошло чудо: русские люди внутренним усилием переварили, п е р е р о д и л и марксизм, и он

превратился в народную идеологию, а социализм, строившийся первоначально по марксистской чужебесной схеме, превратился в народный строй и образ жизни. И вот у нас его опять отнимают!

Я остолбенел от внезапно поразившего меня чувства правоты моего собеседника. Все, что он сказал, было совершенной правдой.

Мне хотелось ему ответить: — Все так! Социализм действительно стал формой русской народной жизни. Как до того формой народной жизни стала Империя, управлявшаяся из Петербурга. А до того такую же роль сыграла греческая вера, занесенная в наши снега византийскими миссионерами. Чего же вы боитесь "рынка", "демократии", "многопартийности" и других "западных" форм? Русский народ и эти новации перемелет, переварит, переделает под себя, превратит в "формы народной жизни"...

По какой-то инстинктивной опаске я ничего этого вслух не сказал; мы с моим собеседником поприветствовали друг друга и разлетелись по своим траекториям.

Напоследок — кое-что о траектории, из образного арсенала космической эры — времени последнего глобального триумфа Советской власти.

Если корабль на орбите закувыркался (а это бывает — и после отстрела отгоревших ступеней, и после отделения от общей кассеты ушедших в суверенный полет спутников), так вот, если удается остановить это неуправляемое кручение, то надо заново сориентироваться. "По светилам". То есть, по далеким, сияющим в звездной дали принципам, вроде "прогресса", "гуманизма", "всеобщего равенства", "удовлетворения растущих потребностей" и прочих псевдонимов Абсолюта, подброшенных нам в иллюминаторы.

Но потом главное — понять траекторию. Откуда летим, куда заброшены и, значит, чего ждать. Не мы себя на эту орбиту забросили — судьба занесла. Но летим. И ни кусочка из траектории уже не отмерим: ни в семьдесят лет длиной, ни семижды семьдесят, ни в семь дней. Все — наши.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ

ОТВЕРГНУТЫЙ КАПИТАЛИЗМ

Революция, которая не состоялась

Начнем с вопроса, ответ на который, кажется, ясен ребенку: чем живет сегодняшняя Россия? Россия живет идеей рынка. Без рыночного хозяйства, как читаем в любой московской газете, невозможен экономический подъем общества. Судя по сообщениям печати, страна хоть и со скрипом, но идет к свободной экономике. Назад пути нет. Вся Россия, от мала до велика, учится торговать, учится делать бизнес, движется к капитализму. Но с другой стороны, если верить той же перестроечной прессе, огромная часть населения живет в нищете.Процветает коррупция и преступность. Никакого правового общества, о котором столько говорилось, так и не существует. Среди всех слоев населения не смолкают разговоры о том, что ждет страну опасная неизвестность. Апокалиптические настроения становятся преобладающими в обществе.

Все это общеизвестно, поэтому я ограничиваюсь лишь констатацией фактов, чтобы поставить совсем другой во-

прос — о причинах и истоках происшедшего: как получилось, что, покончив с коммунистическим режимом и встав на путь рыночной экономики, страна оказалась перед лицом катастрофы. Российские экономисты, заодно со средствами массовой информации, уже который год выясняют, кто виноват? Горбачев, с которого все началось? Ельцин и его креатура Гайдар, которые своей шоковой терапией довели до нищеты большую часть населения? Или, может быть, во всем повинен Международный валютный фонд, не предоставивший России обещанной помощи?

В мире нет опыта преобразования плановой административной экономики в свободно-рыночное хозяйство. Ясно лишь, что речь идет о глубинном, захватывающем самые основы общества переустройстве страны.

Становление капитализма на Западе, известное как первоначальное капиталистическое накопление, происходило веками. Россия поставила задачу сделать это при жизни одного поколения. Тем острее выглядел вопрос о характере революции, когда бы страна оказалась способной в один прыжок перепрыгнуть через пропасть. Тут все было неизвестно — с чего начать, и как идти, и к чему быть готовым...

Теперь, кажется, пришло время оглянуться и попытаться дать оценку пройденному пути, пусть и не исчерпывающую — исчерпывающую даст история — но все-таки попробовать проанализировать — приблизилась ли Россия к цивилизованному капиталистическому хозяйству?

Но раньше следует ответить на другой, фундаментальный вопрос — произошла ли, вообще, упомянутая выше революция? В том классическом смысле, в каком зарождался капитализм на Западе, — как переход к совершенно новой эпохе, бросающий вызов старым устоям и вызывающий к жизни принципиально иные отношения и ценности.

С самого начала будем осторожны в оценках и не станем отрицать колоссальных перемен, произошедших в стране. Но можно ли сравнивать сегодняшнюю демократическую Россию с Россией брежневской? Оказывается, можно, хотя общество и вправе гордиться тем, что встало на путь демократического развития. По новой, недавно принятой Конституции, гражданину гарантированы все права и свободы, существующие в цивилизованном Западном мире. Никто не может быть арестован иначе, как по приговору суда. В России действует свободно избранная Государственная Дума. Установлена многопартийная, плюралистическая система. При сравнении с эпохой тоталитаризма, поистине исторические перемены! Но тут мы и подходим к камню преткновения: демократия, которая была высшей целью общества, отнюдь не стала гарантом его экономического подъема. В России поразительным образом получилось так, что именно свобода, взлелеянная во всех наших мечтах, подвела страну на грань катастрофы. Приходится признать правоту тех, кто утверждает, что материально при Брежневе людям жилось легче. Оказалось, что российская свобода может сосуществовать с нищетой, коррупцией, ростом преступности, разгулом анархии, каких не знала никакая эпоха застоя.

Можно все это отнести на счет ошибок правительства, ошибок того же Ельцина и Гайдара, — России никогда не везло на правителей! Но, если взглянуть в корень вещей, то вывод напрашивается один-единственный: упомянутая революция, призванная обеспечить смену устоев, потерпела в России сокрушительный крах.

Средства массовой информации не устают на все лады твердить, что в капитализме панацея от всех бед! Но если вы попробуете разобраться в том, что представляет собой этот р о с с и й с к и й к а п и т а л и з м на практике, и к а к о в к н е м у п у т ь, то все, в конце концов, сведется к бюрократическим мерам и планам верхов, вокруг которых без конца ломаются копья. Начиная с печальной памяти программы "500 дней", сколько таких планов дискутировалось на разных уровнях! Сколько высказывалось проклятий в адрес неудачливых реформаторов! Сколько сменилось зарубежных советников, включая профессоров Гарварда с мировыми именами!

Я — не профессиональный экономист и испытываю затруднение, пытаясь сколь-нибудь четко сформулировать эту упущенную суть реформы.

Мы помним начало 92 года, речи Ельцина и Гайдара, помним, какой они были исполнены решимости, какими добрыми намерениями! Сквозила даже какая-то бравада в тогдашних речах Ельцина — что-де ожидают народ тяготы и страдания, но вынесем, все выдюжим ради близких перемен, ожидаемых уже к концу года. Тогда-то и родилось название — "шоковая терапия", удар под дых целому народу во имя светлого будущего. О нравственной стороне дела тогда никто не думал. Какая нравственность в безнравственном капитализме, с его неизбежной безработицей, расслоением общества, интенсификацией труда? Это, и впрямь, трудноразрешимые противоречия, из которых не видно выхода. Но, похоже, именно тут и была зарыта собака. Думали о том, как побыстрее да поэффективнее подстегнуть экономику, войти в рынок, — и в суете проглядели, что суть-то в том, чтобы капитализм был понят и принят населением как система более рациональная, полезная и в социальном смысле более справедливая. Да, справедливость тоже — особенно когда мы говорим о России, пытавшейся в течение 70 лет строить социалистическое общество. Поэтому дело и сводится не только к переустройству хозяйственного механизма, и, возможно, даже не столько к этому, сколько к рождению новой психологии человека, к рождению совершенно нового в нравственном смысле общества. Теперь уже не говорят о прыжке через пропасть. Никто не знает, сколько на это уйдет времени — поколения, десятилетия, эпоха? Но без этого все разговоры о реформе так и останутся российским прекраснодушием — много дивных, романтических слов, но не имеющих ничего общего с реальной переделкой жизни.

Полезно вспомнить в этом контексте о том, что писал Макс Вебер в своей классической работе "Протестантская этика и дух капитализма", принесшей ему всемирную славу. По Веберу, капитализм явился не столько продуктом развития экономических отношений, сколько результатом воплощения новых нравственных идей. Тогда, в эпоху Вебера, это была новая протестантская этика, которая, по словам другого отца капитализма Бенджамина Франклина, требовала от человека исполнения особого нравственного кодекса. Вот он этот кодекс: трудолюбие, кристальная честность, порядочность, неукоснительное исполнение обязательств, стремление к моральной чистоте — это лишь некоторые нормы поведения, которых должен был придерживаться нарождающийся капиталистический класс.

А что произошло в России?

В том-то и дело, что в упомянутом смысле не произошло ничего. Не только никакой революции и нравственного обновления, но и никаких глубинных социальных сдвигов. Как случалось миллионы раз в российской истории, энергия преобразователей уходила в бесконечные словопрения, с неизменно присутствующей темой — рынок и приватизация государственной собственности, то есть превращение ее в частный капитал, на который опирается западная экономика. То было плановое хозяйство, а теперь будут частные, акционерные общества, банки, совместные предприятия и прочее. Вот, собственно, и все. В чьи руки фактически переходила госсобственность, было неважно, на каких условиях — неважно, как и неважным оказалось, выиграет ли от этой передачи все население или пожнут ее плоды единицы, которые станут наследовать имущество целого государства. Последнее, к несчастью, и произошло. Более того, было воспринято как должное в масштабе всей страны. По существу, это был бессовестный черный передел всенародного достояния, а поскольку он осуществлялся в условиях, когда власть оставалась в руках номенклатуры, она и прибрала народное достояние к своим рукам. Сколько было страхов, сколько поколений диссидентов режим сгноил в ГУЛАГЕ в ужасе перед революцией, а

вся революция свелась к тому, что вчерашние секретари обкомов и райкомов, а также партийные и профсоюзно-комсомольские аппаратчики за компанию со всяким другим начальством и королями теневой экономики заделались президентами акционерных обществ, банков, совместных предприятий, превратились в самых последовательных и рьяных защитников рыночного хозяйства. Партийное мировоззрение ничуть не помешало им сделать мягкую посадку из цековско-обкомовских кресел в кресла своих "классовых врагов" и по законам марксового "Капитала" начать вышибать прибавочную стоимость из труда родного коллектива. То есть в дополнение к политической власти, которая находилась в их руках на протяжении советской истории, они получили власть экономическую. На языке Гегеля круг замкнулся, и власть как "абсолютная идея партии" в лице новых капиталистов познала самое себя.

Учитывая их прошлое, можно представить, какого рода моралью они руководствуются в своей рыночной практике и какого рода бизнесы предпочитают проворачивать. Международные махинации с партийными средствами были в этом смысле неплохой школой, в которой была начисто размыта граница между законом и беззаконием. Опыт был приумножен и развит. При гробовом молчании прокуратуры. Если начиналось следствие, оно чаще всего кончалось ничем.

Когда-нибудь, возможно, даже не при жизни нашего поколения, станет достоянием гласности, какими извилистыми путями переплывало народное достояние к нашим доморощенным капиталистам. Впрочем, схема этой "занимательной экономики" уже известна и сегодня. Начинается с получения лицензии на экспорт, совершенно официальной, правда, выдаваемой за приличную взятку. Затем сама экспортная операция в виде перегоняемых на Запад и гружённых ценным сырьем вагонов. Потом полагающаяся в валюте оплата, но идущая не в страну, а на соответствующий иностранный счет, принадлежащий акционерному обществу. За ясностью не станем распространяться о том, кому принадлежит право распоряжаться полученными миллионами. Эта глава "занимательной экономики" нашими рыночниками изучена прежде всего — вот так все обретает респектабельную форму экспортной сделки, так сказать, рыночная экономика в действии, и уплывает из страны нефть, хром, медь, никель и разграбляются день за днем ценнейшие ископаемые страны. А за рубежом появляется все больше российских миллионеров — скупают земли, торговые центры, открывают игорные дома и отели, их деятельность приобретает воистину международный размах.

Над подобными бизнесами новые капиталисты и впрямь работают в поте лица (не то что для родной партии!), проявляя воистину чудеса трудолюбия, к чему когда-то призывали Вебер и Франклин. По ходу дела ими вырабатывается собственный кодекс, основанный, естественно, не на моральном кантовском императиве, а на высшем принципе Великого комбинатора: бизнес есть бизнес и, вообще, каждый работает, как может — важен результат...

Российское телевидение не устает воздавать должное новоиспеченным миллионерам — правда, не столько за их кристальную честность и трудолюбие, сколько за талант делать миллионы. На пустом месте. В один присест. Какими путями создаются эти миллионы, публику мало волнует. Куда важнее, что почти все они являются спонсорами школ, детдомов, театров, газет, клубов. Их принявшее всенародный размах благородство вызвало у меня такое любопытство, что я даже поинтересовался у знакомого журналиста (чей печатный орган, к слову, также имел своего спонсора), неужто все это массовое бескорыстие без малейшей выгоды для самих себя?

— Вообще-то не совсем, — последовал ответ, — есть тут один нюанс.

— Какой же? — не отступал я.

— А очень простой, наука, понимаете ли, умеет много гитик. Представьте такую ситуацию: взяли какого-нибудь из наших состоятельных граждан за ж...у: "Как это вы,

Иван Иванович, умудрились за пару месяцев заработать 15 миллионов и куда их, к слову сказать, девали?"

Обижаете! Как это куда? Неужели не знаете, что Иван Иванович — известный московский спонсор и помогает чуть ли не всем столичным театрам. Даже по телевидению показывали, как одна старейшая актриса расцеловала его за помощь коллективу. Вот и возьмите нашего героя за одно место, когда он душу отечественному искусству отдает.

Не станем удивляться, какой "любовью" пользуются новоявленные капиталисты у населения, — эти разъезжающие по Москве зашторенные мерседесы с экзотическими девочками, выглядывающими из кабинок, пьяные тусовки и разборки, ночные гульбища в ресторанах и номерах гостиниц, сверкающие витрины валютных фирм и магазинов, в которые простому человеку и зайти боязно — все это, кстати, и ответ на вопрос, по какой причине демократы, столько говорившие о рынке и капитализме, проиграли на выборах — таки заслуженная плата за особый, российский путь к капитализму.

Итак, дело не только в растущей дороговизне, нищете и безработице, о чем не устает писать перестроечная печать. Дело как раз в морали общества, про которую вообще забыли, верша революцию. Выразить эту новую мораль в черно-белых красках совсем не просто. Затронуто слишком много болезненных струн сознания и души русского человека.

Я начал эту статью с детского, как сам выразился, вопроса: чем живет сегодняшняя Россия? И безапелляционно ответил: идеей рынка! Принял желаемое за действительное. Должна жить идеей рынка, все население ею должно жить, ибо преобразование общества только и возможно как результат коллективных усилий всех его членов. На самом деле в душах людей глубокое безразличие. И не только из-за растущей нищеты, трубить о которой стало общим местом газет. И не только из-за "шоковой терапии" Гайдара и отсутствия помощи из-за рубежа. И даже не потому, что верхи очередной

раз призывают народ затянуть пояса — все это играет свою негативную роль, но ведь велико терпение русского народа, все бы он вынес, выдюжил, перетерпел, если бы ощущал справедливость происходящего, если бы не чувствовал, что снова обведен вокруг пальца и снова над ним все та же "партийная рать". Раньше была коммунистическая, а теперь рыночная, демократическая, называть себя может как угодно, но народ-то ученый, вмиг узнает и почерк, и родное лицо начальства. Та, коммунистическая, хоть как-то о нем заботилась, цены иногда снижала, худо-бедно сводили концы с концами, было куда пожаловаться, а эта что? Такой или примерно такой вижу я логику простого россиянина, человека с улицы, который чувствует себя ограбленным, обездоленным, униженным, втоптанным в грязь. Куда ни кинь — всюду клин — это и есть горькая житейская подоснова морали современного жителя России, от которого мы хотим трудолюбия, честности, высокой нравственности и, главное, веры в грядущий капитализм. Страдают более всего люди старшего поколения, не только потому, что на них обрушивается прежде всего бедность. Не менее, чем нищету, переживают за свою, как теперь получается, напрасно прожитую жизнь — оказывается, напрасно воевали, строили страну, радовались ее успехам. Как сказано в кибировской поэме "Сквозь прощальные слезы"

Все ведь кончено. Выкрась, да выброс,
Перестрой, разотри да забудь!
Изо всех своих славных калибров
Дай, Коммуна, прощальный салют.

Странная возникла ситуация — пришли, вроде, новые времена, когда отказались от лозунгов и от русских людей стали требовать, чтобы становились людьми дела, учились торговать и делать деньги — а встречено это было в штыки, оказалось, что большинству не нужен никакой капитализм, никакой рынок, Пускай американцы отправляются домой, и пусть их Клинтон играет дома на саксофоне — вот ведь как обернулся российский путь к капитализму!

Неясно, что же предпринять в создавшейся ситуации, как ослабить социальную напряженность, когда невозможно накормить население. И против кого направить народное недовольство. Какую услугу в это смутное время мог бы оказать еврейский вопрос, столько раз выручавший российских правителей, но с введением конституции и массовой еврейской эмиграцией превратился он в отработанный пар. Если одержит верх русский фашизм, о нем, верно, еще вспомнят в России. Но не сегодня. Сегодня опасность с другой стороны — тема, которая заслуживает того, чтобы остановиться на ней специально.

Беспамятство

Уже не первый год в России идет война против погребенных в мавзолей останков Владимира Ильича Ленина. Но Ленин лишь центральный персонаж в этом театре низвергаемых идолов, олицетворяющих эпоху поверженного коммунизма. Что примечательно — этот процесс давно уже не сопровождается критикой советского прошлого. С прошлым как будто все ясно, разве лишь недавний успех компартии на выборах напомнил обществу, что вопрос этот не столь очевиден. И, вообще, не так все просто с несчастной российской историей последних 70 лет.

Анализ ее объективного хода, кажется, мало интересует историков и политологов нового времени. Захваченные водоворотом событий, они отменили науку историю до лучших времен.

Во мглу погрузилась целая эпоха, находящаяся за спиной России. Исчезли или почти исчезли работы о сущности большевистской революции, ее социально-исторических корнях, ее движущих силах и нравственных истоках, причинах ее победы, ее многоаспектной роли в культурно-экономическом преобразовании страны — все эти темы, являющиеся нераспаханным полем исторической науки, отданы на откуп публицистам перестроечной печати, которые на свой вкус и лад переписывают историю,

предают анафеме все происшедшее в России за 70 лет. Кто был в ее истории Ленин? Политический авантюрист, который вместе с горсткой себе подобных захватил в 17 году политическую власть в стране. Движущие силы Октября? Толпы черни, злокозненно обманутые рвущимися к власти большевиками! Советская интеллигенция? Сохранившаяся после революции культурная прослойка, верноподданически служившая сталинскому режиму. Индустриализация? Рабский труд миллионов промышленных рабов, направленный на создание советской военной экономики. Можно привести целый набор подобных клише, которые с некоторыми вариациями кочуют по страницам журнально-газетной периодики, подводя население к мысли о том, что вся жизнь после 17 года — это затянувшийся на целую эпоху кошмар, который следует раз и навсегда вычеркнуть из памяти народа.

Последнее, однако, трудно проделать, как невозможно живую историю эпохи уподобить краткому курсу истории ВКП(б) — в котором, как помним, вся жизнь страны направлялась директивами партийных съездов и решениями ленинско-сталинского политбюро. Но жизнь была много шире, сложнее, противоречивее коммунистических формул. То, что принято называть потоком истории, не укладывалось в социалистическую действительность: многие явления которой ей самой же противоречили, были бунтом против социализма, пускай даже бунтом на коленях — от этого он не утрачивал своего подспудного влияния на ход исторического процесса. На одном только примере "Нового мира" и Твардовского можно убедительнейшим образом показать, как встроенные в советский режим структуры фактически подтачивали его изнутри. Эпоха сталинского рабства сопровождалась невиданным ренессансом в области культуры — имена Мандельштама, Ахматовой, Пастернака, Бабеля, Платонова, Эйзенштейна, Меерхольда, Пудовкина, Шостаковича — позволяют сравнивать этот взлет с эпохой серебряного века, давшего миру Блока, Бальмонта, Леонида Андреева, Ходасевича, Есенина, Хармса, Малевича, Кандинского... Корреляции

между режимом и рождаемой им культурой — тема самостоятельного исследования. Отложим ее в сторону, но поставим во весь рост вопрос об отношении новой эры к предшествующему семидесятилетию — не важно, как его обозначим — эпохой сталинизма, застоя или коммунистической диктатуры. Так вот, нынешняя эпоха полностью отрицает эпоху прошлую. На это отрицание направлена вся идеология и политика власть предержащих, еще более бескомпромиссная, чем политика большевиков после 17 года. Большевики считали себя наследниками лучших русских традиций, каких именно, хорошо известно из школьных учебников. Нынче вместе с советским коммунизмом выбрасывается на свалку все вызванное им к жизни — его литература, его искусство, его нормы морали, его герои, его обычаи. Но поскольку всю эпоху перепахать немыслимо, то война идет против ее реликтов, ее символов и памятников, против мумифицированных идолов, против названий городов и улиц, против традиций и праздников, против самой памяти о прожитой эпохе. На языке психиатрии в сознании общества происходит процесс замещения одного ряда явлений другим. Антикоммунистическая революция замещается ритуальными действиями, одно из которых у меня до сих пор стоит в памяти. Помните свержение с постамента Железного Феликса на Лубянской площади, демонстрируемое всеми каналами западного и московского телевидения?

Нынче дело стало подаваться так, будто семидесяти послереволюционных лет вообще не существовало. Не было — и все. Была династия Романовых, завершившаяся эпохой последнего ее государя-императора Николая Второго, которого вместе с его семьей зверски уничтожили большевики, был великий и непорочный русский народ с его верой в Бога, Царя и Отечество, был Санкт-Петербург — столица и гордость России, над которой не умолкая плыл величественный колокольный звон русских церквей... И все это рухнуло в зияющую черную пропасть, Россией овладели сатанинские силы, которые во имя народного блага и самой русской истории следует предать проклятию и забвению. Чем раньше, тем благотворнее это скажется на жизни общества. Я намеренно сгущаю краски, дабы вскрыть смысл происходящего в стране, когда власти, ни о чем не говоря вслух, упорно и целеустремленно замалчивают прошлое народа. Не по чьей-то злокозненной воле сверху, а как бы автоматически происходит механизм перестройки памяти, в которой не остается места для целостной картины истории. На наших глазах идет процесс рождения коллективного беспамятства — старшее поколение умирает, новое не осведомлено вообще. Москвичи путают названия улиц, станций метро, не знают имен городов — в той жизни, которую они теперь ведут, это им и не надо, как, похоже, не нужна им память о собственной судьбе.

В своей "Книге смеха и забвения" Милан Кундера называет Кафку пророком мира без памяти. Эпоха в его романе — это эпоха, потерявшая всякую преемственность с прошлым, обитатели Праги, о которой он пишет, ничего не помнят и ни о чем не вспоминают. В этом потерявшем память городе не звучит ни одна песня, способная напомнить о дне или часе ее рождения и тем самым хоть как-то соединить настоящее с прошлым.

Нет ли чего-то кафкианского и в этом, рождаемом на наших глазах всенародном беспамятстве? Как ни странно, тянутся к истории страны рядовые труженики, 70 лет эксплуатируемые советским режимом, а самыми рьяными ее врагами оказались те, что были плоть от плоти режима, объявившие себя нынче новым классом. Не оттого ли этот парадокс, что в истории, из которой они с такой легкостью выпорхнули, чуется им запах пороха: а что, как всерьез станет вопрос о покаянии и ответственности?

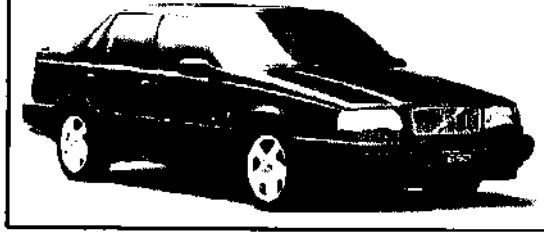
Итак, с одной стороны — неверие и апокалипсис, с другой — историческое беспамятство, вот какое интересное общество нарождается в эти дни в стране, откуда я недавно вернулся и где вместе с московским вариантом капитализма видел рождаемые им чудеса: как в полночь гадают на телевидении хироманты и астрологи, как пассажиры в метро читают взахлеб журнал "Домовой" (цена

которого втрое дороже "Нового мира"), как, выступая по телевидению, призывают к углублению реформ московские спонсоры, бескорыстные радетели российской культуры, как средь депутатов Думы (каждый из которых обходится россиянам в 15 миллионов) устраивает потасовки народный избранник Жириновский, зовущий соотечественников к священному броску на Юг... На этом бы и закончить, если бы не был я сам из этой страны и не наполнял бы мне душу горечью этот новый апокалипсис.

Видел я в России и хорошее: ее великий, страдающий народ, заслуживающий доброго слова, независимо от того, доживет ли он до светлого капиталистического будущего. Впрочем, это уже особая тема — на те, возможно, далекие времена, когда увижу я зерна надежды.

Фирма ЕВРО-НОРТ предлагает:

со склада в Москве
ГАЗ-31029, а также новые растаможенные автомобили.
VOLVO-850, VOLVO-460,
LAND ROVER «Discovery», ALFA ROMEO-164,
SAAB-9000 2,3 TURBO, MITSUBISHI «GALANT»,
SUZUKI MARUTI 800



На заказ:
ГАЗ-31029, ГАЗ-31022,
ГАЗ-31029 51 комплектации,
любые модели VOLVO,
LAND ROVER,
в т.ч. в исполнении «Скорая помощь».

117261, Москва,
ул.Панферова 14
Тел.: (095)327322,
132-0323 Факс: (095)132-7518.

Реклама

UNITRANS– P.R.A. CO., INC.

INTERNATIONAL AIR FREIGHT FORWARDER. • Лицензия #9389/ОЦ4

ЛАЙСЕНС ДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮБЫХ АВИАГРУЗОВ. ТАКЖЕ ЕСТЬ ЛАЙСЕНС, ВЫДАННЫЙ "FEDERAL MARITIME COMMISSION", NVOCC #055866 – ДАЮЩИЙ ПРАВО ТОЛЬКО НА МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ.

АВИАПЕРЕВОЗКИ

ВПЕРВЫЕ ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ АМЕРИКИ!

СРОЧНАЯ ДОСТАВКА ОБРАЗЦОВ ГРУЗОВ В МОСКВУ, С.-ПЕТЕРБУРГ, КИЕВ. СРОК ДОСТАВКИ 1–3 ДНЯ (ЭКСПРЕСС).

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТПРАВКА КОММЕРЧЕСКИХ ГРУЗОВ "CARGO" В МОСКВУ, С.-ПЕТЕРБУРГ, КИЕВ, РИГУ, ВИЛЬНЮС, ТАЛЛИНН, МИНСК, ЛЬВОВ, АЛМА-АТУ, ОДЕССУ. (МИНИМУМ 100 ФУНТОВ).

ГАРАНТИРУЕМ БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ.

ПОЛЬЗУЕМСЯ УСЛУГАМИ САМЫХ НАДЕЖНЫХ В МИРЕ АВИАКОМПАНИЙ: AIR FRANCE, BRITISH AIRLINES, FINNAIR, LUFTHANSA, SAS, AUSTRIAN, KLM.

СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ В УПАКОВКЕ ВАШЕГО ГРУЗА В АВИАКОНТЕЙНЕРЫ ЛЮБЫХ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ.

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

БЫСТРО • НАДЕЖНО • НЕДОРОГО — ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ

Контейнеры в С.-Петербург, Москву, Киев, Минск, на Урал, в Сибирь, Порт Восточный и др. } Цены сезонные, сниженные.

Специальные цены на отправку автомашин в контейнерах.

ВНИМАНИЕ!

40' Нью-Йорк — Одесса.....$3300
Цена зависит от рода груза

КОНТЕЙНЕРЫ — ИЗ СНГ — В США

ОТПРАВКА ЛЮБЫХ ТИПОВ МАШИН

	St. Petersburg	Moscow	Europe	RO-RO
Ford Taurus (новый).....	$ 950	$1250	от	Только шведской
Jeep Cherokee (новый).....	$1050	$1350	$500	и норвежской линией

ПОСЫЛКИ В РУКИ АДРЕСАТА БЕЗ ПОШЛИНЫ

АВИА – МИНИМУМ 11 ФУНТОВ ВО ВСЕ ГОРОДА УКРАИНЫ.....$1.89 за фунт

ВНИМАНИЕ ОТПРАВИТЕЛЕЙ С ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ!

RUSSIA	NEW JERSEY	BROOKLYN	LOS-ANGELES
St. Petersburg, 22 Galernaya Street, Suite 52, Tel. (812) 312-9245, (812) 117-2010, Fax (812) 312-3306.	16-00 Rt. 208, Fair Lawn, N.J. 07410, Tel. (201) 703-0555, (201) 797-8088, Fax (201) 703-0418	1786 Coney Island, Tel. (718) 998-4545, (718) 998-4580, (718) 998-8288, (718) 998-0102, (718) 998-0154, Fax (718) 998-5990	10912 S. LA Cienega Blvd, Inglewood, CA 90304, Tel (310) 348-8298, (310) 348-8298, Fax (310) 348-8297.

Цены, указанные в объявлении, действительны только в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Лев НАВРОЗОВ

ЛЖЕГЕНИИ В ВОЛЬНЫХ ИСКУССТВАХ

Некогда вольные искусства, будь то живопись, или музыка, или литература, или изучение литературы, или философия и вообще все, что французы называют словом lettres, были в некотором роде подобны таким искусствам, как медицина, то есть искусство врачевания, или таким наукам, как физика или математика. У всех была единая иерархия, вершина которой увенчивалась гениальностью, после чего шли таланты — по степени убывания, затем бесталанные "честные ремесленники", а в самом низу — подмастерья, ученики, технические исполнители, растиравшие краски в живописи или занятые уходом за тяжелобольным в медицине. И, скажем, в той же медицине эта единая иерархия сохранилась в конце XX века. Деятели искусства врачевания составляют иерархию, низший ряд которой столь же полезен и необходим, как и ее вершина.

Такая же единая иерархия существовала и в каждом вольном искусстве. Во времена, когда не было фото-

графии, звукозаписи, телевидения и многих существующих ныне наук, работы хватало даже самым бесталанным деятелям вольных искусств в самом низу иерархии. Не у всех были средства заказать свои портреты гениальному или хотя бы талантливому художнику, но ведь и тогда стремление увековечить себя и своих близких, быт, природу было человеческой потребностью. Не у всех были средства заказать свадебный марш, реквием или кантату гениальному музыканту. Кроме того, вольные искусства мало отличались, в восприятии большинства заказчиков, от высоких ремесел, вроде ювелирного дела или изготовления мебели. Музыка заказывалась "мастеру", а слово "гений" приобрело современный смысл лишь в XIX веке. Самый бесталанный мастер в вольных искусствах был все же мастер, как самый бесталанный врач в конце XX века все же врач, а любой врач — лучше, чем вообще отсутствие врача.

Но кто в конце XX века будет заказывать, скажем, семейный портрет или пейзаж заведомо бездарному художнику? Ведь есть же фотография, в том числе и художественная. Щелк — и готов семейный портрет, над которым художнику пришлось бы работать годы. Кто же будет заказывать музыку заведомо бездарному композитору и слушать ее в заведомо посредственном исполнении? Поставьте компакт-диск — и вот вам Бах или Моцарт, как живой, в лучшем исполнении.

То же самое произошло во всех вольных искусствах. Я уже высказывал предположение (в "Литературной газете" 22.09.93), что негениальную литературу как средство познания вытеснят науки и документальное телевидение вместе с компьютерными хранилищами памяти. А негениальную литературу как средство развлечения вытеснит (карманное) телевидение. Например, кому нужны негениальные "исторические романы", вроде цикла Солженицына "Красное колесо"? На Западе их во всяком случае не читают. В качестве средства познания, серьезные исследователи предпочтут сборники документов с комментариями. На Западе публикуется также множество истори-

ческих исследований, которые читаются несопоставимо лучше, чем неудобочитаемое "Красное колесо", но снабжены справочным аппаратом, указывающим, откуда взята каждая цитата и на каком основании делается каждое утверждение. А. как средство развлечения, телевизионная серия на ту же тему представит исторические события куда более "живо и увлекательно", чем любой роман, а уж о скучнейшем "Красном колесе" и говорить нечего. Только гениальная литература остается незаменимой, ибо слово — это символ, который телевидение передать не в состоянии. Например, как оно может передать на экране слово "жизнь"? Недаром "экранизация" Толстого, Достоевского или Чехова дает фильмы, которые ничем не лучше, чем фильмы по сценариям Иванова, Петрова, Сидорова.

Иначе говоря, к концу XX века в вольных искусствах нужен лишь самый верх иерархии — гениальность. А вся остальная иерархия не нужна: ее заменили фотография, звукозапись, телевидение, компьютеры, науки.

Хочу быть гением

В то же время число деятелей вольных искусств в XX веке неудержимо растет. Точнее, не число деятелей вольных искусств, а число желающих подвизаться в вольных искусствах.

Дело, однако, в том, что гениев — не миллионы, не тысячи, не сотни, не десятки, а единицы. За все века существования России у нее было три прозаика, вошедшие в мировую литературу: Толстой, Достоевский и Чехов. А просматривая российские "толстые журналы" 80-х годов прошлого столетия, в них наверняка не отыщешь ни Достоевского (который умер в 1881 году), ни Толстого, ни Чехова. Но зато можно подсчитать, что свыше 99% напечатанного в этих журналах обнаруживает такое же отсутствие таланта, которое можно было наблюдать в советских "толстых журналах" начала 50-х годов

(творчески самого "глухого" периода в истории советской России).

Процент литературного таланта, не говоря уж о гениальности, среди тех, кто считается "серьезными" литераторами, так исчезающе мал даже в литературно творческие эпохи, что трудно увидеть разницу между российскими "толстыми журналами" 80-х годов прошлого столетия (одного из самых творческих десятилетий в истории России) и советскими "толстыми журналами" начала 50-х годов (когда каралось даже изустное отклонение в частном разговоре от единой государственной культуры). Точно так же российские "толстые журналы" 90-х годов этого столетия мало отличаются в смысле высокого процента бездарности от таковых же в 80-е годы прошлого века или советских "толстых журналов" начала 50-х годов нашего столетия. Есть ли русскоязычные прозаики мирового значения Толстого, Достоевского или Чехова? Может быть, они существуют, но не открыты — не явлены миру. Может быть, они вскоре появятся. Может быть, они не появятся никогда.

Русские гении прозы второй половины XIX века и русские гении поэзии первой трети XX века состоялись благодаря тому, что существовала литературная элита, открывшая их, ценившая их и платившая им за книги достаточно щедро для их безбедного существования. Эту элиту можно назвать духовной аристократией или, если хотите, духовной буржуазией, но, если ее нет, то гений не состоится ни в каком вольном искусстве. Есть ли такая элита в России? Ответить на этот вопрос невозможно, ибо наличие элиты определяется лишь по наличию гения, которого она открыла и которому платит достаточно щедро.

Кого на Руси прочат в литературные гении?

Когда я опубликовал в "Новом мире" (№6, 1992) статью, излагающую мои рецензии в американских журналах

на американские романы начала 80-х годов, то "западники" из числа российской интеллигенции были оскорблены в своих лучших чувствах. Я утверждал, что произведения "ведущих американских романистов" начала 80-х годов — Апдайка, Стайрона, Козинского, Рота и Ирвина Шоу — это даже не посредственное чтиво, а макулатура. С другой стороны, в глазах "славянофилов" моя статья показывала "бездуховность" Запада, а под этим как бы подразумевалось, что в духовной-то России насчет литературной гениальности дело обстоит не в пример лучше. Но так ли это?

В 30-х годах подавляющее большинство советской интеллигенции, включая, например, молодого Солженицына*, верило, что Сталин — гений или "гений гениев", а, скажем, возглавляемая Фадеевым советская литература — это вершина мировой литературы. Но с развенчанием Сталина Хрущевым в 1956 году была, по существу, развенчана и вся советская культура, созданная Сталиным. Гениальность стали искать не в советскости, а в антисоветскости — в инакомыслии по отношению к советской культуре. Всякое инакомыслие воспринималось многими среди советской интеллигенции как гениальность. Разумеется, каждое советское инакомыслие вскоре сменялось еще более смелым инакомыслием, и оно-то и считалось отныне гениальным впредь до следующего, совсем уже невиданно смелого инакомыслия. Поскольку деятельница "Нового мира" была моей соседкой по даче, она в начале 60-х годов тайно дала мне тайный (сокровенный) "Один день Ивана Денисовича" с глубоким выдохом: "Гениально!".

Сейчас, 30 лет спустя, я похвалил, в присутствии Шкловского (другого дачного соседа), "Один день...", как произведение на литературном уровне Боборыкина. Все хохотали, считая, что любого советского писателя надо

*См. Лев Наврозов, "Конформизм в России при Сталине", "Российские вести", 10.07.93.

сравнивать с Толстым или вообще ни с кем не сравнивать. Ведь Фадеева в наших школьных учебниках упорно сравнивали именно с Толстым, отмечая сходство их языка. И вдруг — Боборыкин, которого никто в "Новом мире" не читал, а само имя вызывало смех.

В те времена, когда Сталин и его воспреемники угрожали Западу атомной смертью, решение Хрущева опубликовать в "Новом мире" описание одного дня в сталинском ГУЛАГе бывшим заключенным стало, естественно, мировой сенсацией. И на гребне этой сенсации "Солженицыну дали Нобелевскую премию". В советской России, впавшей за полвека в глубокий культурный провинциализм это произвело впечатление указующего перста Бога. Советским провинциалам было очень трудно объяснить, что Нобелевские премии имеют такое же отношение к литературной гениальности, какое имели к ней Сталинские премии, а, может быть, еще и меньшее*. Ничего нового в книгах Солженицына не было. К 1962 году на Западе собралась библиотека книг о ГУЛАГе, включая двухтомный труд 1936 года Ивана Солоневича, который и ввел в употребление слово "ГУЛАГ". Солоневич рисковал жизнью? Что там жизнь! Его могли украсть и запытать до смерти. А Солженицын опубликовал "Один день..." под эгидой диктатора Хрущева и стал советской знаменитостью, да и представителем высшего советского общества. Что ему угрожало затем? Однажды, при Брежневе, место жительства Солженицына во время его отсутствия подверглось обыску, а затем Брежнев выслал его на Запад, доведя сенсацию до высшей точки, добавив, таким образом, к его доходу за счет сенсации еще несколько миллионов долларов и позволив ему жить в условиях, в которых жил разве что сам Брежнев.

Сенсации не имеют отношения к литературе — или к чему-либо еще, кроме самих себя. Когда я пишу эти строки, две американские спортсменки-фигуристки стали

*Более подробно я писал об этом в "Литературной газете" 09.06.93.

всемирными знаменитостями потому, что, якобы, по наущению одной из них, Тони, у другой бандит разбил колено. За интервью с Тони телепрограмма заплатила около одного миллиона долларов. Солженицыну, который весьма упорно добивался самой высокой платы за свои интервью, подобная сумма никогда и не снилась.

Но всякая сенсация кончается. Через некоторое время западная интеллигенция (не говоря уже об остальном населении) не будет знать даже имени Солженицына, как она не знает имени недавно переизданного в России Боборыкина. А "Красное колесо" рецензент газеты "Нью-Йорк таймс" и вовсе счел графоманией. Однако, культурный престиж России упал так низко, даже в глазах ее собственной интеллигенции, что последняя до сих пор не может опомниться от того, что "Солженицына признал Запад".

Что же касается самого Солженицына, то после присуждения ему Нобелевской премии он стал играть роль "гениального русского писателя" — Толстого наших дней. Когда я встретил Солженицына в России до присуждения ему Нобелевской премии, он был чисто выбрит, выглядел моложавым озорником и радостно улыбался, слушая мой разнос Паустовского, которого, видимо, он считал до этого превосходным писателем и своим опасным соперником. Когда же я встретил его в Нью-Йорке, он выглядел древним старцем, с окладистой бородой. Как же иначе может выглядеть "гениальный русский писатель"? В отличие от достойного, благородного, серьезного Боборыкина, Солженицын — водевильный персонаж, у которого антисемитизм — тоже лишь часть игры в "гениального русского писателя" (то бишь, уже не Толстого, а Достоевского)!*.

Примерно то же самое, но в малом масштабе, произошло с "малым Солженицыным" по имени Иосиф (на

* См. Лев Наврозов, "История одной книжной рецензии", "Megapolis express" 09.06.93.

Западе — Джозеф) Бродский. В своей статье 1981 года в американском журнале* я попытался показать американцам, в чем заключалась для нас в России прелесть стихов Бродского 60-х годов, по сравнению с той галиматьей, которую представляют собой существующие переводы этих стихов на английский язык. Но даже в 60-х годах было бы нелепо считать эти стихи Бродского равноценными поэзии Блока, или Мандельштама, или Пастернака, или Цветаевой первой трети XX века. Юмор заключается в том, что ни Мандельштам, ни Цветаева (ни Толстой, ни Чехов) Нобелевскую премию не получили. А Пастернак, расцвет поэзии которого был в первой трети XX века, получил ее опять же, лишь когда разразился политический скандал в конце его жизни по поводу его романа, который, увы, куда слабее, чем его ранняя поэзия.

Стихи Бродского 60-х годов не пережили 60-е годы. А его стихи, написанные в звании "американского профессора поэзии" потеряли, как я отметил в своей статье 1981 года, прелесть его стихов 60-х годов. Я не ошибся: написанное им с тех пор — это профессиональные упражнения в версификации, а на английском языке у них меньше читателей, чем их было у среднего советского поэта-члена СП СССР. Некоторые русскоязычные читатели убеждены, что, поскольку "Бродский получил Нобелевскую премию", весь мир его знает так, как в советской России знали Евтушенко. Но спросите их, кто из нерусскоязычных поэтов получил Нобелевскую премию с начала века и по сей день, и они вряд ли назовут хотя бы одно имя.

Несмотря на то, что газета "Нью-Йорк таймс" представила Бродского в подписи к его фотографии, как "узника ГУЛАГа", все же у него подобных внелитературных оснований для получения Нобелевской премии было

*Статья была переведена на русский язык, см.: "Время и мы", No 60, 1981.

меньше, чем у Солженицына. Однако, в отличие от последнего, Бродский, как я показал в своей статье 1981 года, развил необыкновенно искусную деятельность, чтобы, получить Нобелевскую премию, и я сам был невольно вовлечен в эту деятельность, пока не сообразил, в чем дело. А вопрос, который я задавал в статье 1981 года, был таков: как же может Запад судить о прелести стихов Бродского 60-х годов, если их переводы сущая галиматья?

Подобно Солженицыну, Бродский стал играть роль водевильного гения. Интервью с ним в "Литературной газете" 12.01.94 озаглавлено цитатой из его изречений в этом интервью: "НЕТ ПРАВЫХ И ВИНОВАТЫХ И НИКОГДА НЕ БУДЕТ". Простой смертный (не гений) тут лишь разведет руками: "А Гитлер, например? Убил 12 миллионов мирных жителей, включая шесть миллионов тех, кого он счел евреями, к каковым он отнес бы и Иосифа Бродского, желал бы того Бродский или нет". Но такие мысли — это мысли простых смертных, а вот для гения Бродского "нет правых и виноватых и никогда не будет!" Каково, а? Такое гений загнет, что простому смертному и в голову не взбредет! Знает ли Бродский, что еще у Тургенева подобная пошлость называлась "противоположным общим местом"?

Но если таковы два русских литератора, которым Нобелевская премия служит в России как бы памятником, воздвигнутым еще при жизни, то что же говорить о тех, кого прочат в России в литературные гении, но на Западе о них никто, кроме специалистов по России, не слышал и, вероятно, никогда не услышит?

Упомяну по недостатку места лишь один случай. В 1992 году "Новый мир" напечатал отрывки из книги Дмитрия Галковского, который перевернул в с ю советскую культуру вверх ногами. Это вам уже не просто инакомыслие, а сплошное обратномыслие. Советская культура наоборот. Например, начиная с конца 20-х годов советская культура высоко ставила классиков русской литературы, за что я ей вечно благодарен. А Галковский написал,

соответственно, что классики русской литературы были литературными проститутками. Так, "Толстому было все равно, что писать, кому отдаваться", но правительство литературных проституток не купило, и те "пошли на содержание к евреям, к масонам и иностранным разведкам"*. Когда же ценители русской литературы за культуру заступились, редактор "Нового мира" Залыгин объяснил в "Известиях" от 13 марта 1993 года, что все опубликованное в их журнале за подписью Галковского, "сказано ведь не Галковским, а действующим лицом его произведения", от имени которого ведется повествование. В том-то и гениальность Галковского: в своем произведении он вывел образ "озлобленного ниспровергателя всего и вся", постсоветского нациста-антисемита. Залыгин задает риторический вопрос: "Следует ли умалчивать о такого рода ниспровергателях или говорить о них в полный голос, как те же "Известия" говорят о многих наших пороках? "Понимаете? Галковский бичует пороки общества, это — Свифт, Гоголь, Салтыков-Щедрин России наших дней. Что ж, учитывая, что "Новый мир" опубликовал произведение Галковского почти за год до успеха Жириновского на выборах, нельзя отказать в типичности или собирательности образу, который вывел Галковский.

Однако, к конфузу "Нового мира" Галковский опубликовал под своим именем в "Независимой газете" 09.06.93 нацистско-антисемитскую статью под заглавием "О стучкиных детях (т.е. евреях — Л.Н.), римском праве и азиатском мышлении Талмуда". В заключение статьи, Галковский предлагает "сделать стучкиным детям небольшую операцию на головном мозге" вместо того, чтобы посылать их в освенцимы. То есть "гениальный образ" постсоветского нациста-антисемита, "гениально разоблаченного" Галковским, и оказался самим Галковским. После чего "Новый мир" забыл про открытого им Галковского, книга его так и не опубликована, и только с приходом

---

*"Новый мир", No 11, 1992. с. 257.

к власти Жириновского или ему подобных, он может снова взлететь к вершинам российских "толстых журналов", а, возможно, и занять место их руководителя, чтобы потом, столь же вероятно, погибнуть в застенках и стать примечанием к истории нового террора в России.

Бездарность на общественных хлебах

Словом, гениальность в конце XX века так же редка, как она была редка всегда. Число же тех, кто желает подвизаться в вольных искусствах, а значит и притязать на гениальность, — бурно растет. Какой же найден выход?

В советской России эту проблему решили таким образом. Во-первых, число деятелей вольных искусств было ограничено членством в "творческих организациях". Во времена Хрущева и Брежнева те, кто считали себя профессиональными деятелями вольных искусств, но не состояли ни в одной творческой организации, подлежали, как тунеядцы, заключению или высылке. А бездарные деятели вольных искусств, вошедшие в "творческие организации", получили возможность выполнять ту же работу честных ремесленников, которую выполняли бездарные деятели вольных искусств в добрые старые времена. Всемогущее государство либо платило за их произведения, либо вынуждало платить за них население.

В США существует аналог решения этой проблемы. Главным местом обитания бездарных деятелей вольных искусств стал огромный университетский мир, который как бы заключает в себе все советские "творческие союзы" вместе взятые, с той лишь разницей, что в университетском мире США деятели вольных искусств получают жалование и, таким образом, совершенно не зависят от продажи своих произведений.

Примером уютного пребывания в университетском мире США является тот же Иосиф Бродский. Что он пишет, и кто его читает, не имеет к делу никакого отношения. Жалование ему идет исправно вот уже добрых двадцать лет, с ежегодными повышениями, бесплатная медицинская помощь обеспечена, пенсия предвидится прекрасная. Советский социализм отказался взять Бродского на свои хлеба. Но Бродский, как и тысячи других деятелей вольных искусств, живет припеваючи при сверхсоциализме университетского мира. Советский поэт должен был время от времени продавать свои книги, ибо Союз писателей жалования ему не платил. То ли дело Бродский. Ходи на службу, получай жалование, вкладывай деньги в ценные бумаги. Недаром на фотографии в цитируемом мною выше интервью в "Литературной газете" у Бродского чрезвычайно хитрое выражение лица, какое нельзя себе представить ни у одного поэта или мыслителя, но зато можно себе представить у брокера фондовой биржи. Такого сверхсоциализма, при котором живет Бродский, советским поэтам и не снилось. А кроме того, этот сверхсоциализм прекрасно сочетается с капитализмом — с чековыми книжками, ценными бумагами, процентами с капитала и всем прочим. Меня уверили, что Бродский — даже один из пайщиков ресторана "Русский самовар". Ну, а что касается поэзии, то, право, стоит ли говорить о таких пустяках?

Однако, всех подвизающихся в вольных искусствах даже огромный университетский мир США взять на свои сверхсоциалистические хлеба не в состоянии. Ведь Бродский получил постоянную профессуру как всемирно известный "узник ГУЛАГа". А попробуй русский поэт получить ее сейчас!

Лжегениальность с помощью скандалов

Подобно тому, как сорняки, не имеющие никакого отношения к ценному растению, принимают его вид, миллионы желающих подвизаться в вольных искусствах конца XX века, принимают вид гениальности. В советских словарях было слово "лженаучность", но не значилось слово "лжегениальность". Возможно потому, что некоторые лица могли решить, что болтовня Ленина, Сталина или Горбачева — это не гениальность, а лжегениальность. Как я

уже упоминал ранее, российские лжегении в вольных искусствах последних 60-ти лет часто принимали вид гениев прошлого, например, Толстого: Фадеев или Солженицын — это Толстой наших дней. На Западе эта мимикрия не работает, ибо такого лжегения назовут подражателем. Лжегениальность пошла совсем по иному пути.

Вот мы на выставке изобразительных искусств в Нью-Йорке, хотя ее экспонаты ничего не изображают, кроме самих себя. Например, старые автомобильные колеса со свалки изображают лишь старые автомобильные колеса. Все участники выставки бездарны. Но только бездарные деятели вольных искусств на Западе XX века отнюдь не стали бездарными ремесленниками, тачая бездарные романы, полотна или симфонии. Они нашли совсем иной путь. Например, притащить на выставку со свалки старое автомобильное колесо и назвать его произведением изобразительного искусства. Подобное же произошло во всех вольных искусствах. Главное, что тут не требуется не только никакого таланта, но и никакого образования или обучения.

Этот путь всех желающих подвизаться в вольных искусствах возник из "сказки о непризнанном гении". Согласно этой старой сказке, общество не признает гения, ибо он — впереди своего времени. Таким образом, в самой основе сказки лежит ложная предпосылка, что вольные искусства как бы идут вперед, развиваются, прогрессируют подобно науке и технике. Аналогия с наукой и техникой является ложной. Телефонная связь в настоящее время в США, действительно, превосходит таковую в начале этого века, а до 1876 года не было телефонов вообще. Но это не значит, что скульптура конца XX века превосходит греческую скульптуру V века до нашей эры, живопись — итальянскую живопись Возрождения, роман — русский роман второй половины XIX века. Возможно, русская поэзия в лице Пастернака и Мандельштама превосходит, по мировому счету, русскую поэзию XIX века. Но разве она более "передовая" или "современная"? Мандельштам идет от российского XVIII века, от античности, от эпоса, от Данте и Петрарки — он более отсталый и несовременный, чем российско-европейская поэзия XIX века. А к какой эре какого тысячелетия на дворе принадлежит Пастернак 1912—1933 гг.? К славяно-германо-языческой?

Ради советской и нацистской пропаганды, а также ради бульварной слезливости много было создано сказок, по образцу андерсеновского "Гадкого утенка", о "гениях, отвергнутых обществом".. Но самой животрепещущей из всех этих сказок оказалась сказка о Ван Гоге. В сказке не говорится о том, что Ван Гог занимался живописью всего 10 лет (80-е годы XIX века), из которых шесть лет он учился. А два последних года он был почти непрерывно психически болен, кончив самоубийством. Остаются два года (1886-1887). Как мог получить признание за два года он, голландец, живший в Париже, самоучка, начавший учиться живописи всего шесть лет до этого, а через два года, отрезавший себе ухо в состоянии невменяемости? Тем не менее, он выставлялся в парижском Салоне независимых в 1888, 1889 и 1890 году и в брюссельском салоне, причем оба салона устроили также его посмертную выставку. В 1890 году о нем написала влиятельная газета "Меркюр де Франс", а через 10 лет, то есть через 20 лет после того, как он начал учиться живописи, его имя стало всемирно известным. Дай Бог такого непризнания любому гению! И неужели он — единственный гениальный европейский художник только потому, что он за два года не добился признания при жизни? А как же остальные гениальные художники XIV—XIX вв.? Неужели все они не гениальны только потому, что прожили достаточно долго и были признаны при жизни?

Оболтус, приволокший автомобильное колесо со свалки на выставку в качестве своего произведения, считает себя Ван Гогом, которого не признает общество, ибо он — впереди своего времени. Недаром это движение впереди своего времени содержится в слове "авангард", взятом из левого революционного языка застрельщиков будуще-

го. Подразумевается, что будущее будет непременно лучше настоящего и оценит автомобильное колесо со свалки в качестве гениального произведения вольных искусств. А уж поставангард — это авангард впереди будущего, будущее в будущем.

Однако, поскольку не все бездарные деятели вольных искусств довольствуются одобрением в будущем, то в целях привлечения внимания в настоящем происходит непрерывное наращивание скандальности. Бездарность вольных искусств стремится превзойти предшественников с помощью более скандальных (омерзительных, бессмысленных, нарушающих приличия) выходок. Увы, подобный скандал является редкой удачей, ибо население Запада не обращает внимания ни на что, не нарушающее закон и существующее на частные средства (а не на средства налогоплательщиков). Если некто желает притащить со свалки старое автомобильное колесо и назвать его произведением искусства, которое якобы будет признано гениальным в будущем, то это не противоречит никаким законам, а если к тому же никто не посягает на средства налогоплательщиков, то кому какое дело? Западное общество — это мозаика, а не единая иерархия, и то, что происходит в одной ячейке этой мозаики, может не касаться других ячеек.

Население Запада вне культурной элиты, то есть подавляющее большинство вообще не интересуется ни Бахом, ни Моцартом, ни Чеховым, ни Ван Гогом, ни бездарностями, которые считают себя Ван Гогами, пытаясь устраивать "художественные скандалы" для привлечения внимания. У большинства населения Запада своя культура, которая культурной элите представляется пошлостью. Что же касается культурной элиты, то, например, нью-йоркская коммерческая радиостанция передает для нее "серьезную" музыку круглые сутки, но за 20 лет я ни разу не слышал на этой волне Шенберга, не говоря уж об Айвзе или Кэйдже, и когда я спросил у директора программ этой радиостанции почему, он объяснил, что как только они начинают передавать Шенберга, музыкальная элита переключает свои приемники на другую станцию "серьезной" музыки. Никто из нас не посещает выставок изобразительного искусства, на которых бездарные деятели вольных искусств пытаются привлечь внимание с помощью скандалов. Кстати говоря, во время вернисажа на этих выставках собираются сами же бездарные деятели вольных искусств, а в остальное время посещаемость этих выставок иногда не составляет в среднем и одного человека в день.

В известном смысле можно сказать, что подобные бесчисленные деятели вольных искусств сильно скомпрометировали культуру XX века вне науки и техники. Как только на произведении вольных искусств стоит марка "Сделано в XX веке", то чрезвычайно велика вероятность, что это, в лучшем случае — нечто надуманное, искусственное, головное, бесплодное, ненужное, а в худшем — просто хлам, болтовня, шум, часто с целью скандального привлечения внимания.

Подобно тому, как в статье, предназначенной для русскоязычных читателей, нельзя не упомянуть Бродского в связи с университетским сверхсоциализмом в США, в такой статье нельзя не упомянуть, в связи с "художественными скандалами", эмигранта Константина Кузьминского, далеко не всем известного даже в русскоязычной эмиграции Нью-Йорка, хотя он никогда не упускает возможность устроить как можно более неприятный для окружающих скандал, полагая, что чем более он будет неприятен, тем более он привлечет к себе внимание.

Когда Бродский находился еще в России, Сюзанна Масси издала в США книгу о непризнанных российских поэтах, включая Бродского и Кузьминского. Появившись на Западе, Бродский устроил ей скандал: как она смела поставить его на одну доску с остальными? Однако, в своей статье 1981 года я снова осмелился поставить Бродского на одну доску с остальными в смысле таланта. Но Бродский и Кузьминский двинулись для достижения лжегениальности в противоположные стороны. Бродский двинулся в сторону чинов, званий, жалований, премий и прочего, чем обладал в советской России его враг, устроивший ему ссылку: Александр Прокофьев (в молодости

отнюдь не менее талантливый, чем Бродский). Кузьминский попробовал было попрофессорствовать в Техасе, но постоянного профессорства ему не дали, и он двинулся в сторону как можно более неприятных для окружающих скандалов.

Так, в декабре прошлого года он воздвиг на нью-йоркской эмигрантской выставке русскую деревенскую уборную в качестве своего художественного произведения, оцененного им в 6000 долларов. Разумеется, желающих приобрести его даже за один цент не нашлось. А чтобы усилить скандал, Кузьминский поведал, что в сооружении уборной приняли участие лауреаты и академики Шемякин и Неизвестный, о чем и сообщила газета "Московские новости". Рядом с уборной Кузьминский повесил мои фотографии, которые он снял с помощью фотокамеры с телеобъективом, а также экземпляры моих статей и мою записку к нему двадцатилетней давности, в которой я похвалил его за то, что он в то время собирал стихи непризнанных российских поэтов, включая Бродского. Ради привлечения к себе внимания Кузьминский готов на все, а если он не использовал сооруженную им уборную на глазах у посетителей, то лишь потому, что хозяйка галереи не разрешила портить пол ее галереи и потолок этажом ниже. Русскоязычные газеты сообщили о скандале, ибо подобные скандалы пока что для них внове, но ни одно нерусскоязычное издание не сообщило о скандале ни строчки. Русский провинциал Кузьминский остается маленьким геростратиком русскоязычной эмиграции Нью-Йорка.

Можно привести множество поразительных примеров, показывающих, до какой степени лжегении, вроде Солженицына, Бродского, Галковского и Кузьминского, помешаны на себе, эгоистичны до степени мании, сосредоточены всецело на своем тщеславии. Но, как это ни странно, именно Кузьминский, не имеющий никаких званий, чинов или наград, превзошел их всех в этом отношении. Например, его жена, с которой он на моих глазах обращался, как с рабыней или заключенной концлагеря, причем в общественном месте, снимает на видео каждое мгновение его жизни, включая физиологические отправления, ибо даже его физиология представляет собой, по его мнению, бесконечную ценность для человечества будущего или будущего в будущем. Поэтому, пожалев свой пол и потолок этажом ниже, хозяйка галереи не лишила, однако, человечество возможности знать жизнь Кузьминского с такой физиологической доскональностью, с какой не известна жизнь ни одного человека в истории человечества.

Возникает вопрос: на что же живут на Западе негениальные деятели вольных искусств вне университетского мира? Прежде всего, в США тот, кто ничего не зарабатывает, получает пособие, которое называется "благоденствием" ("вэлфер"). Благодаря этому и другим подобным пособиям, могут благоденствовать хоть миллионы деятелей вольных искусств в качестве непризнанных гениев. Именно так и благоденствует в течение многих лет хотя бы тот же Кузьминский. Кроме того, желающие подвизаться в вольных искусствах составляют ныне целый класс, значительный блок избирателей, и они убедили Конгресс раздавать им десятки миллионов долларов в год. В советской России какой-то директор приобретал в качестве скульптуры перед зданием, допустим, статую Ленина. В качестве же скульптуры перед зданием в Нью-Йорке американский менеджер приобрел лежащую на боку цифру "9", отлитую из чугуна и окрашенную в канареечно-оранжевый цвет. Если бы эта цифра "9" вызвала скандал, то ее мог бы приобрести и миллиардер: в течение нескольких лет его гости бы показывали на девятку, говоря: "Это та самая девятка, которая вызвала скандал".

В этом смысле бездарности в "изобразительных искусствах" повезло больше всего, а бездарности в музыке меньше всего. Ведь даже "музыкальное произведение" 1954 года, которое состоит из одной лишь сплошной "музыкальной паузы", надо слушать, то есть терять время, ибо эта пауза длится во времени. А мимо лежащей плашмя девятки прохожие идут, не замедляя шаг и не глядя в ее сторону.

Сергей РАХЛИН

ЛЮБОВЬ-НЕНАВИСТЬ К АМЕРИКАНСКОМУ КИНО

Сравнительно недавно мне довелось описывать церемонию вручения высших наград Американской Академии Киноискусства, заветных "Оскаров". Журналисты-мужчины обязаны были являться в пресс-центр в смокинге и галстуке-бабочке, дамы-журналистки — в длинных вечерних платьях, в которых не очень удобно работать. Но такова традиция, таков протокол. В Голливуде многие готовы отдать баснословные суммы, чтобы получить билет на "Оскара", даже если это билет на галерку. Побывать на "Оскаре" престижно, даже если ты ничего не можешь толком увидеть.

Журналисты в этом смысле — в привилегированном положении: те кинозвезды, что получают награды и те звезды, что вручают их, тут же направляются в пресс-центр, чтобы попасть под обстрел фотокамер и ответить на вопросы журналистов. Зал пресс-центра сравнительно

небольшой, так что Элизабет Тейлор, Клинт Иствуд, Эмма Томпсон, Аль Пачино и многие другие оказываются на расстоянии в метр-другой.

Когда работаешь, спешишь поскорее написать репортаж, то не задумываешься о том, почему более миллиарда людей на всей планете в этот момент не отрываются от экрана телевизора, боясь пропустить хотя бы мгновение из довольно скучной церемонии, этакого "производственного собрания" по итогам года, с вручением наград за хорошую работу.

Это так. И не так. Ибо американское кино — удивительный культурный и социальный феномен. Американские фильмы являются второй после реактивных авиалайнеров самой доходной статьей американского экспорта. Самый кассовый фильм всех времен и народов — "Парк Юрского периода" режиссера Стивена Спилберга, в Северной Америке (США и Канада) собрал 346 миллионов долларов, а за пределами нашего континента — в два раза больше.

Никуда не уйти от того, что даже рядовой американский кинозритель каждый вторник заглядывает в сводку (когда она публикуется) кассовых сборов фильмов, идущих в прокате. Это — сравнительно новый феномен в Америке. Раньше больше полагались на молву, выбирая что посмотреть.

Но зарубежный зритель вряд ли знает, сколько та или иная картина "сделала" денег за прошедший уикенд. Что же его так притягивает к американским фильмам? Что заставляет столь разных людей, как россияне, филиппинцы, египтяне искать встреч с американским кино?

Я — не киновед, не социолог. Я — практикующий кинокритик, и это только наблюдения, размышления о том, что является частью моей собственной жизни. Ибо я себя считаю в первую очередь заинтересованным (и отчасти просвещенным) зрителем американского кино. В нем я, как и другие американцы, ищу ответы на волнующие меня вопросы, я хочу, чтобы оно меня развлекало и

отвлекало от проблем быстротекущей американской жизни.

Но у меня все-таки "двойная экспозиция" (определение Ходасевича). Я живу здесь, в Америке, но я жил и "там", в России.

Отсюда, наверное, у меня свои, особые отношения с американским кино. Когда я жил в Латвии, в Риге, каждый американский фильм, выходивший на экран (их были единицы), или показанный "избранной" аудитории в Доме кино, вызывал волнение, абсолютно некритичный подход. К тому же, то были 60-е, 70-е годы, расцвет американского кино. Назову только несколько картин; "Пугало", "Полуночный ковбой", "Пять легких музыкальных пьес", "Алиса здесь больше не живет"... Сегодня американский кинематограф не производит таких шедевров. И все равно его смотрят и будут смотреть во всем мире.

Почему?

Попытаюсь ответить.

Но сначала поясню, что мои собственные отношения с американским кино развиваются по схеме "любовь-ненависть". То я "запоем" смотрю продукцию наших студий, то мне совсем не хочется смотреть американские фильмы из-за их стандартности, мещанства и бытовой заземленности.

Я понимаю, в чем дело. Американское кино несравнимо ни с одним другим по визуальности. Мировое кино знает великолепных операторов, удивительные эксперименты с камерой и пленкой, но нигде не встретишь столь постоянной стабильно-качественной "картинки", как в американском кино. Учитывая то, что человек — существо, воспринимающее мир в первую очередь глазами, понятно, почему американское кино можно смотреть, даже не понимая, о чем говорят на экране. Это одно из объяснений притягательности американского кино.

Другое — то, что ни в одной стране мира не тратится столько денег на постановку фильмов. Средний бюджет американской картины превышает сегодня 30 миллионов долларов. А нередки и фильмы, обошедшиеся в производстве в 50-60-70 миллионов. Есть и "чудовища", стоящие в производстве 100-120 миллионов долларов! И это не считая расходов на печатание копий и рекламу.

Отсюда и невероятные, чисто американские "производственные ценности", которые далеко не всегда совпадают с художественными.

Я выше упомянул о мещанстве. Меня постоянно занимает вопрос: почему во всем мире с интересом смотрят фильмы о жизни американских обывателей. Почему проблемы семьи Смитов из Штата Иллинойс могут интересовать московского инженера, узбекского дехканина, японского чиновника?

Только ли потому, что большинство людей на свете мещане и легко идентифицируют себя с американскими собратьями?

Это было бы самое простое объяснение. Дело, по-моему, не только и не столько в этом.

Конечно, во времена "всемирной телевизионной деревни" люди во всем мире больше знают об Америке и ее реальностях. Но представление о ней, как о "Земле обетованной", как пристанище для всех гонимых и голодных — сохраняется. Этим объясняется все растущая эмиграция в страну, но это объясняет и миф об Америке, живущий в сердцах и умах людей повсюду, куда доходят американские фильмы. Они, эти фильмы, во многом и создавали этот миф.

Интересно, что Голливуд в его нынешнем виде как "фабрика снов" сложился в годы Великой Депрессии. Тогда у людей не было денег ни на что, кроме билета в кино. И оно давало возможность на два часа забыться, побывать в вымышленном мире, далеком от проблем зрителя. Современные американские фильмы ближе к реальности, но и они, в основном, творят жизнеподобные мифы. Американское кино создавалось в те времена, когда значительную часть населения составляли иммигранты, не знавшие или плохо знавшие английский язык. Это повлияло на то, как писались сценарии фильмов, какой была их структура. Они должны быть понятны и без слов. И сегодня это применимо к американским фильмам.

И еще: американский национальный характер — фактически амальгама самых разных национальных характеров и менталитетов. Отраженный на экране американский человеческий тип легко и универсально понятен.

И наконец, американскому кино свойственна жанровая

четкость, связное сюжетосложение. Если человек идет посмотреть комедию, то может быть уверен, что увидит комедию. Феноменальный кассовый успех "Миссис Даутфайр" объясняется тем, что жанровые рамки комедии с переодеванием четко соблюдены. По сюжету, отец (Робин Уильямс), лишенный по условиям развода возможности видеться со своими детьми, переодевается в пожилую гувернантку из Англии, чтобы работать в своем бывшем доме. Весь юмор этого фильма основан на отработанном американской комедией приеме переодевания. Вспомним лишь "В джазе только девушки" или более недавнюю "Тутси".

Вестерн как основа мифологизации американской истории претерпел много изменений в последние два-три десятилетия. Возник даже такой "поджанр", как "анти-вестерн". Но во многом благодаря анти-вестерну этот жанр на много лет перестал быть популярным. Как только вестерн вновь стал обретать классические черты, он снова стал одним из самых популярных жанров. С коротким перерывом "Оскара" получили вестерны "Танцующий с волками" и "Нет прощения!". В последнем режиссер и исполнитель главной роли Клинт Иствуд, сыгравший столько ролей в анти-вестернах итальянца Серджио Леоне, возвращается "на круги своя" и создает убедительный образ Америки, склонной к насилию и страдающей от него.

Кстати, когда-то нас, тогдашних насельников советского пространства, настойчиво убеждали в том, что американское кино — это сплошной "секс и насилие". Насчет насилия могу согласиться. Его в кино, как и в реальной жизни, достаточно много. Хотя на экране оно чаще всего несколько театрализованное, я бы даже сказал "балетное". Что касается секса... Тут, простите, не все так просто.

Возьмем недавний пример. Нашумевший фильм режиссера Пола Верховена "Безусловный рефлекс", который в России неграмотно называют "Основной инстинкт" (калькированный перевод "Basic Instinct"). На мой взгляд, секс в этой картине, рассказывающей о писательнице-бисексуалке и убийце — и полицейском, чуть было не запутавшемся в ее сетях — натужный, малоэстетичный и неинтересный.

По мне, так сцена соблазнения в норвежском фильме

"Голод", где никто не обнажается, куда эротичнее откровенных постельных сцен "Безусловного рефлекса". Как ни стараются хорошие актеры Шэрон Стоун и Майкл Дуглас быть сексуальными, им не удается преодолеть протестантской американской закомплексованности. Я не имею в виду религиозную принадлежность. Майкл Дуглас — еврей. Стоун по вере не знаю кто. Дело в общей традиции страны, основанной протестантами, и в тех ценностях, которые они заложили в национальную психологию.

Так что же привлекает американцев в картине? Возможно, это и странно звучит, но думаю, что смерть.

В Санта-Монике, в приморском городке, входящем в Большой Лос-Анджелес, есть улица в богатом районе, где хозяева многомиллионных домов, среди которых много деятелей Голливуда, на "Хэллуин" превращают лужайки у своих домов в... кладбища (могильные плиты из папье-маше или пластика продаются в каждом детском магазине), там и сям стоят машины, за рулем которых скелеты; встречаются и гробы с поднимающейся время от времени крышкой и адским светом изнутри. Вот такой "фильм ужасов". Тоже один из популярных жанров. Может быть, теперь читателю будут понятнее истоки любви американцев к макабрическим фильмам. Если для русского человека погост — последнее место, часто заброшенное, запущенное, то американское кладбище — важный элемент культуры общества, это можно увидеть во многих картинах, даже не имеющих ничего общего с кладбищенской тематикой.

Еще один популярный во всем мире, и здесь в Америке жанр — приключенческий фильм. Как правило, он тоже создается по проверенной схеме, обеспечивающей прямое воздействие на зрителя.

Недавний "Беглец", собравший только в США около 200 миллионов долларов, предлагает нам героя (Харрисон Форд), невинно обвиненного в убийстве собственной жены и бегущего из заключения, чтобы доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу. После серии предугадываемых действий герой, как и положено, одер-

живает победу, а зритель уходит довольным. Все так просто? И да, и нет. Создатели американских фильмов, может быть, интуитивно, а, может быть, и намеренно творят современные мифы.

Природа человека не так уж и изменилась со времен "Илиады" и "Одиссеи". Только сегодня место устных и письменных сказаний заняла визуальная "реальность" кино- и телевизионного экрана. Современный человек, как правило, мало читает, но много смотрит на экран. И этот экран, в данном случае американский, предлагает свою версию истории и места человека в ней.

Когда нет уже в живых свидетелей Гражданской войны в Америке, образ этого времени в мировосприятии американца, не озаботившегося взять и прочитать книгу по истории, складывается по фильму "Унесенные ветром".

После того, как Стивен Спилберг поставил свой великий фильм "Список Шиндлера", удостоенный 7 "Оскаров", люди во всем мире, не знающие письменной истории Еврейской Катастрофы, будут представлять ее по этой картине.

Слава Богу, гений Спилберга позволили ему быть правдивым до мелочей, быть настоящим художником и при этом использовать все лучшее, что может дать только Голливуд. Эта картина, которой из-за ее темы, большой продолжительности и черно-белого изображения прочили коммерческий провал, стала одним из самых посещаемых американских фильмов за всю историю американского кино. Когда присуждают семь "Оскаров" американскому фильму о страдании и сострадании, я радуюсь, что церемонию смотрит миллиард людей. А если они при этом хотят увидеть крупным планом Джуди Фостер, Джину Дэйвис, Энтони Хопкинса, Эмму Томпсон, Тома Хэнкса, Тома Круза, Николь Кидмэн, то простим им это вполне человеческое любопытство. Если чья-то безрадостная жизнь освещена светом американских звезд, то пусть будет так.

Бриджит Фонда в приключенческом фильме "Возврата нет"

Жаи Клод Ван Дамм в приключенческом фильме "Трудная мишень"

Кадр из комедии "Простаки из Беверли Хиллз"

Даниэл Дэй-Льюис и Мишель Файффер в фильме "Век непорочности"

Кадр из фильма-фантазии "Парк Юрского периода"

Дженнифер Тилли в фильме "Побег"

"Я БЫЛ РЕКРУТИРОВАН В ПОЛИТИКУ НЕОЖИДАННО ДЛЯ СЕБЯ"

Интервью журналистов А. Колесникова и Г. Целмса с Егором Гайдаром

Многие считают, что Егор Гайдар — не политик. Интеллектуал, кабинетный ученый попал в мир большой политики и, как казалось, не выдержал столкновения с ним. Политика пресловутого "монетаризма" провалилась, а сам ее архитектор по этой причине отправился на поиски политического счастья в Государственную Думу. На самом деле не провалилась ни гайдаровская экономическая политика, ни он сам как самостоятельная фигура на российском политическом Олимпе. У Гайдара, в силу разных обстоятельств — возраста, политического потенциала, интеллекта — впереди еще много дней в политике. Он, вне всякого сомнения, будет в ближайшее десятилетие одним из самых заметных политических персонажей России. В каком амплуа? Об этом можно только гадать, потому что на подобного рода вопросы Гайдар принципиально не отвечает.

Андрей Колесников,
Георгий Целмс

— Егор Тимурович, читателей журнала "Время и мы", естественно, интересует вопрос, знал ли Билл Клинтон о вашей отставке заранее?

— Насколько мне известно, Клинтон знал о моей отставке. Мы с президентом Ельциным отсрочили информацию о моей отставке, хотя договорились о ней как раз перед визитом американского президента — в противном случае эти два события попали бы в одно информационное поле. Моя отставка — это не тот повод, по которому требуется оценка третьей стороны. Я не приемлю давление и диктат по отношению к России, и все, что произошло, — это наше внутреннее дело.

— И тем не менее продолжим "американскую" тему. Некоторое время назад на американском телевидении была примечательная дискуссия Джеффри Сакса и Стивена Коэна. Первый настаивал на финансовой помощи России, второй предлагал оставить Россию в покое наедине с ее проблемами... Так вот, нужны ли России западные кредиты? Или наша страна не должна поступаться своей национальной гордостью?

— Видите ли, при нулевых валютных резервах наша национальная гордость была сильно потрепана. Сейчас, впрочем, российская экономика в таком состоянии, что чрезвычайной необходимости в привлечении западных кредитов нет. К этой проблеме нужно подходить максимально осторожно, в том числе и по той причине, чтобы не стимулировать политику невыполнимых обещаний перед собственным народом.

Есть, к примеру, свободные займы: которыми грех не воспользоваться — это такие как бы мировые льготные кредиты. Кредиты МВФ можно брать в том случае, если проводится совершенно определенная экономическая политика. И надо отдавать себе отчет в том, что никакие займы не помогут, если мы сами себе не захотим помочь.

— Вы пошли в политику "по собственному желанию"?

— Я пошел в политику по складу обстоятельств. Люди моего типа в нормальных ситуациях не должны быть в политике. Здесь нужен другой набор профессиональных

качеств, навыков. И в стабильном тоталитарном государстве, и в стабильном демократическом обществе политики рекрутируются иначе. Вообще интеллигенты попадают в политику в переломные моменты, во время слома социальных структур. Я был рекрутирован в политику неожиданно для самого себя 19 августа 1991 года и, по большому счету, все то, что после этого происходило, было жестко задано этим событием. Мы как бы сели в уходящий поезд, и из него уже невозможно было выйти.

— Константин Боровой, сопредседатель Партии экономической свободы, как-то назвал вас человеком коммунистической ментальности на службе у либеральной идеи?

— Вы знаете, мне нужно посмотреть, в каком контексте говорил эти слова Константин Натанович...

— Он говорил о том, что вы никогда не понимали предпринимателей...

— Константин Натанович говорил сущую правду в том смысле, что я никогда не был предпринимателем и теперь уже волею судьбы никогда им не стану, по вполне понятному набору ограничений. А вот насчет коммунистической ментальности я бы с ним не согласился. Коммунистическая ментальность предполагает огромную веру в силу организующего начала государства и иерархию как наиболее эффективный способ решения всех общественных проблем. А мы, напротив, все сделали для того, чтобы демонтировать всевластие государства.

— Можно ли говорить о "трех возрастах" Гайдара: эпоха работы в "Коммунисте" и "Правде", период "первого призыва" в правительство, время возвращения в Совмин в ранге вице-премьера и последующей отставки?

— Как и всякому человеку мне трудно оценивать изменения, происходящие в себе самом — это лучше видно со стороны. Но, конечно, я могу сказать, что Гайдар периода экономической науки и журналистики в колоссальной степени отличался от Гайдара периода работы в "первом" и "втором" правительствах. Тем более, что и в самой жизни произошли огромные изменения.

Когда я писал о чем-либо, всегда старался быть фундированным, подробно изучал проблему, писал неспешно, старался писать о том, что сам знал достаточно хорошо... Но меня не оставляло ощущение того, что мое знание о предмете — не доподлинное, что я не знаю и не вижу внутренних механизмов и рычагов системы, не знаю, как она на самом деле работает. Мои гипотезы, возможно, были правильными, но в этом я не мог быть уверен, не увидев, как работает механизм собственными глазами. И вдруг ты сталкиваешься с жестокой жизнью, получаешь возможность оценить, что бывает в реальной экономике, а чего не бывает, какие рычаги работают, как принимаются решения, какие можно реализовать, а какие нельзя. Конечно, это очень большой опыт, влекущий за собой изменение сознания. Мы и близко так не понимали пределы возможного, когда начинали работать, как понимаем их теперь.

— Вас не пугала ответственность, когда вы брались за дело?

— Если бы сильно это пугало, то я бы не взялся за дело в ноябре 91 года, когда реформирование России казалось более рискованным, нежели когда-либо после ноября. При всех огромных трудностях, которые были потом, событиях, в том числе и масштаба 3 - 4 октября, ситуация ноября 91 года вызывала и вызывает впечатление наибольшей опасности для страны и ее будущего. Существовала жесткая необходимость взяться за дело именно в то время.

— Егор Тимурович, какие ошибки, по вашей собственной оценке, вы совершили?

— Во-первых, у нас было много несчастий, которые объективно делали наше положение крайне тяжелым. Как раз в период максимальной свободы маневра мы столкнулись с проблемой неразделенности валютных систем России и других бывших стран СССР. И когда мы справились с этой проблемой, прошло несколько месяцев. Очень важный политический момент был упущен. Это определило во многом тяжелый ход реформ в России.

Но это не наш грех, а беда. Что же касается ошибок, то я всегда считал серьезной ошибкой то, что мы не разморозили цены на энергоносители с 1 января 1992 года. А это было бы куда как меньшим по сравнению с последующими затратами шоком. Хотя, помнится, в то время никто из моих единомышленников, за исключением самых крайних радикалов, не приняли эту идею. Спор шел совсем о другом — подавляющее большинство настаивало на существенном расширении круга контролируемых цен, что, как потом выяснилось, было крайне опасным, абсолютно неправильным решением.

Самой главной нашей бедой было все-таки то, что нам не удавалось достаточно последовательно противостоять отраслевому лоббизму, мощному давлению регионов, связанных с различными отраслями коммерческих структур, требовавших предоставления новых льгот, квот, дотаций, субсидий и так далее. В результате платой за уступки лоббистам, тем людям, которых сегодня называют "реалистами-прагматиками", стало ослабление денежной политики и слишком высокая инфляция. И одновременно явное недофинансирование тех сфер, которые, собственно, мы и должны были в первую очередь защищать — культуры, науки, образования.

— А в чем вы видите достижения реформ?

— За это время в России при всех огромных издержках, непоследовательности курса все-таки сложился совершенно новый социально-экономический уклад. Многие элементы этого уклада уже нельзя просто так взять и завтра отменить. Повернуть развитие вспять можно только очень большой кровью. Сложились рынки, новая структура собственности, социальные уклады, представители которых без всякого энтузиазма могут относиться к Гайдару, к тому курсу, который мы проводили. Но этот курс определяет устойчивую инерцию поступательного движения реформ. Начался процесс саморазвития. Вопрос в том, в какой степени эти процессы рыночного саморазвития смогут проявиться на фоне корректировки экономической политики.

— Можно ли спрогнозировать поведение Черномырдина, а, соответственно, экономическое развитие в ближайшие месяцы?

— Во-первых, я хотел бы оговориться, что все равно отношусь к Черномырдину с уважением. Я считаю его личностью, разумным человеком. Естественно, у меня есть с ним разногласия по многим существенным вопросам и экономической, и внутренней политики. Но я не считаю, что это человек, который немедленно начнет делать всевозможные глупости, которые сейчас ему приписывают. Да, на него будет очень мощное давление, и он склонен этому давлению поддаваться, потому что он апеллирует к миру, который устроен не так, как он его видит, к этакому инженерно-управленческому заводскому мышлению. Конечно, у него есть естественное желание помочь кому-либо, решить проблемы. А решить проблему для него — это значит давать деньги. Но он достаточно осторожен и понимает риск подобного способа решения проблем.

Рано или поздно все равно приходит время жестких финансовых решений — надо платить по векселям. И главная проблема нового правительства сегодня — это проблема реальной "жесткости" будущих денег. Через год они будут не менее реальны, чем сегодня. Страна обречена постоянно существовать в условиях финансового кризиса, ведь правительство регулярно раздает обещания намного большие, чем оно может выполнить. И цепочка бесконечных невыполненных обязательств создает страшную социальную проблему. Если вы хотите проложить путь к власти самым реакционным силам, просто давайте много обещаний, а потом их не выполняйте. Провоцирующим моментом для консервации такой политики было своеобразное разделение ответственности: вот есть хорошие "производственники" в правительстве — они дают деньги, а есть плохие — например, финансист Федоров, которые не выполняет хороших распоряжений. У них "мягкие" деньги, а у него — жесткие. Сейчас, когда

ответственность консолидирована, уже очевидно, что завтра придется отвечать за сегодня принятые решения.

— Нет ли у вас ощущения, что политический курс президента постепенно меняется, он как бы подстраивается под текущую ситуацию?

— Всякий политик не может игнорировать политические реалии. Ельцин в своей политике не может не учитывать результаты выборов. Если бы демократы однозначно выиграли на выборах, тогда президенту открылось бы поле для другой игры.

Что же касается самих результатов голосования, то за партию Жириновского проголосовали не нищие, а скорее люди среднего достатка, которые бесконечно раздражены даже не своим экономическим положением, а уровнем беспорядка, преступности, коррупции.

— Вы и по сию пору считаете президента реформатором? Не слишком ли непоследовательным он бывал в последнее время?

— Президент оказался не просто оплотом реформ: он сделал все, чтобы возможность реставрации тоталитарного режима была сведена к минимуму. Он слишком много сделал, чтобы Россия позволила себе отказаться от реформ. И поэтому я ему не судья.

Гайдар все-таки ушел в политику, и нам остается лишь гадать о последствиях этого шага

От редакции

Зададимся прежде всего вопросом: в каком качестве Егор Гайдар дает свое интервью — как ученый экономист, руководивший реформами и ушедший в отставку? Как лидер правительства, действовавшего в переломный момент российской истории? Или, наконец, как политик, возглавивший реформаторскую фракцию в Государственной Думе и намеренный в этом качестве строить свою будущую карьеру?

На эти вопросы не дают ответа ни Гайдар, ни интервьюеры, преисполненные пиететом перед его личностью. "Не провалилась ни гайдаровская экономическая политика, пишут они, ни он сам как самостоятельная фигура на российском политическом Олимпе".

Соответствует ли это, однако, действительности? Отвечая на этот вопрос, редакция хотела бы высказать собственную точку зрения по поводу публикуемого интервью.

Говоря, что ноябрь 1991 года стал переломным моментом в его жизни, Гайдар, кажется, и сегодня не представляет своей истинной роли в те судьбоносные дни. Роли и всей меры ответственности. И говорит главным образом о предпринятых им финансово-экономических шагах, к которым, на его взгляд, по-видимому, и сводился путь к рынку. Психологически последнее не трудно понять. Будучи талантливым ученым и теоретиком, он безоглядно верил в свои гипотезы. И основываясь на них, строил механизм реформы. По его собственным словам, он не был политиком. Более того, люди его типа, как он признал, при нормальной ситуации не должны быть в политике. С другой стороны — и это примечательно! — основные обвинения, которые ему предъявлялись, сводились не к тому, что он плохой политик, в к тому, что он оказался слишком неопытен как экономист, не знающий жизни и хозяйственных проблем страны.

В какой же области Гайдар на самом деле потерпел неудачу? Не ответив на этот вопрос, трудно разобраться в причинах провала его реформ. Его собственные высказывания на этот счет полны противоречий. Говорит он не столько о своих ошибках, сколько о несчастьях и бедах, постигших страну. И, конечно, о сопротивлении противников реформы. Но в своей монетарной политике и, следовательно, в своей "шоковой терапии" он был абсолютно прав. Если и обвиняет он себя, то скорее в непоследовательности, в недостаточной жесткости по отношению к притязаниям регионов и ведомственных лоббистов. "Мы столкнулись в проблемой неразделенности валютных систем России и других бывших стран СССР..." (Это, так сказать, объективная неприятность!)

"Что касается ошибок, — продолжает он, — то я всегда считал серьезной ошибкой то, что мы не разморозили цены на энергоносители с 1 января 1992 года... Платой за уступки лоббистам стало ослабление денежной политики и слишком высокая инфляция." Вот, собственно, и все. Но в стране происходит стремительный развал экономики, массовое обнищание населения, закрываются предприятия, углубляется коррупция — всего этого вице-премьер, находившийся в плану своей монетарной идеи, сло-

вно бы не замечает. И за повседневной хозяйственной тактикой, упускает масштабы и перспективы преобразований. Можно говорить об успехах и неудачах его тактики — на малоизвестном пути к рынку неудачи неизбежны, но дело не в них, точнее, не только в них, а в отсутствии у верхов стратегического видения реформы. Думается, именно поэтому Гайдар как политический лидер так и не состоялся. И поражение его партии на выборах — это прежде всего следствие его политических провалов, о которых он и словом не упоминает в интервью.

Малопонятным в связи с этим выглядит его решение, уйдя в отставку, сосредоточиться на политической деятельности в Государственной Думе. Тем более в свете признания, что люди его типа не должны быть в политике. Правда, он добавляет, что не "должны быть при нормальной ситуации". Но кто возьмет на себя смелость ответить на вопрос, когда в России наступит нормальная ситуация?

Сколько бы дурных вещей ни говорили о политике (от которой, считается, порядочному человеку следует быть подальше) несть числа жертвам политических амбиций. Тема эта стара, как мир, и вспоминаем мы ее лишь в связи с судьбой Егора Гайдара. Многим казалось, что он, интеллигент и ученый-экономист, получивши горький урок, посвятит дальнейшую жизнь экономической науке, с которой был связан все последние годы. Но искусы политической борьбы, партийные страсти, в водовороте которых он очутился, оказались сильнее.

С другой стороны, у нас нет основания отрицать утверждение интервьюеров А. Колесникова и Г. Целмса о том, что Гайдар станет "в ближайшее десятилетие одним из самых заметных политических персонажей России". Кто знает: может быть, станет, а, может быть, нет. Пока же его судьба (как и судьбы многих других, притязающих быть вершителями судеб страны) укладывается в рамки давней и чреватой горестными последствиями российской традиции. Традиции, состоящей в том, что Исторически политика в России была и есть удел непрофессионалов. Так было всегда. Так осталось и в эпоху демократии. Не за эту ли печальную традицию так часто и так горько расплачивается и без того настрадавшееся население страны?

Р Е К Л А М А

МОРСКИЕ И АВИАЦИОННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

UNITED TRANSPORT ASSOCIATES
AEROFLOT CARGO SERVICE

САМАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ С 15 ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ОТПРАВКЕ И ПОЛУЧЕНИЮ ГРУЗОВ ВО ВСЕ ТОЧКИ МИРА. НАША ФИРМА - ЕДИНСТВЕННАЯ ФИРМА С ЛИЦЕНЗИЯМИ АМЕРИКАНСКОЙ, РОССИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ ТАМОЖЕН, ПРЕДЛАГАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

АВИАОТПРАВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО.

ОТПРАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ И ОБРАЗЦОВ ВО ВСЕ ГОРОДА БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВСЕМИ ЕВРОПЕЙСКИМИ АВИАКОМПАНИЯМИ -

SPECIAL — SPECIAL
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИДЕТ В НАШ ОФИС С ЭТИМ ОБЪЯВЛЕНИЕМ
$0.79
ЗА ФУНТ В МОСКВУ. МИНИМУМ 100 ФУНТОВ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ПО ВОЗДУХУ И В ДРУГИЕ ГОРОДА

МОРСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 20' И 40' ..... от $1990
АВТОМАШИНЫ, ГРУЗОВИКИ, АВТОБУСЫ ..... от $899
СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ, НЕГАБАРИТНЫЕ ГРУЗЫ ..... от $85/м³

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА ОТПРАВКУ ТРЕХ АВТОМАШИН В ОДНОМ КОНТЕЙНЕРЕ

ПРЯМЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 14 ДНЕЙ СЕРВИС

Судно КИРОВ отправляется из Нью Йорка 22 апреля. Заходит в С.-Петербург 6 мая
Судно НАРВА отправляется из Нью-Йорка 9 мая. Заходит в С.-Петербург 23 мая.
Судно ЮРИС АВОТС отправляется из Нью-Йорка 27 мая. Заходит в С.-Петербург 10 июня.

МЕСТА НА ПРЯМЫХ СУДАХ ОГРАНИЧЕНЫ — РЕЗЕРВИРУЙТЕ СВОЮ ОТПРАВКУ СЕГОДНЯ.

АВИАБИЛЕТЫ, ВИЗЫ, ПРИГЛАШЕНИЯ

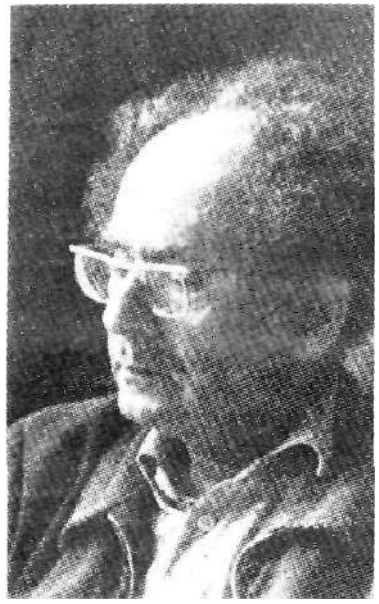
В РОССИЮ, НА УКРАИНУ И ДРУГИЕ СТРАНЫ СНГ. БЕСПЛАТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ ДЛЯ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, ОТПРАВЛЯЮЩИХ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВ В СНГ.

АЭРОПОРТ КЕННЕДИ
ОФИС
167-43 Porter Rd., Jamaica, N.Y. 11434
(718) 244-7253;
(718) 244-0036,
(718) 244-5529 FAX.
Office hours: Mon.-Fri. 9-5 p.m.

БРУКЛИН
2307 Coney Island Ave. (corner Ave. T).
(718) 376-1023.
Fax (718) 376-1073
Mon. — Friday 9-10.
Sat. — Sunday 10-5.

МОСКВА, АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ОФИС
095-578-4771,
095 578-2780 FAX

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
ОФИС
Межевой Канал, 5
812-259-0623,
812-251-9882
FAX



Григорий ПОМЕРАНЦ

С ГОТОВНОСТЬЮ НА ПОРАЖЕНИЕ

Из записок гадкого утенка

Я проснулся, и в голове зашевелились стихи Марины Цветаевой:

Жить так, как пишу: образцово и сжато,
Как Бог повелел и друзья не велят.

Про друзей случайно вытянулось. Потянула за собой первая строка: "Жить так, как пишу". Этой ночью я долго не спал, и среди всякой дребедени мелькнуло: один из выходных дней лет десять тому назад; мы сидим втроем у костра; кипит котелок с чаем. И вдруг Леня Н. спрашивает меня: "Почему Ваши эссе такие легкие, летящие, а в жизни Вы срываетесь и ворчите?" Я действительно разворчался. Леня, дойдя до кострища (которое мы каждый выходной заново расчищали от снега), первым делом уселся выкурить сигарету. А я уже устал — один свалил засохшую осину — и торопился разжечь костер...

Гипертония сильно испортила мне характер. Я сдерживаюсь профессионально: на работе, в аудитории. А на домашних и близких не раз срывался. И вышел разрыв между текстами, в которых длится внутренний покой и легкость, и мной самим

Я не могу сказать, что часы у письменного стола так же нужны мне, как лес. Нет, несколько дней я могу ничего не писать и превосходно себя чувствовать. Надо только, чтобы во мне что-нибудь шевелилось. Как у героини повести Трумэна Капотэ, которая чувствовала себя хорошо только тогда, когда у нее под сердцем что-то шевелилось (и нарожала пятнадцать человек детей).

Пусть шевелится что-то и будет чувство, что я могу писать. Тогда можно и не писать, но через несколько дней бумага начинает тянуть к себе. Вернуться к оставленной странице стало для меня средством вернуться к себе самому.

Интонация моих первых эссе родилась в жизни и из жизни перешла на бумагу (наброски "Предмета", "Счастья", "Памяти Иры"). Это довольно короткие записи внутреннего состояния, вроде того, что мелькало на работе и тут же заносилось на библиографические карточки; а потом я почти никогда не рылся в своих карточках, и сейчас они валяются невесть где. Только очень редко клал карточку в бумажник, доставал и перечитывал. Одна такая вспышка мысли уцелела — в памяти Зины. Случайно, ожидая непрошеных гостей, я затащил к ней (мы были еще на Вы) портфель со своими записями; она прочла и запомнила — про Бога как дырку на плоскости, вдруг открывающую выход в пространство. Большая часть вспышек и не стоила запоминания; достаточно было еще раз пережить при записи. Не всякая мысль стоит того, чтобы показывать ее людям. И даже возвращаться к ней самому.

Постоянное внутреннее напряжение, требующее слова, пришло ко мне поздно, на старости лет. И эссе — один из способов продолжать часы у костра или у моря, а потом восстанавливать в себе внутреннюю жизнь, когда она глохнет. От этого откровенность, иногда почти не-

приличная и временами подвергавшаяся домашней и дружеской цензуре. Я писал, растолковывал что-то читателю, убеждал его — и вдруг забывал и разговаривал с самим собой. О том, что читателю, может быть, вовсе и не нужно знать... Но без этого разговора с собой ничего не получится. Мой текст — всегда признание, исповедь. И вот все переплетается. Я сижу у моря, чтобы прислушаться к морю. Но именно из полноты созерцания приходят лучшие строки. И вертятся в голове, пока их не запишешь. А начнешь писать — и просыпается всякое: потребность в сухой логической последовательности, бесы полемики... Текст кружит, петляет, втягивает в кромешные страсти, — а потом вдруг уводит от всего внешнего, в какой-то внутренний огонь, где многие уже написанные страницы сгорают — и ничего не остается, как вычеркнуть их и оставить то, что выдерживает огонь и хранит на себе его след и втягивает в огонь, когда я перечитываю; и это втягивание в огонь — моя "самая выгодная выгода", а там хоть трава не расти. И я вычеркиваю, вычеркиваю...

Я люблю вычеркивать. Это более тонкая работа: вычеркивать или заменять отдельные слова, фразы. Первоначальное сколачивание текста почти всегда трудно; а если идет легко, то плохо, легкомысленно — и потом мучаешься, не зная, что делать с безобразным комом в 10-15 залпом написанных страниц. Легко записать несколько пришедших в голову мыслей. Легко набросать план. Это не работа — скорее, игра. Я люблю играть, составляя концепции, планы. Так, наверное, Достоевский любил обдумывать свои создания и не любил писать. Я его вполне понимаю. Сколачивать вещь из набросков и планов трудно, неприятно. Постоянно чувствуешь, что "унижаешь идею", портишь замысел, что выходит приблизительно, грубо, не то. Дотягиваешь первые десятки страниц иногда совсем без радости, одной волей (как одной волей я сколачивал леса вокруг жизни с Ирой). Надеешься, что текст будет, жизнь будет, но пока — одни леса, одни безобразные углы, торчащие во все стороны. И вот, на другой день, морщась, начинаешь подгонять

камень к камню, слово к слову. Убираешь нескладицу. Заменяешь повторы оттенками, и все меняется. С каждым синонимом появляется новый поворот мысли. Текст перестает быть нагромождением логических прямых. Возникает именно то, что я называю текстом, что-то живое, дышащее; что-то подобное "тропкам лесов и потокам". И когда я читаю написанное, оно живет. Это мой собеседник. Я скучаю по нему. Я тороплюсь к нему на свидание.

Прислушиваясь к неожиданным ходам слова, постепенно отбрасываешь леса, освобождаешься от первоначальной схемы — и от первоначальных импульсов. Стихают обиды. Логика отступает перед ритмом, и на первый план прорывается целостная внутренняя жизнь.

Тексты мои большею частью рождались на пересечении внутренней жизни, полемического импульса и игры ума, создающего теории, концепции, модели. Иногда господствует что-нибудь одно. Но чаще все вперемежку. Хотя это не всегда заметно. Например, в "Квадрильоне" не только гнев и сарказм. Строится модель общества, оказавшаяся довольно сходной с бердяевской в его "Духах русской революции". Где-то незаметно присутствует и бесстрастное созерцание. Я помню, как отделывал текст, в Пицунде, в роще реликтовых сосен, положив свои бумаги на большой пень. Написано было сгоряча, под свежим впечатлением. Но я не выпустил текста из рук, пока не просмотрел его заново, полный тишиной, и не вычеркнул все лишнее. Лишняя фраза — как ложный шаг. Не поймешь, пока не сделаешь, а потом стыдно.

В жизни я могу взорваться и наговорить лишнего. И сгоряча написать. Но эссе растет медленно. Я его перечитываю, перечитываю... И постепенно все сильнее говорит во мне чувство целого, которое остается тихим и бесстрастным и во время самого острого приступа обиды, горечи, гнева.

Раджнеш пересказывает притчу Чжуан-цзы о мастере, который воспитывал бойцовых петухов. Птицу, полную огня, он не выпускал из клетки. Она слишком рвалась в

драку, слишком полна была самомнения. Десять дней спустя петух стал спокойнее; но мастер не был еще доволен: "он вспыхивает, когда слышит клич другой птицы". Прошло еще двадцать дней. "Еще нет, — сказал мастер, — у него все еще гневный взгляд, и он топорщит свои перья". Наконец, воспитание закончилось: "Теперь он почти готов. Когда кликнет другой петух, он и глазом не моргнет. Он стоит неподвижно, как деревянный. Он готовый боец..."

Боюсь, что последняя ступень бывает только в притчах. Но я всегда стремился к ней и постепенно освобождался от петушиной ярости. Редактирование текста занимало иногда до двух лет, — трудных лет. И все-таки я добился своего. Я писал и вычеркивал, писал и вычеркивал — пока не достиг тона, которого могу не стыдиться.

Во всякой полемике есть что-то петушиное. Владимир Соловьев называл журнальные драки играми Марса. Это действительно игра, то веселая (если противник смешон), то трагическая, когда петухи дерутся насмерть и стараются ударить в самое сердце... Николай Иосифович Конрад заболел, прочитав язвительную статью Эйдлина. Да и я пару раз болел от этих забав.

Осенью 1966 года сослуживец, Игорь Александрович Энгельгардт, подсунул мне статью Лифшица "Почему я не модернист". Читать было неохота, но Игорь Александрович упорствовал. В конце концов я прочел. И тут же, в Белом зале (где библиографы расписывают журналы), часа за три, настрочил то, что потом было опубликовано в "Литературной газете". Лифшиц пришел в ярость, посвятил мне 80% своего ответа, и хочешь — не хочешь, пришлось и меня напечатать. Под заголовком, придуманным в последнюю минуту: "Кто же совратил Калибана?" (А кто такой этот Калибан? Замред Сырокомский не знал — и не вычеркнул. Но и читатели не знали).

Перепалка наделала шума. Откликнулась "Фигаро Литерер". был и отечественный отклик: цензор, размахивая "Литературной газетой" (где я назван пособником фашизма), заставил вырезать из "Народов Азии и Африки"

мою статью по теории субэкумен. Я огрызнулся на Лифшица посткриптумом и еще одной прибавкой — про 5 сортов интеллигенции. Этот текст прочел Солженицын, не понял (или забыл) и впоследствии приписал мне саркастическое определение интеллигенции четвертого сорта (одну из полемических стрел против Лифшица) как авторскую идейную платформу. Таким косвенным и неожиданным образом перепалка, сама по себе не очень значительная, вошла в историю. Впрочем, для истории есть еще одна зацепка. Володя Гершуни (сидевший со мной на Лубянке и с Солженицыным в лагере) показал мне машинопись, где я высмеивал концепцию народа, которому не нужен модернизм, с пометками великого писателя на полях. Пометки были недовольные, Александр Исаевич тоже любил слово "народ".

Пока Лифшиц сочинял свой разгромный ответ ("Осторожно, человечество!"), "Правда" тиснула заметку Жукова и еще каких-то академиков "В интересах истины" (которая требует восстановить имя Сталина в истории). Я вспыхнул, а тут еще подлил масла проект некоего Скурлатова сурово воспитывать молодежь и в частности — возродить древний русский обычай мазать ворота легкомысленных девушек дегтем. Обе реабилитации — Сталина и дегтя — сплелись в моем сознании. И недели через три я выступил в Институте философии с "Нравственным обликом исторической личности". Страсти тогда разгорелись не только у меня. Спускаясь с пятого этажа, я на каждой площадке встречал людей, ждавших, чтобы пожать мне руку. Всех увлекла возможность сказать с трибуны то, о чем говорилось только в туалете, с папиросой в руке. Однако в этом была и слабость речи, когда она стала текстом. "Фигаро литерер" определил меня тогда совершенно верно: "глашатай советских либералов". Моей была только форма речи, ее слог. Я превратил себя в рупор общего мнения, и общее мнение меня поддержало. А потом мнение изменилось, и текст устарел. Хотя в самое первое время он нравился даже Солженицыну. Года два спустя, на первом, эпистолярном

этапе нашей полемики, Александр Исаевич вспоминал, что прочел Речь "с приятностью".

Когда б я знал, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строки с кровью убивают —
Нахлынут горлом и убьют...

Как легко я полемизировал с Лифшицом! Какое общее сочувствие вызвал "Нравственный облик"! И как мучительно дался мне спор с Солженицыным!

Я раскрыл роман "В круге первом" с совершенным доверием. Незадолго до этого читал "Раковый корпус". Вторая часть там крепче первой. Особенно захватил конец. Я плакал над обезьяной, которой злой человек насыпал в глаза табак. Злой человек! Не кулак, не вредитель, не империалист! Просто злой человек...

И вдруг я почувствовал себя как тогда, когда у меня украли орден и артиллерийский капитан объяснил, что так и надо. Опять меня выпихивали — уже не из советской России, а из России будущего. Я интеллигент, и народ не со мной. Я еврей, и на мне несмываемая вина. А как же злой человек, бросивший в глаза обезьяны табак? Просто злой человек — не классовый враг, не вредитель, не империалист? В "Раковом корпусе" разрушались все категории, оставались только люди, добрые и злые, люди перед лицом смерти. А в "Круге первом" опять категории, и не такие уже новые. Примерно те, которые пошли в ход с конца тридцатых годов; когда классовых врагов больше не стало, ликвидировали, — и понадобились новые жертвы, и ненависть времен Вильгельма и Николая, после зигзага в сторону войны гражданской, вернулась на свою блевотину, к национальной розни. Кто же все-таки бросил табак в глаза обезьяне? Не кулак, не империалист — но может быть еврей? Безродный космополит? Беспочвенный интеллигент?

Я мог наплевать на артиллерийского капитана из госпиталя легко раненных. Я вынес его за скобки (мало ли дураков). Но автора "Ракового корпуса" я не мог никуда вынести; он был уже принят внутрь. Это больнее всего — когда неожиданный удар наносит близкий человек, от которого не оторваться, не уйти. Я готов был кричать караул. Меня ощипывали живьем. С меня срывали перья, в которых я гулял по будущему — после того, как ветер истории развеет нынешнее. Мне опять тыкали: гадкий утенок! Гадкий утенок! Нет тебе места не только на сегодняшнем птичьем дворе, но и на завтрашнем.

Страница за страницей передо мной раскрывался характер Солженицына. Текст всегда выдает автора. Вот сцена, в которой он смотрит на мир глазами интеллигентной заключенной, моющей лестницу для прокурора. Здесь он сам интеллигент. А вот — глазами провинциала — смотрит на столичную образованщину (слова образованщина еще не было, но отношение — уже было). Вот создается миф о народе; а вот этот миф ставится под вопрос. Видимо, уступка друзьям; еще не было совершенной уверенности в себе, бросались в глаза отступления, переделки. Но сквозь все уступки просвечивала авторская воля (потом она развернулась в "Глыбах"). Мелькало недоброжелательное отношение к евреям; и сразу же подчеркивалась объективность автора, его претензия исследовать национальные страсти с высоты Божьего престола. Я передаю свои впечатления 18-летней давности; но они довольно свежи во мне.

Особенно врезались в сознание две сцены. Одна — какое-то тяжелое школьное воспоминание. Я чувствовал старую рану, нагноившуюся, воспаленную; застарелый комплекс, заставивший писателя заслонить что-то слишком мучительное натянутой выдумкой.

К этой сцене я еще вернусь: она вызывала во мне двойственное чувство, одновременно и боли за мальчика, когда-то глубоко страдавшего, и отвращения от фальши. Зато конец подействовал совершенно однозначно; я с досадой отшвырнул книгу. Нержин дарит томик Есенина дворнику Спиридону. Почему? Допустим, друзья Нержина, Сологдин и Рубин, Есенина не любят (т.е., скорее всего, не очень любят; не так, как хотелось страстному поклоннику). Но в шарашке оставались другие интеллигенты.

Отчего не оставить книгу им всем? Кого-то бы это непременно порадовало. Зачем дарить стихи дворнику, на самокрутки? В реалистической ткани романа торчит политический плакат: я с народом, значит, я прав. Мы с народом любим Есенина. А те, кто недостаточно любит Есенина, кто предпочитает Блока, Мандельштама, Пастернака, Ахматову — столичные снобы.

Потом снова и снова стал возвращаться к школьной сцене. Что же там на самом деле было? Отчего такой мучительный след? Это произошло между 12-летними школьниками, т.е. в 1930-м году. А сейчас 1967-й... И до сих пор не забыть! И класть на весы справедливости против другой чаши, на которую легла травля космополитов, расстрел еврейских писателей, истребление еврейских книг и пластинок, дело врачей-убийц, фактическое восстановление процентной нормы и прочее, и прочее, и прочее — с 1943 года по сей день...

Ройтману не спится. Один за другим печатаются антисемитские фельетоны. Но совесть обличает: он сам травил русских. Когда-то, в южном городе, где евреи составляли чуть ли не большинство, они травили Олега Рождественского. Травили, потому что Олег стоял за свободу слова: говорить, мол, все можно. Его спросили: значит, и такой-то (забыл имя плохого мальчика) мог назвать такого-то жидом? Олег настаивал: говорить все можно. И вот за это только его две недели назад терзали на собраниях, грозили исключить из школы... Невольно встает вопрос: а что же сделали с тем, плохим мальчиком? Если хорошего Олега, никого не обидевшего, две недели травят... Но Ройтман плохого мальчика не вспоминает. В структуре романа релевантен (как говорят стуктуралисты) только мальчик, хороший до голубизны, плакатно идеальный Олег Рождественский (в самом имени — и народность, и православие, и даже намек на самодержавие). Почему этот маленький христианин защищает право оскорблять товарищей (это, кажется, не по Евангелию)? Не знаю. Но Олег рисуется каким-то голубым ангелом. Примерно, как убиенный царевич Димитрий на

картине Глазунова. Солженицыну нужна абсолютно невинная жертва. И притом жертва евреев. Каким образом 12-летние дети могли грозить товарищу исключением из школы? Не их это дело, а директора. Но, видимо, директор не был евреем, и поэтому Ройтман его не вспоминает. И потом, откуда взялось чуть ли не большинство класса? Все они (еврейские мальчики) были дети врачей, адвокатов, а порою и лавочников, но рьяно выступали как идеологи пролетарского интернационализма... Очень может быть, но все-таки где это было? В бывшей черте оседлости? Там масса евреев — бедный ремесленный люд: сапожные подмастерья, портные, возчики, столяры... Их в романе нет. А если еврейская община состоит главным образом из врачей и адвокатов, то дети их составляют явное меньшинство и травить местных пацанов не могут. Даже если бы очень хотели. Так же, как я, даже если бы очень хотел, не мог травить огольцов из Бутиковского переулка. Травили они меня. В одном километре от Кремля, в самые ленинские, интернациональные 20-е годы. И никакой управы на них не было.

На всякий случай напоминаю читателю, что разница в возрасте между мной и Александром Исаевичем — 9 месяцев. Т.е. никакая. Мы жили и учились в одно и то же время. А если была разница между Москвой и Ростовом, то вряд ли советская интернациональная власть была в Москве менее эффективной, а ростовские пацаны — меньше склонны травить тех, кто послабее. Ростов — ворам отец, и против детей адвокатов стоял не Олег Рождественский, а пацаны, которым палец в рот не клади...

В эти годы антисемитизм среди взрослых подавлялся с усердием, превозмогавшим разум. Я знаю случай, когда заведующая балетной школой была уволена (и школа развалилась) из-за невинной шутки про еврейковатый суп; хотя ничего обидного для евреев в этой шутке нет. Но все это было со взрослыми. А дети — совсем другое дело. Помню это своими вихрами. И могу подтвердить

опытом кубанско-москальских отношений, случайно открывшимся мне в 1953 году.

В 1953 году я начал работать учителем в станице Шкуринской (бывшего кубанского казачьего войска), и вот оказалось, что некоторые школьники 8-го класса не говорят по-русски, мне отвечали по учебнику наизусть. Кубанцы — потомки запорожцев, их родной язык — украинский, но за 7 лет можно было чему-то выучиться... Я решил обойти родителей наиболее косноязычных учеников и посоветовать им следить за чтением детей. Начал случайно с девочки, у которой была русская фамилия. Допустим, Горкина. Мать ответила мне на нелитературном, с какими-то областными чертами, но бесспорно русском языке. С явным удовольствием ответила, с улыбкой. "Так вы русская?" "Да, мы из-под Воронежа. Нас переселили в 1933-м году вместо вымерших с голоду". "Отчего же не выучили дочку своему родному языку?" "Что вы, ей проходу не было! Били смертным боем!"

Оказалось, что мальчишки лет пяти, дошкольники, своими крошечными кулачками заставили детей переселенцев балакать по-местному. В школе это продолжалось. За каждое русское слово на перемене — по зубам. По-русски только на уроке, учителю. Запрет снимался с 8-го класса. Ученики старших классов — отрезанный ломоть, они собирались в город, учиться, и им надо говорить на языке города. Действительно, к 10-му классу мои казачата уже сносно разговаривали. Вся эта автономистская языковая политика стойко продержалась с 33-го (когда была отменена украинизация) до 53-го и продолжалась при мне, т.е. до 1956-го. Дальше не знаю.

Я не думаю, что сопротивление было сознательно организовано взрослыми. Организацию выбили бы в 36-39 гг. или в 1944-м, во время ликвидации неблагонадежных, сотрудничавших с немцами. Нет, никакой организации не было. Было казачье самосознание, которое дети чувствовали, — и детская самодеятельность. Дети сохранили господство украинского языка в кубанских станицах; дети же сохранили традиции травли евреев — там, где были

евреи (в станице единственным евреем был я). Еврейские мальчики могли только обороняться. У них руки никогда бы не дошли до Олега Рождественского. Я чувствовал, что сцена фальшива, и доказывал это своим знакомым.

Примерно через полгода история разъяснилась. Александр Исаевич назвал две фамилии мальчиков, заводил травли: Люксембург и Штительман. Куда подевался Штительман, не знаю. Может быть, погиб на войне. Но Люксембург отделался штрафным батальоном (за пощечину старшему офицеру, сказавшему что-то про жидов) — и уцелел. Я его сам пару раз видел. И вот моя знакомая решила поставить эксперимент: дала Люксембургу в руки роман "В круге первом", но без разрешения выносить из дому, и следила за выражением его лица. Когда дело дошло до воспоминаний Ройтмана, Люксембург вскочил и сказал, что будь все это во Франции, он подал бы в суд и выиграл процесс о диффамации. Потому что фамилии его и Штительмана подлинные, а сцена выдумана. На самом деле, по его рассказу, все было иначе. Впрочем, подробности этой стычки между мальчишками — их собственное дело. Меня при этом не было. Не понимаю только одного: как можно было больше 30 лет лелеять месть Люксембургу и, вставить подлинные фамилии в вымышленную сцену.

Когда я написал письмо Александру Исаевичу, я всего этого еще не знал. Я просто почувствовал комплексы детских обид. У меня самого была куча комплексов, от которых я освободился. И я пытался убедить Солженицына проанализировать свои комплексы и не продолжать старые распри... Тут надо бы цитировать, но — увы! Я не успел даже перечитать черновики своих писем и ответное письмо Александра Исаевича. Эти бумаги застряли у друга нашей семьи, Лимы Ефимовой, — никак она не могла вспомнить, куда запихнула. Кончилось тем, что пришли бдительные товарищи, помогли все найти и унесли два мешка моих и зининых сочинений с собой. И осталось от всей переписки только несколько строк в протоколе обыска от 15 мая 1985 года; в том числе —

одна строка с кусочком текста: "нашего общего дела" (так письмо кончалось).

Я ждал, что Александр Исаевич почувствует, с какой болью я пишу, мы непременно встретимся и от полемики перейдем к дружескому разговору. Читатель для меня — младший партнер. Я прислушиваюсь к его замечаниям, и много мест, вызывавших протест, были переделаны или вычеркнуты. Я даже не представляю себе работы без такого сотрудничества. Но у Александра Исаевича было другое самосознание. Ответ оказался резким, почти исключившим возможность дальнейшего разговора. Про комплексы — ни слова. Видимо, зти комплексы было больно трогать и прикосновение к ним не допускалось. От национального вопроса отмашка: одни пишут, что в "Раковом корпусе" неверно изображены узбеки, а вы про евреев — некогда мне с вами разбираться! Я все-таки решил продолжать переписку, извинился за одну или две неточности в первом письме, не упоминал больше про комплексы и пытался убедить хотя бы только в одном: будем искать примирения наших позиций во имя "нашего общего дела" (кажется, общим делом кончалось именно второе письмо).

Но общего дела не было. Мы были несовместимы по складу ума, по складу характера. У меня очень сильна воля к свободе. Сотрудничество для меня означало диалог, право оставаться при своем мнении, сознание вечно открытого вопроса, допускающего разные ответы; Александру Исаевичу такое условие было неприемлемо. Я не уверен, что он понял, почему, — но он покорился очень сильному импульсу. В нем жил дух, подобный духу пророка Мохаммеда; мир для него резко делился на дар-уль-ислам (царство истины) и дар-уль-харб (царство войны с неверными). А я никогда не преклонялся перед авторитетом однозначной истины. Охотно признаю духовное превосходство (Антония Блюма, Томаса Мертона, Джидду Кришнамурти и многих других), но каждое их высказывание непременно должен проверить на оселке внутреннего чувства. Иногда я соглашаюсь, даже если

это резко противоречит моему прежнему опыту. Так, я натолкнулся у Мертона, в его заметках, на ироническую оценку одного очень дорогого для меня ощущения и сразу понял, что он прав, что он смотрит с более высокого уровня, и я испытал только отблеск истинной глубины. А с другими суждениями (Блюма, Кришнамурти) я не соглашался. Что же касается Солженицына, то чувствую в нем превосходство энергии, страсти, огня — но не того пламени без дыма, о котором толкуют упанишады... Я не видел и не вижу его духовного превосходства. Есть глубокое, выстраданное желание правды, добра, простой человеческой доброты... А рядом с порывом к добру и святости — неограниченное самолюбие, неспособность ни на какую роль, кроме первой, и жажда власти.

Желание быть безусловно, однозначно, непререкаемо правым настолько сильно, что заставляет Солженицына идти на риск скандала. Он отмахнулся от всех (не только моих) замечаний, что ночные воспоминания Ройтмана фальшивы. Исправления не были сделаны; во всяком случае, они не были сделаны своевременно. Разговоры о том, что было на самом деле, дошли до КГБ и были использованы в зарубежной полемике. Александр Исаевич ответил брошюрой "Сквозь чад". По новой версии, отношения с товарищами-евреями были у него превосходными. А лоб он разбил себе не в драке. Просто упал в обморок. Зачем же было мстить Люксембургу и Штительману, введя их фамилии в роман?

Отослав Солженицыну свое второе письмо, я почти сразу стал писать "Человека воздуха". Было слишком ясно, что ответа может не быть (и действительно его не было). А во мне уже шевелилась новая концепция (спор с Солженицыным все время вызывает во мне новые концепции)...

Собственно, полемика началась еще в первом письме. Я утверждал, что читают нас и слушают нас только интеллигенты и ни на кого другого мы не можем рассчитывать. Патриархального народа больше нет. Неинтеллигентные слои ближе к Шарикову (из рассказа Булгакова "Собачье

сердце"), чем к Шарику. Шарик сам по себе хорош, но выходцы из народа, поднявшись вверх, хуже потомственных мандаринов. Подпанок всегда хуже пана. Александр Исаевич ответил: "Шариков — это д.п." (т.е. диктатура пролетариата. Опасные слова были заменены первыми буквами). В этом был резон. Но где взять народ, который не прошел через д.п.?

В 1954-66 гг. мне пришлось снимать комнату у одной казачки, писавшей свою фамилию Заец (других слов она кажется вовсе не писала). Это была обыкновенная деревенская женщина. А ее младшая сестра казалась королевой в ссылке. Откуда у нее взялось это благородство манер, это тихое достоинство в каждом движении? Образование? Два класса. Религия? Ни разу не видел, чтобы она молилась. Врожденное благородство — такое же чудо, как происхождение жизни, происхождение человека, возникновение монотеизма и т.п. Неожиданный Божий подарок. Унаследовать аристократические манеры не от кого было. Худая, немного выцветшая (ходила в чистых застиранных платьях и не подмазывала губ), Денисенко казалась старше своих 39 лет. Мужа, фамилию которого она продолжала носить, забрали в 37-м; он пропал без вести. По нескольким ее сдержанным словам я понял, как она его любила и берегла память о своем коротком счастье. В станице ее уважали. В 1955 году неожиданно овдовел казак с пятью детьми и прямо с поминок посватался: стать матерью его сиротам. Она согласилась, именно как с нравственной задачей, и дети ее приняли. Последнего я сам уже не видел, рассказывали с умилением учительницы.

Такие женщины не переведутся никогда. Но почему только в деревне? Без праведников не стоит и город. Благодать Божья не справляется ни с 6-м пунктом (социальное происхождение), ни с 5-м. И в Москве, в Ленинграде, среди интеллигентов, прекрасные души скорее могут выжить, чем в деревне. Где Матрена одна, а ее соседей — сотня, и эта черная сотня Матрену губит. Но Солженицыну нужен был миф о крестьянке, и он этот

миф создал. А мне такой миф не нужен. Мне он прямо мешает. Я дома в столице и чужой в деревне. И в еврейской общине Черновиц, куда занесло мамин театр, мне тоже было не совсем ловко. Меня захватили и покорили вершины русской культуры — т.е. русская попытка европейского синтеза — а не фольклорные корни; Достоевский, а не мужик Марей. И рядом с Достоевским для меня становится Сент-Экзюпери и Сэлинджер, Кьеркегор и Бубер и проч. И я склонен подчеркивать, что великая русская культура складывалась на открытом перекрестке Востока и Запада, втягивая в себя варягов и татар, немцев и евреев — вплоть до абхазца Фазиля Искандера.

Я встречал и любил хороших мужиков (см. гл. 6); но никакой особенной тяги к мужику никогда не испытывал. И мне казалось, что упор на этнические корни культуры — просто политический трюк и средство раскола интеллигенции, в дополнение к дискриминации по 5-му пункту. Прошло много времени, прежде чем я понял зигзаги незападной страны, попавшей в поле западной культуры, чередование периодов открытости и закрытости, космополитизма и народничества. И понял я это сперва по американским работам о модернизации Японии, а потом уже перенес на Россию.

Но независимо от понимания или непонимания трюков истории, мне непосредственно трудно было с крестьянами (или казаками) и сравнительно легко с интеллигентами. Правда, это легкость условная, скорее общность языка, чем души. Но хоть язык общий. Не приходится доказывать, — как в станице, — что слово интеллигент — не ругательство и не совпадает по значению со словами "белоручка", "барчук" и т.п. Я ладил со своими старшеклассниками (двое до сих пор пишут мне письма): но надо было учить их еще десяток лет, чтобы кто-нибудь стал моим настоящим собеседником. А в столицах и больших городах я всегда находил людей, участвовавших в моих поисках. Это были единицы, но они всегда были.

Мыслителю нужны участники диалога, т.е. интеллиген-

ты. А пророку нужен народ. В одной из сцен, опубликованных "Вестником РХД", Николай II смотрит на толпу крестьян и пытается угадать, что они чувствуют. Он не собирается их расспрашивать, беседовать с депутатами. Только угадать и выразить требование безгласной народной души. Я почувствовал за Николаем Александра Исаевича. Ему нужен был миф о народе, в котором таится некоторая вечная духовная сила, потерянная интеллигенцией. И миф о России, ждущей своего вождя. Потому что он чувствовал себя вождем, обладателем харизмы, единственным носителем Божьей правды.

А у меня постепенно складывался другой миф. Миф — молчание. Которое каждый, кто чувствует его, толкует по-своему. Каждый, но и в образованной среде — не только в необразованной, не только в полуобразованной — высокие души редки. А искушения, сквозь которые надо пройти, часты. В деревне больше грубости, в столице — пошлости. Пошлость, притворство, кривлянье — накладные расходы просвещения. Матрена знает только народные песни и честно отвергает Обухову, а интеллигенты стараются понять Баха; и не всегда это у них выходит. Есть знание духовных вершин, и надо тянуться к ним, а дотянуться трудно. Больше возможностей глубины и больше фальши. Таков вообще путь истории.

Для моей внутренней жизни нужны те немногие, которые дышать не могут без каждодневного поворота в глубину, в высоту. Одна пара глаз, раскрывающихся на глубокое, важнее тысячной толпы. Такие глаза меня самого раскрывают. Но в 60-е годы я считал своим долгом участвовать в массовых сдвигах. И вот я создал миф об интеллигенции, способной обновить общество, поставив в центр свою творческую жизнь, и от этой жизни все может и должно преобразиться...

У меня нашлись бы шансы на успех, если бы советские ученые, инженеры, учителя были (если б да кабы) духовно цельными, свободолюбивыми, нравственно стойкими, критически мыслящими личностями; да еще, пожалуй, способными безо всякой церкви чувствовать Бога и следовать Его воле — вплоть до чуда, вплоть до воскресения смердящего спившегося Лазаря. Но чувствовать свободу как любовь и ответственность умеют очень немногие. Непосредственно передо мной и перед Солженицыным были запутавшиеся люди, мучительно не способные выстоять перед открытым вопросом. Я не давал простого нового решения. Солженицын давал. Его образы народа, России были цельными и незапятнанно сияющими (никакие факты не могли их запятнать). Александр Исаевич чем-то напоминает Льва Толстого. Он поворачивался всем корпусом, каждый раз не допуская никаких колебаний. А я все время вертел шеей, все время видел внутренние противоречия. Мой образ интеллигенции раскалывался на интеллигента и специалиста, интеллигента и интеллектуала, интеллигента-западника и интеллигента-почвенника; наконец, меня захватило буберовское деление мыслителей на проблематичных (чувствующих неразрешимое в себе самих: Августин, Паскаль) и непроблематичных (Фома Аквинский, Гегель), мысль которых была направлена на то, чтобы все решать. Сейчас мне ближе Августин и Паскаль; но я прошел через Гегеля и Маркса и понимал обаяние системы. Подавляющее большинство охотно обменяет свое первородство независимой личности на ясную классификацию. И я, какой есть, каким стал, всегда окажусь в меньшинстве.

В конце семидесятых мне представился случай три раза выступить перед аудиторией, собиравшейся в клубе МИИТ. Человек 250-300, в основном, техническая интеллигенция. Сперва прочел "Направление Достоевского и Толстого" (самое раннее и духовно несложное из моих литературных исследований). По вопросам почувствовал, что публика не привыкла думать о литературе и судить о ней всерьез не способна; зато живой интерес вызвали историко-социологические экскурсы. Следующие два доклада были посвящены теории субэкумен (или — говоря языком Шпенглера — культурных кругов) и теории модернизации (постепенного втягивания незападных миров

в мировую западную цивилизацию). Это слушали с напряженным вниманием; вопросы длились часа по два, т.е. пока я мог выдержать. Захватили модели современной науки, которые я несколько перестроил на свой лад, но сохраняя самый дух науки. Я имел успех как специалист, как интеллектуал. Однако пришлось отказаться от намерения читать "Эвклидовский и неэвклидовский разум у Достоевского" и другие подобные тексты. Я вспомнил, как Валентин Федорович Турчин — один из умнейших московских ученых — дружески мягким тоном сказал мне, что "Эвклидовский разум" — работа реакционная и антинаучная. Примерно таким же был отклик структуралистского семинара, на котором я рассказывал о трех ступенях мифа (миф-идол, миф-икона и миф-молчание). Двум или трем слушателям понравилось, все остальные были вежливо недовольны и в коридоре ворчали, что это — почвенный романтизм. Я даже не довел конспекта доклада до литературного текста; некому было адресовать его.

Миф-молчание не нужен ни почвенникам, ни западникам. Первые восстанавливают миф-икону (и хорошо, если икону, а не идол). Вторым кажется, что миф вообще не нужен, достаточно научного разума. Т.е. эвклидовского разума, как назвал его Достоевский, — без всякого образа целого, без тоски по нему. Сердцевина моей мысли, ищущей целого мимо всех идолов, просто никому не нужна. Только кучке людей, социально не значимой (величина, которой можно пренебречь). Не народу, не интеллигенции, а гадким утятам.

Была еще другая плоскость спора (в которой я тоже не мог рассчитывать на выигрыш). Она выросла из отмашки в ответе Александра Исаевича: некогда ему разбираться с узбеками и евреями. Я почувствовал здесь не только грубость, но и неточность. Стал думать: в чем же здесь неточность? И понял: узбеки попались под руку случайно, а евреи совсем не случайно. Они Александра Исаевича очень интересуют. И потому интересуют, что вмешиваются в решающие повороты истории, мировой и русской (именно поэтому — как справедливо отметил Александр Исаевич в Тайбее — никто не думает о Тайване и все думают о евреях). Потому что евреи — народ особого типа... Так пришла ко мне тема диаспоры и ее отношений с землей. Я стал подбирать случаи диаспоры и отмечать общие черты в средневековой диаспоре армян, несториан; в китайской и тамильской диаспоре XX века в Юго-Восточной Азии, индийской — в Восточной Африке, ливанской — в Западной Африке... А.В. Эйснер рассказал мне о русской диаспоре; попалась, наконец, на глаза статья Н. Трубецкого, убитого гитлеровцами в Австрии. Он еще в 30-е годы заметил, что русская диаспора за двадцать лет приобрела типичные "еврейские", т.е. общие всей диаспоре черты. Но евреи — старейший народ диаспоры, веками лишенный национального ядра. Поэтому вопрос о диаспоре — это вопрос о евреях и вместе с тем не только о евреях, без узко национального привкуса, который был мне неприятен. Александр Исаевич Солженицын разбудил во мне еврея (это целую четверть века не удавалось отечественной истории; я считал ее дурой и отворачивался от глупостей); но, получив толчок, я тут же почувствовал, что неспособен быть только евреем. Во всех отношениях — и в национальном тоже — я не такой, как надо. Здесь мне плохо, там тоже будет плохо. Здесь я нахожу возможность жить хорошо и там найду. Ни Израиль, ни Запад не казались мне обетованной землей, где навстречу откроются все сердца. Я не говорю о языке: думать не по-русски мне никогда не научиться, и стихия русского языка составляет поле моей мысли. Но даже если бы удалось преодолеть языковой барьер, все равно, — моя подлинная аудитория и дружеская среда (эти понятия для меня связаны; настоящие слушатели быстро становятся друзьями) — все они только кучка гадких утят. И так будет всюду и всегда. Я почувствовал глубоко своими слова Августина: для христианина

всякое отечество чужбина и всякая чужбина отечество. И это я назвал принципом диаспоры. Вынеся за скобки остальные черты исторической диаспоры, ранней церкви и т.п.*

Обе идеи (интеллигенции и диаспоры) все время перекликались. Кто-то мне рассказал (кажется, Агурский), что Солженицын резюмировал мою мысль так: "для Померанца интеллигенты — это евреи". Думаю, что сказал искренно, без хитрости. Ему кажется само собою разумеющимся, что подлинная мысль резка и категорична, а если она не прямо выражена, то это риторический прием. Но для меня перекличка идей и внезапное тождество различий — не прием, а суть дела. Этнический чужак иногда похож на чужака социально-культурного: лишнего человека, беспочвенного интеллигента. Я цитировал Марину Цветаеву: "в сем христианнейшем из миров поэты — жиды".** Я тыкал пальцем на случаи, когда обе породы чужаков трактуются одинаково и охотнорядцы примерно одинаково бьют жидов и студентов. Но я не идиот и не считаю Г.П. Федотова евреем, а Л.М. Кагановича — интеллигентом. Сплошь и рядом я выгляжу в глазах Александра Исаевича именно таким идиотом, и многие передержки в его полемике со мной — не только от увлечения спором, но и от элементарного непонимания моего склада ума.

Так или иначе, я глубоко обязан Александру Исаевичу, что он своим невежливым письмом вызвал во мне интерес

*На мой взгляд, ранняя церковь выросла из духа диаспоры, освобожденного от замкнутости. Ср. неизвестного апологета II в.: "живут они в своем отечестве, но как пришельцы; имеют участие во всем, как граждане, и все терпят, как чужестранцы. Для них всякая чужая страна — отечество и всякое отечество — чужая страна". "Раннехристианские отцы церкви" (антология), Брюссель, 1978, с. 595-696.

**Я мог бы процитировать и других: "Казалось, он и они разных наций" ("Преступление и наказание", эпилог); "Люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном" (Блок, "Народ и интеллигенция"). Попытка опроститься, воцерковиться сравнимы с попыткой чужака ассимилироваться. Результат (с народной точки зрения) один: конь леченый, вор прощеный, жид крещеный, — одна им цена.

к диаспоре. Я задумался: какова роль диаспоры в мировой истории? И можно ли мировую историю представить себе без участия диаспоры? Могло ли без еврейских общин, разбросанных по Средиземноморью, сложиться и распространиться христианство? И какая среда, — кроме диаспоры, — могла подхватить и вынести первую искру монотеизма? Эту тему я разовью в особой главе, а здесь только еще раз подчеркиваю, что она выросла из недолгой нашей переписки.

Не очень большое, но важное место в "Человеке воздуха" занимала еще одна тема, литературная. Мне захотелось проследить границы таланта Солженицына в изображении женщины и любви. Его героини поэтичны, пока мужчина глядит на них издали, не решаясь прикоснуться (Агния в "Круге", Вега в "Раковом корпусе"). И снова могут стать поэтичными в старости (Матрена). Но близость убога, как в "Крейцеровой сонате" Льва Толстого. Только для Толстого это невыносимая мука и прямо катастрофа, а Солженицын оправдывает бездарность в любви народной поговоркой: женятся для щей, замуж выходят для мяса. По мне, лучше смятение Толстого перед семейной жизнью Позднышевых, чем эта народность. И если народность действительно такова, то и на что мне она? Не так уж хороша почва, на которой нет почвы для любви. Лучше оставаться перекати-полем...

За этой темой сквозила другая: может ли человек, не справившейся с трудностью любви к живой женщине, действительно любить фигуры собирательные, лишенные собственной воли и собственного, не подвластного нашему воображению, лица? Не становится ли любовь к народу и России любовью к собственной мечте (и к себе, мечтателю)? Подобно любви к человечеству, над которой горько смеялся Достоевский? Я не подсказываю ответа на все эти вопросы. Я не знаю его. Но вопросы во мне шевелились.

Однако шел 1968 год. Чешские писатели страстно обсуждали страстно написанное письмо Солженицына. В Польше начались студенческие волнения, и власти на-

травили на университет рабочих. "Правда" напечатала статью Гомулки, обвинившего в беспорядках евреев. Пан Гомункулус принципиально отрицал право еврея, оставаясь гражданином Польши, симпатизировать Израилю (а не арабам, с которыми дружил лагерь мира и демократии). Косвенным образом была задета и национальная интеллигенция, завалившая посольство Израиля цветами в июне 1967 года; эта польская фронда против польского правительства и его великого союзника была определена как подрыв национальных интересов. Антиинтеллигентская и антисемитская демагогия на несколько лет парализовали оппозицию. А в Чехии все кипело — и каждый день выбрасывал новые тысячи строк, потрясавших слушателей западных радиостанций. Среди этих страстей мне все меньше хотелось спорить с Солженицыным. Казалось, что жизнь сама его научит. И я сократил третью тему в "Человеке без прилагательного", а в "Человеке ниоткуда" вовсе выбросил ее. Наконец, в Послесловии я цитировал Лену Огородникову (что Колыма ее волнует больше, чем Освенцим)* и протягивал руку патриотам, которые именно так понимают любовь к России. Я снова предлагал им мир и союз. Мне казалось, что острота спора с Солженицыным совершенно снята. Его молчание я принял как знак согласия.

Однако я не заметил одного своего промаха, сохранившегося и в последней редакции эссе (я менял названия, чтобы отличить первую редакцию от второй и третьей: Человек воздуха, Человек без прилагательного, Человек ниоткуда). Мне казалось нелепым народничество и почвенничество без народа и почвы. В России XIX-го века все это понятно. Западничество и почвенничество — два альтернативных ответа на европеизацию; или, как сейчас говорят, — вестернизацию. Доведенные до предела, оба нелепы. Но умеренное западничество плодотворно в политике и экономике, а почвенничество — в

*О Лене — в статье "За поворотом".

культуре (нечто аналогичное — хотя и не совсем это — я пытался доказать в 1938-39 году, противопоставляя Достоевского и Толстого Чернышевскому и Щедрину; за что мне и влепили по первое число — ср. гл. 3). Но сегодня? Я ничего не понимал. Почвы больше не было. Возвращаться некуда.

До конца 60-х годов я смотрел на новое почвенничество как на выдумку, спекуляцию, удачно найденную форму полунезависимости, полурептильности и дозволенной фронды в рамках черной полосы официального спектра. Т.е. рациональна (на свой лад) позиция Глазунова, Палиевского, Кожинова, Солоухина. А у Солженицына это какой-то личный выверт, который непременно должен пройти или хоть смягчиться. Я не понимал, что отрезанная нога может болеть. Т.е. боль — в мозгу, но она ощущается, как боль в отрезанной ноге.

У меня самого нет такой боли. Я как-то наладил отношения с глубиной жизни, мимо фольклорной и церковной традиции. Эти отношения всегда зыбки, текучи. Их каждый день надо восстанавливать заново. Но постоянное напряжение открытого вопроса меня не утомляет, не пугает, не становится невыносимым. Наоборот, оно влечет меня к себе. Я только умом понимаю людей, которым нужно что-то другое. Я слишком медленно, поздно понял, что страдание от безбрежья и беспочвенности может быть невыносимым, и массовая боль требует своего врача, способного ее заговорить; а значит, миф Солженицына — не только его личная причуда.

Бывают иллюзии, обладающие силой вещей, их корень — тоска. В эссе "Тоска по Армении" Грант Матевосян говорит автору (Ю. Карабчиевскому), что Армении больше нет, ее неповторимость стерта, — но есть тоска по Армении. России фольклорной, устойчивой, незыблемой тоже нет, но есть тоска по России. Так тоскует по Австрии Ингеборг Бахман. После ее рассказа "Синхронно" я сам несколько часов чувствовал себя почвенником. Именно потому, что никакого мифа у Бахман нет, только обнаженная тоска. Миф-идол вызвал бы у меня скепти-

цизм, а тоска заразила. Но это индивидуально. Большинству чистой тоски мало (нечем ответить на ее вызов). Нужны иконы и даже идолы, прикрывающие дыру в сердце. В этой обстановке личность Солженицына, его потребность заслонять невыносимые факты легендой (о травле Олега Рождественского, о единстве душ между Нержиным и Спиридоном) стала основой его исторического величия. Сама иррациональность целей, которые Александр Исаевич ставит — часть этого величия. Новый Иерусалим на Северо-Востоке — такой же фантом, как необитаемый остров Бориса Хазанова, на котором соберется тысяча интеллигентов и будет там (без России) продолжать русскую культуру. Но история — царство майи, и она не может обойтись без фантомов. Зря я пытался пристыдить Александра Исаевича, указывая ему на соседство с Глазуновым и прочими. Подлинный миф не теряет подлинности рядом с корыстной халтурой.

Эта моя ошибка нашла зеркальное отражение в "Образованщине". Указание на дурное соседство Солженицын понял как полемический прием и повторил его против меня: даже Померанц, принадлежащий к совершенно другому слою образованщины, по сути оправдывает продажность и подлость. Ответ по принципу "сам дурак". Но повод к этой полемической фигуре дал я сам. Мое непонимание пафоса почвенного мифотворчества подлило масла в огонь; и огонь этот горит в ряде новых заявлений Александра Исаевича: что либералы и диссиденты только отвлекают от важнейших проблем народной жизни, а настоящие борцы за народ — Огурцов и Осипов; или что все решилось в феврале 17-го, и накануне февраля один Марков второй, в героическом одиночестве, выступал против блока революционеров, либералов и еврейских газет. И т.д. и т.п.

В начале 70-х мне казалось, что с этой полемикой покончено. Пытаясь сориентироваться, я прощупывал несколько новых путей и спорил с самим собой: ужасался противоречиям русской истории в первых частях "Снов" — а в опытах о Достоевском восхищался ими,

как пружиной русской культуры. И одновременно писал социологические и культурологические исследования, стараясь взглянуть на Россию глазами ученого, как на незападную страну рядом с другими незападными странами, и вынести некоторые неизбежные, всюду повторяющиеся черты за рамки эмоциональных оценок.

Зацепки, вызвавшие спор с Солженицыным, все больше уходили назад. Мне казалось, что комплексы, которые выступили в "Круге", распухли в подполье, в непризнанном одиночестве гения, и все это само по себе смягчится, когда гений вышел на подмостки истории. Я прочел с восхищением "Архипелаг", т. I. На каждой странице чувствовалось великое дыхание, боль десятков миллионов, вместившаяся в одну грудь, в одно сердце — и титаническая ярость стиля захватывала, покоряла. Я знал и раньше многие факты, но меня потрясал стиль и неотделимая от стиля личность рассказчика, в особенности его исповедь, его сила в покаянии, в обличении собственных грехов. Глава "Голубые погоны" навсегда останется для меня одним из самых сильных читательских впечатлений.

В этом состоянии духа я стал читать машинопись с собственноручной подписью Солженицына, принесенную мне, кажется, Агурским. Называлось это "Образованщина". И вдруг строки встали поперек горла. Опять выступило то, что меня в Солженицыне отталкивает. Великая страсть, с которой писался "Архипелаг", вытеснила из сознания мелкие помыслы. А когда огромное дело было исполнено, в опустевшем духовном пространстве снова зашевелилось всякое и захотелось с достигнутой высоты свести кое-какие счеты. И тут бесам было где разгуляться.

Я потом изучил их проказы на себе. В аду непременно есть особый отдел, соблазняющий полемистов, и каторга для энтузиастов полемики. Мне придется отбыть там срок и Александру Исаевичу тоже. Особенно ядовита некая двойная мысль спора. Когда приходит в голову очень удачный, хлесткий выпад, то страшно проверить: а может быть, я бью по фразе, которую сам же деформировал?

Может быть, у противника не совсем так? По крайней мере, если не вырывать слов из контекста? Очень трудно преодолеть это искушение и внимательно проследить, как выглядит слово у самого автора. Но если я был недостаточно беспристрастен, то перечитывали друзья — и указывали мне на лишние полемические красоты. Солженицын, по-видимому, и сам не делал этой неприятной работы, и друзья не смели с ним спорить. Он полемизировал, упиваясь собственной яростью, и все больше входил в состояние, близкое к невменяемости (это особенно видно в статье "Наши плюралисты"), когда текст противника уже теряет смысл, теряет отпечаток авторского лица и становится безвольной массой, из которой лепятся мишени для полемических стрел. К тому же, в 1974 году Солженицын вполне сознавал себя бессмертным гением; и педантический вопрос: как слово противника выглядит в его собственном тексте? Что оно там значит? — не смущал его. Важно, какой коллаж выходит из чужих слов в его прозе, как это чужое, незначительное, потонувшее в Лете слово становится кирпичиком в его конструкции, принадлежащей вечности.

Это все я мог понять. Непонятно было другое. Я знаю, конечно, что есть люди, способные отомстить через 10, через 20 лет. Об этом писали романтики, и я их читал. Но внутренне я этого не понимаю. Я не способен был бы сейчас написать "Цену отречения" или "Акафист пошлости". Или "Квадрильон" — после октября 1964 года. Если можно отложить ответ на 5, на 10 и даже на 35 лет, зачем вообще горячиться? Довлеет дневи злоба... В рот набилась пыль, и я ее сплюнул. Сплюнул впечатление от встреч Никиты Сергеевича с писателями и художниками, от радиопроповеди Дудко, от его журнала. И потом снова смотрел на дерево и был счастлив. И в покое отделал и смягчил то, что в гневе легло на бумагу. Иное дело — Александр Исаевич. Это человек великого гнева, и гнев — его постоянная стихия. Святой гнев — в "Архипелаге". Но может ли гнев долго оставаться святым?

Есть замечательная статья протоирея Князева о пророках. Оказывается, древние израильтяне никак не могли выработать критерия — как отличить истинного пророка от ложного. И Князев, перебрав тексты, оставляет вопрос открытым. Я думаю, что само пророческое вдохновение не допускает простого ответа. Святой гнев против отступников, обличение зла, обличение неправды... Это прекрасно; но гнев — смертный грех, и безопасно пробыть в этом состоянии нельзя. Каждый раз, когда мы гневаемся, мы грешим. Это одно из неразрешимых нравственных противоречий. Нельзя не гневаться на мерзость — и нельзя гневаться. Каждый выходит из этого, как умеет, с большим или меньшим ущербом для своей бессмертной души. Кажется, Исайя ближе других к равновесию между энергией борьбы и внутренней тишиной. Но если истинный пророк Исайя, то кто такой Эзра? С его яростной проповедью религиозного обособления?

Кто такой Мохаммед? В Мекке — да, в Мекке он истинный пророк. А в Медине? Став коварным властителем? Истребляя союзные роды, на плечах которых он пришел к власти, за то, что кое-кто там иногда посмеивался над его малограмотностью?

Что-то подобное есть в Солженицыне. Его величие и его отталкивающие черты коренятся в одном и том же: в гневе. Создавая "Архипелаг", Александр Исаевич привык к гневу и полюбил себя в гневе; и всякий гнев стал казаться ему святым. Любая стрела, задевшая пророка, кажется направленной прямо в Аллаха — или, если говорить без метафор, — в народ и в Россию. Автору неудобно слишком выходить из себя и надо соблюдать правила спора. Но если оскорблен народ, Россия... Тогда происходит не дуэль с оскорбителем, а нечто вроде колесования и четвертования государственного изменника.

Споря с Солженицыным, я никогда не хотел его уничтожить. Я прямо чувствую необходимость в нем. Особенно в те два десятилетия, когда был изъят и еще не воскрес роман Гроссмана "Жизнь и судьба". Солженицын один был тогда целым направлением.

Но Солженицын — полемист... Каждая его строка пахнет костром. Нет истины кроме истины, и он пророк ее! Сама идея о возможности корректного спора — безнравственный и преступный плюрализм. Нужно не ограничение идеи (развитой противником слишком прямолинейно), а совершенное истребление оппозиции. Противника надо ошельмовать, заклеймить, высмеять...

Как было отвечать на это? И стоило ли вообще обличать автора "Архипелага"? Не поступиться ли своей обидой ради его великой исторической миссии? Не окажусь ли я, начав полемику, на совете нечестивых? Но было что-то внеличное, толкавшее на спор. Сама энергия стиля Солженицына будила во мне ответный порыв. Можно не отвечать Доре Штурман или Никите Струве, нельзя не отвечать Солженицыну. Каждое его слово принадлежит истории. Было бы трусостью, боязнью чужого мнения отказаться от ответа историческому величию. Тут невозможен выигрыш, но есть свое достоинство, и оно влечет меня. Я вспоминал слова Паскаля: человек слаб, как тростник; любой порыв ветра может его сломить; но этот тростник мыслит, и даже если вся вселенная обрушится на него, она не сможет этого отнять.

Оставались какие-то сомнения, но их перечеркнуло солженицынское "Раскаяние". Статья возмутила больше, чем "Образованщина". И не только меня. Значит, не в обиде дело (я не был там лично задет). Полемика с Солженицыным стала внутренним требованием моей жизни.

Первый опыт ответа оказался неудачей. Слишком еще много было личной обиды. Я пытался разобрать каждую передержку и восстановить то, что действительно было сказано. В иных случаях приходилось цитировать страницы по две; пока не прочтешь всего — слово неясно, и точечное мышление, "секущее" отдельные фразы, постоянно меня искажает, даже без преднамеренной (и злонамеренной) полемической установки. Передержек много, и опровержение заняло не то 80, не то 100 страниц. И

весь этот труд впустую. Друзья в один голос сказали, что вышло скучно. Читаешь — и голова начинает болеть.

Пришлось примириться с тем, что полемические искажения не удастся опровергнуть. Можно разработать типологию полемических приемов Солженицына, наподобие "Искусства спорить" Шопенгауэра*, с примерами из "Образованщины". Но спокойно разбирать, как меня выворачивают наизнанку, было еще не по силам. И "Сон о справедливом возмездии" начинается с заявления, что я не созрел для этой задачи и откладываю ее на будущее (к сожалению, Синявский, сокращая текст, выкинул это — и еще кое-что важное).

Остыв, я понял, что ничего другого просто не остается. Не имеет смысла доказывать, что ты не верблюд; буду вести себя как неверблюд, т.е. как человек, которого занимает сама истина, а не то, что люди о нем подумают. Несколько месяцев я не видел неба над головой — только получал и возвращал удары. Потом все это кончилось. Я нашел главное: правильный тон ответа. Тон спокойного диалога, спокойного разбора вопросов, которые Солженицын поставил. Не обращая внимания на грубости. Пусть он говорит мне, как Брабанцио: "Мерзавец!" Я отвечу, как Яго: "А вы, синьор, — сенатор". И без всякого коварства отвечу: стиль полемики мне важнее, чем ее предмет (эта мысль уже начала во мне набухать). Я не доказывал, что Солженицын выхватывает обрывки мыслей, из которых можно слепить, что угодно, а цитировал его, как следует; так, как я хотел, чтобы цитировали меня самого. Пусть читатель сам сравнит.

В конце концов, текст стал таким, что я решился показать его соседу, страстному поклоннику Солженицына и внуку нижегородского помещика, очевидца подвигов латышских стрелков в 1918 году. Покойный Эрик Р. отметил несколько мест, показавшихся ему несправедливыми и

*Я прочел работу Шопенгауэра в брошюре с заглавием: "Искусство спорить и острить". Каково авторское название — не знаю.

оскорбительными. В частности, Эрик не допускал слова "передержка". Что бы ни делал Солженицын, великий человек, в глазах своих поклонников, не передергивал. Совершенно как Мохаммед в глазах мусульман. Было большим искусом для нас обоих вытерпеть точку зрения другого. Но кое-как удалось справиться с этим и не поссориться. В конце концов, я почти со всеми требованиями согласился и еще раз отредактировал рукопись.

То, что получилось, кажется мне теперь несколько растянутым; сегодня я бы сократил историко-социологические заметки и аналогии со странами Востока. Но если вообще оправдан состязательный процесс, оправдана и моя попытка взглянуть на злодеев, которых испепеляет пророк, глазами адвоката. А образ Солженицына, на последних страницах, — серьезная попытка понять великий характер. Подробный разбор конфликта Сани со Штительманом и другими я снял, чтобы не вступать в спор о фактах, которые знаю из вторых рук. Но образ обиженного мальчика все время стоял у меня перед глазами. Он раненый мальчик, и я раненый мальчик. Почему мы должны столкнуться? Почему мы не могли понять друг друга? Я ведь пытался. Я ведь писал ему...

Но писал слишком горячо, в начинавшемся полемическом захвате. Я хотел взаимного понимания — а мой тон мог оскорбить. Так считала Зина, и наверное она была права (проверить по тексту сможет исследователь XXI века, перед которым раскроются архивы КГБ).

Зина тогда попыталась уравновесить недостатки моего письма и написала сама. И прежде всего — о заслугах Солженицына (заслугам было посвящено очень много места); только после подробного анализа духовного величия известных нам текстов были высказаны критические замечания — в самом мягком, кротком тоне. Что же вышло? Солженицын признал все свои заслуги, а критических замечаний просто не заметил. И закончил моралью: как можно договориться в обществе, где даже из одной семьи приходят такие разные письма?

Мы с Зиной написали снова и подчеркнули, что никакого разноречия между нами нет. Нас обоих огорчило одно и то же. Тогда Солженицын не ответил ни мне, ни Зине (хотя только что писал ей, что она раскрыла ему его самого, религиозную основу его писательской деятельности). Если вы солидарны с врагом народа, то вы сами враг народа.

Старость освобождает от многих страстей. Наступают годы Амаркорда — годы мягких воспоминаний о юношеских муках. И только воля к власти гложет своих рабов до гробовой доски.

Но зачем я продолжаю спорить с этой волей? Ведь, кажется, все уже сказано... Да нет, характер Солженицына полон неожиданностей, внезапных взлетов и падений, и Бог знает, что еще в нем осталось непонятым. А вопросы, которые он ставит, много раз подталкивали мою мысль. Я убежден, что свободный спор об истине важнее всех предполагаемых побед добра, ради которых сегодня надо подчиниться партийной дисциплине или другому деспотизму (который всегда вводится временно, ради великой и святой цели, но почему-то никогда не кончается). Я сегодня хочу быть свободным и сегодня говорю то, что думаю; и сегодня ищу форму этого спора, стиль этого спора. Средства не должны противоречить цели; иначе цель никогда не будет достигнута. Мое средство достичь истины и моя цель в царстве истины одна и та же: диалог с противником, который сам жаждет истины, но (как и я, может быть) уклоняется от истины под влиянием страстей. С противником, которого я способен любить, — даже если он меня ненавидит и проклинает.

Это не так легко далось. Пришлось выдержать еще одно испытание: "Вестник" No 125 со статьей Вадима Борисова.

Началось все очень корректно. В 1974 году зашел ко мне Мелиб (Маркс, Энгельс, Либкнехт) Агурский (исполнявший роль Меркурия) и спросил: разрешаю ли я опуб-

ликовать часть I "Снов"? Потому что Шафаревич хочет с ней полемизировать, а спорить с неопубликованным текстом неудобно. Я ответил, что пожалуйста, публикуйте и полемизируйте*... Однако другая воля, более сильная, чем воля Шафаревича, решила иначе, и года через 3 или 4 появилась серия статей, в которой все западники упрекались в невежестве, в элементарном незнании русской истории и культуры; и в том числе — статья Вадима Борисова, критиковавшего мой текст, по-прежнему неопубликованный. Помимо невежества, Борисов нашел у меня (с помощью ловко повернутого обрывка фразы) гитлеровскую расовую теорию; именно, что я будто бы считаю русских низшей расой.

Я вполне понимаю, что "Сны" могли не понравиться. Первые две части не понравились Бахтину (я показал ему их вместе с "Эвклидовским разумом". Он очень сочувственно откликнулся на "Эвклидовский разум", а о "Снах" не хотел говорить). Я думаю, Михаила Михайловича, жившего в глубокой внутренней тишине, отталкивал самый дух полемики; то, что можно назвать полемикой с современным великодержавным сознанием, опрокинутой в прошлое. В этом был известный перекос, и он мог вызвать резкие возражения; по крайней мере, первый вариант текста (1969-1970). Но Борисов держал в руках вторую редакцию "Снов" (части I-IV). Молчание Бахтина без спора дало мне почувствовать, что не очень мудро полемизировать с историей, и в части III (сильно развитая личность) проводится новая мысль: историю надо принять, вынести и просветлить, наполнив новым духом неизгладимые старые шрамы. А в части IV-й автор вообще отступает назад и дает слово Пушкину, Толстому, Достоевскому, поэзии серебряного века, Даниилу Андрееву...

*Был еще такой разговор. Я спросил, почему только первую? Агурский — со слов Шафаревича — ответил: "Там уже все сказано". Моим оппонентам совершенно ясно, что я мыслю так же категорично, как они сами.

Каким образом все это можно было свести к расовой теории?

Правда, первые две части не были в корне переделаны; они сами по себе принадлежали истории, пахли временем, в которое были написаны. Я не хотел стирать этот запах, отклик на события 1968 года, непосредственное впечатление от ангелов Дионисия в алтаре Успенского собора — и мысль об Иване Грозном, пронесшуюся тогда в уме... Все, что можно, было смягчено, но ядро текста — живое существо, оно не все позволяет с собой сделать. Меня упрекали, что разрыв между ангелами Дионисия и духом опричнины слишком резок, теряется единство культуры — и я соглашался с этим. Во всяком подходе есть своя односторонность. И все же — при чем тут расовая теория?

Недоразумения всегда возможны. Но мы жили с Борисовым в одном городе, мы были (правда, шапочно) знакомы. Как было не зайти, не спросить, — правильно ли вы поняли машинопись, против которой собираетесь выступить в печати (т.е. действовать очевидно неравным оружием)?

Споры, потрясавшие интеллигенцию 70-х годов, начинались еще в лагере. Но тогда они шли внутри семьи, внутри братства. А теперь — подножки, удары ниже пояса. Это было не только лично невыносимо. Еще невыносимее, что рухнуло братство, что пошла партийная грызня, как между эсерами и эсдеками. Во всем чувствовалась партийная дисциплина и партийная этика. Которая допускала борьбу всеми дозволенными и недозволенными средствами; ибо все оправдывает святая цель.

Я был болен полемикой несколько месяцев. Отвечать Борисову? Не имело смысла. Глыбная статья его была мягче других, и если теперь он усвоил общий стиль, то надо разбирать стиль в целом, стиль Солженицына и его школы. Я так и сделал — и написал открытое письмо в "Вестник РХД". Струве побрезговал лично ответить, почему он моего письма не публикует, а в передовой статейке

объявил, что критику, вдохновленную завистью к величию Солженицына, журнал печатать не будет. Любопытно, что после "Стиля полемики", — который напечатать все же пришлось, — в статье "Не стыдно ли" — Никита Алексеевич недоумевает: о какой это критике, отвергнутой им, я пишу? Видимо, христианская благодать, осенившая его, настолько сильна, что совершенно затмила заповедь "не лжесвидетельствуй".

Залп статей в № 125-м был последним ударом, болезненно меня задевшим. "Наших плюралистов" я прочел глазами ученого. Там были хорошие примеры солженицынского стиля полемики и философские тезисы, прямо ложившиеся в мою почти законченную статью "Проблема Воланда" (о модели детерминизма и индетерминизма в истории). На оскорбления по адресу покойного друга и почти что умиравшей (сейчас уже покойной) Р.Б. Лерт я ответил, но ответил без напряжения. У меня, наконец, выработался иммунитет. Пропала охота доказывать, что ты не верблюд. В чьих-то глазах — верблюд. Все мы немножечко верблюды, каждый из нас по-своему верблюд. Для кого-то человек, а для кого-то верблюд.

Реджинальд Орас Блайс, критикуя дзэнский текст XVII века, как-то заметил: дзэн не про то, как выигрывать, а что все равно — выиграть или проиграть. Я это прочел и запомнил. А в 1971 г., после первого тура полемики, сам написал, что "добро не воюет и не побеждает"... Но прошло лет 10, прежде чем я эту свою же мысль до конца прожил. Я утвердился в незащищенности (другая мысль, которую я сразу приметил и очень медленно, всей жизнью постиг). Я понял, что Кришнамурти имел в виду, когда говорил о незащищенности. Я понял "залетную птицу" Тагора: "зло не может себе позволить роскошь быть побежденным; добро может".

Укорененность в тишине, найденную к началу 80-х, не могла больше поколебать полемика. В "Страстной односторонности и бесстрастии духа" я взглянул на современные распри так, словно они шли тысячу лет тому назад, и поставил враждебные книги на одну полку.

Солженицын — один из самых замечательных примеров страстной односторонности; именно резкость его мысли, "неразвитая напряженность" принципов (как назвал бы это Гегель) делает его незаменимым застрельщиком спора (я согласен здесь с Дисой Хостед). И потому молю Бога о здоровье моего противника. В общем хозяйстве культуры и нетерпимые, резкие, как нож, формулировки имеют свое достоинство.

Комментарий — один из основных путей духа. Я осознал это в начале 70-х, разбирая причины упадка буддизма в средневековой Индии. Найти новый принцип чрезвычайно трудно — и опасно. Новый, революционный принцип может оказаться разрушительным. Поэтому надежней комментировать тексты, выдержавшие испытание времени. Но комментарий вовсе не означает отказ от собственной мысли. Шанкара мыслит не менее смело, чем Нагарджуна. Он только берет точкой отсчета правоверные памятники, а толкует их так, как велит ему собственный дух... Практическим выводом из моих размышлений было то, что я опять стал комментировать Достоевского. И постепенно вышла целая книга, может быть, самая моя изо всех, которые я написал.

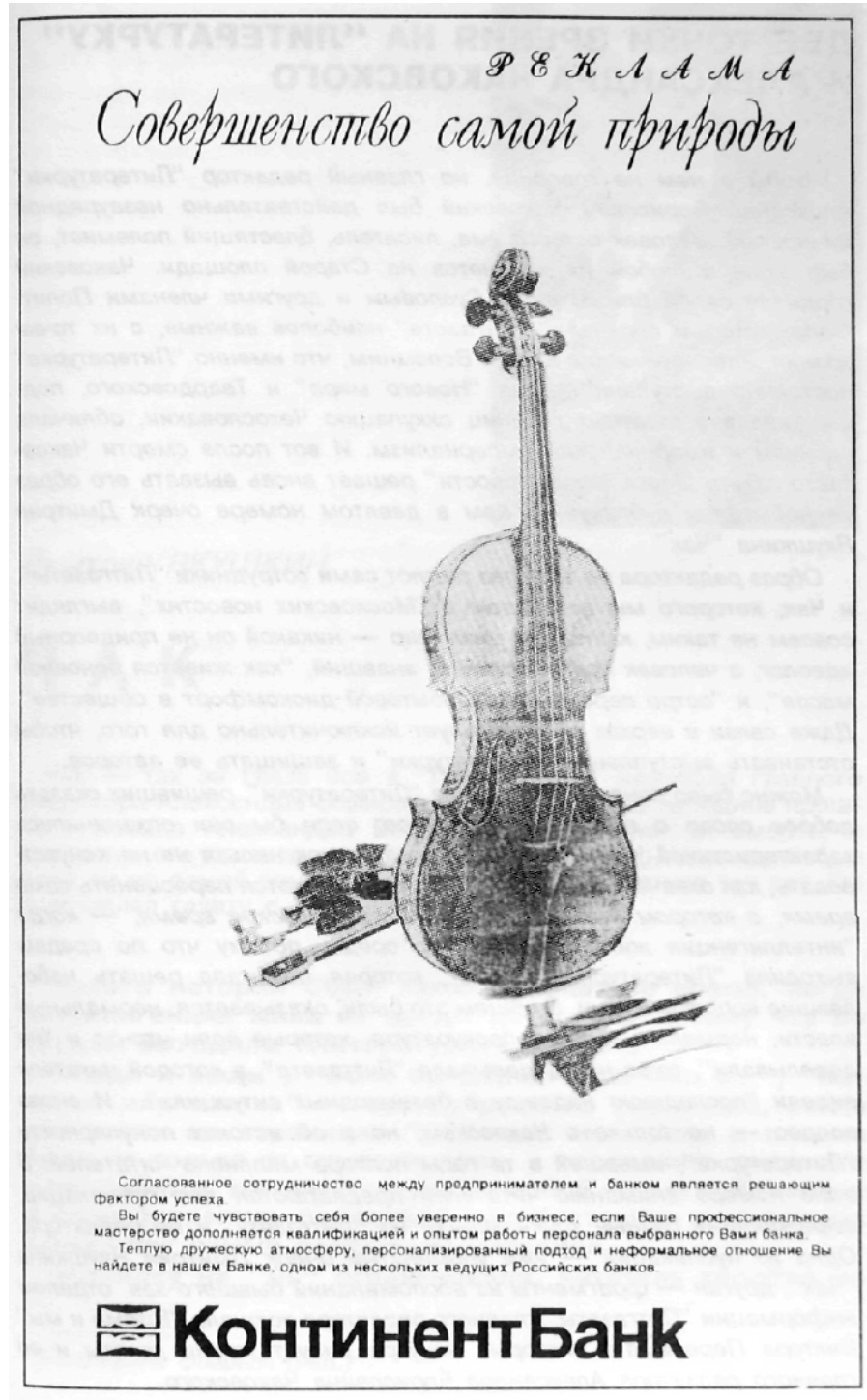
Полемика с Солженицыным — еще один такой комментарий. Собственно полемическое давно уступило место желанию понять. Я не борюсь с Солженицыным; на том поприще, которое стало для него главным, у меня нет никаких амбиций. Идеи, способные овладевать массами и стать материальной силой, — не мои идеи. Я смотрю на них со стороны и пытаюсь понять ходы истории, которая всегда, — при любой раскладке сил, — будет против меня и таких, как я. Мне хочется передать гадким утятам свой опыт — как выносить историю, — а не командовать ею; и при любых зигзагах находить пути медленной помощи. Мне хочется оставить им в наслед-

ство стиль спора — без расчета на выигрыш. Он дорого мне дался, этот стиль. И вот я сажусь к столу, листаю рукопись и в сотый раз вставляю недостающее слово, а потом снова его вычеркиваю. Чтобы передать не частности, а целое; не хворост, а огонь; не идею, а ритм; ритм, в котором шла схватка Якова с ангелом:

Все, что мы побеждаем, малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет борцов совсем не тех.

Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознанье и расцвете сил.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.



ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА "ЛИТЕРАТУРКУ" И АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО

Что бы о нем не говорили, но главный редактор "Литературки" Александр Борисович Чаковский был действительно незаурядной личностью. Человек острого ума, писатель, блестящий полемист, он был вхож в любой из кабинетов на Старой площади. Чаковский гордился своей близостью с Сусловым и другими членами Политбюро, которые поручали "Литгазете" наиболее важные, с их точки зрения, идеологические акции. Вспомним, что именно "Литературка" постоянно выступала против "Нового мира" и Твардовского, поддерживала с газетных страниц оккупацию Чехословакии, обличала сионизм и американский империализм. И вот после смерти Чаковского газета "Московские новости" решает вновь вызвать его образ из небытия и публикует о нем в девятом номере очерк Дмитрия Якушкина "Чак".

Образ редактора на этот раз рисуют сами сотрудники "Литтазеты", и Чак, которого мы встречаем в "Московских новостях", выглядит совсем не таким, каким его знал мир — никакой он не придворный идеолог, а человек прогрессивный, знавший, "как живется основной массе", и "остро переживавший бытовой дискомфорт в обществе". Даже связи в верхах он использует исключительно для того, чтобы отстаивать выступления "Литературки" и защищать ее авторов.

Можно было понять сотрудников "Литературки", решивших сказать доброе слово о покойном редакторе, если бы они ограничились характеристикой Чаковского. Но между строк нельзя не не почувствовать, как охваченные ностальгией, они пытаются переоценить само время, о котором пишут, — читайте брежневское время, — когда "интеллигенция жила от среды до среды, потому что по средам выходила "Литературная газета", которая помогала решать наболевшие вопросы жизни. В общем это были, оказывается, нормальные власти, нормальный суд и прокуратура, которые если что-то и "не доделывали", то за них доделывала "Литгазета", в которой читатели видели "последнюю надежду в безвыходных ситуациях". И снова вопрос — не только о Чаковском, но и об истоках популярности "Литературки", имевшей в те годы полтора миллиона читателей. В этом номере вниманию читателей предлагаются две публикации, выражающие разные точки зрения на "Литгазету" и ее редактора Одна из публикаций — уже упомянутый очерк Дмитрия Якушкина "Чак", другая — фрагменты из воспоминаний бывшего зав. отделом информации "Литгазеты" главного редактора журнала "Время и мы" Виктора Перельмана, который изнутри рисует жизнь газеты и ее главного редактора Александра Борисовича Чаковского.

Дмитрий ЯКУШКИН

ЧАК

Чак — так за глаза все в "Литературке" называли главного редактора Александра Борисовича Чаковского. В середине прошлого месяца Александра Борисовича не стало*. И смерть, и похороны его прошли малозамеченными, а ведь Чаковский был едва ли не самой заметной фигурой в журналистике тех лет. Он возглавлял газету с 1962 по 1988 год.

Было в истории СССР такое непонятное время, когда интеллигенция жила от среды до среды, потому что по средам выходила "Литературная газета".

"Люди и вещи", "Если бы директором был я...", "Подарок или взятка" — это рубрики из той эпохи, когда дискуссии на страницах "ЛГ" шли месяцами и письма были не только от сумасшедших, а попадались толковые и подробные, которые тянули за собой новые публикации и **брошюровались редакцией для Инстанции в номерных папках как самый подрывной материал.**

Подписку на "ЛГ" ограничивали, читатель теребил по

*В середине февраля (Ред.)

этому поводу редакцию, а напечататься в газете было престижно, и каждый журналист тогда мечтал об этом. Тех, кому это удавалось делать регулярно, по крайней мере знало полстраны, и далеко не самая малая ее часть видела во многих из них и неоспоримые моральные авторитеты, и последнюю надежду в безвыходных ситуациях.

ОЛЬГА ЧАЙКОВСКАЯ: Газета доделывала то, что не доделывали власти, прокуратура, суд. После Сталина правовые проблемы воспринимались особенно остро, общество жаждало справедливости и одновременно как бы искало для себя учителей, веря, что где-то существуют такие умные люди, которые лучше все понимают. Мы занимались правовым просветительством.

АНАТОЛИЙ РУБИНОВ, обозреватель: Не знаю, какую цель преследовал наш главный редактор в политике, но он остро переживал бытовой дискомфорт в обществе. Конечно, он лечился в Кремлевке, ездил с водителем, пользовался депутатским залом и связью ВЧ, но Чаковский знал тем не менее, как живется основной массе. "ЛГ" была единственной газетой, которая занялась тогда социально-бытовой сферой, создав для этого специальный отдел. Мы писали о работе почты (классическая акция "ЛГ", которая началась с того, что А. Рубинов бросил сам себе 100 писем в 100 различных ящиков. — *Прим. авт.),* междугородной телефонной связи и телефонных автоматов в кабинках, МПС и Аэрофлота — как на земле, так и в воздухе.

АРКАДИЙ ВАКСБЕРГ, обозреватель: Условием публикации особо скандальных разоблачительных материалов был редакционный врез, объяснявший неразумному читателю, что речь в очерке пойдет о случае нетипичном. Я против этого безуспешно возражал, но, познакомившись с читательской почтой, понял, что напрасно. Читатель оказался вполне разумным, он все понимал. И тогда, чтобы довести редакционный врез до полного абсурда, я слово "нетипичный" заменял на "уникальный" или даже "исключительный".

ОЛЕГ ПРУДКОВ, бывший член редколлегии: Особое отношение Чаковский проявлял к 16-й полосе — он следил за тем, чтобы она регулярно выходила. Кстати, полоса юмора доставляла много неприятностей. Евгений Сазонов в основе своей был пародией на Шолохова, и однажды Шолохов пожаловался, из-за чего нависла угроза над сотрудником из отдела юмора, но Чаковский, как и во многих других случаях, нашел способ его защитить.

ЧЕГО ХОТЕЛ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР?

В 1947 году, объясняя Константину Симонову, какой он видит будущую "ЛГ", Сталин высказался за то, чтобы сделать из нее, как он выразился, "неофициальную" газету, которая была бы "острее" и "левее" всех остальных. Так что направление было задано задолго до появления в газете Чаковского. Однако даже такое высочайшее повеление и общественная потребность в подобной "отдушине", возникшая в 60-е годы, остались бы нереализованными, если бы не газетный азарт нового главного редактора.

АРКАДИЙ УДАЛЬЦОВ, главный редактор "ЛГ": Как всякий редактор, он хотел создать такую газету, которая отличалась бы от других. До его прихода существовала обычная четырехполосная советская газета, выходившая три раза в неделю. Типичный профессиональный орган, как и многие другие. Он не думал отказываться от газеты для писателей, но одновременно он хотел создать некий симбиоз, первый толстый еженедельник, главным в котором была бы дискуссионность.

ОЛЕГ ПРУДКОВ: Чаковский пришел в газету в начале 60-х, в не самый лучший для нее период. "ЛГ" теряла тираж, читательский интерес. Его встретили с некоторым опасением: у него была репутация консервативного и довольно жесткого человека. Он легко вспыхивал, мог накричать, но каким бы резким это столкновение ни было, через некоторое время все проходило и на дальнейшие отношения с сотрудниками это, как правило, не влияло. Основной замысел реорганизации газеты, которая в новом виде появилась в 1967 году, принадлежал ему.

АНАТОЛИЙ РУБИНОВ: Он говорил так: "Литгазета" — это Гайд-Парк социализма".

ЧАКОВСКИЙ И "ВЕРХИ"

Заслуга Чаковского в том, что он постепенно собрал в "ЛГ" сильную команду, которая работала автономно. Он мог отсутствовать в редакции несколько месяцев, занимаясь писанием романов в Дубултах, однако газета исправно выходила. По конкретным статьям Чаковский часто отсылал автора к одному из замов и вмешивался на том этапе, когда после публикации в действие приходили какие-то высшие силы, скажем, на уровне Политбюро. Судя по всему, большинству журналистов "ЛГ" было в принципе не очень интересно, какие акции у Чаковского в коридорах власти. Просто каждый занимался своей те-

мой, однако "спина" главного редактора при этом незримо присутствовала.

ЮРИЙ ЩЕКОЧИХИН, обозреватель: Тогда была другая журналистика, другие игры, когда все решалось в кабинетах на Старой площади. И он мог войти в любой из них, включая Брежнева. За счет чего? За счет своего характера, за счет того, что он вытащил эту газету из небытия. Но он был отличным придворным и знал расклад сил, который существовал тогда.

Однажды у меня шел острый азербайджанский материал. Позвонил из Баку Багиров и сказал, что они сами во всем разберутся и виновных накажут. Другой бы редактор решил, что раз там все нормально и позвонил первый человек республики, то статью можно и не давать. Но она вышла... Раз для него не было закрытых дверей, то и для нас тоже.

АНАТОЛИЙ РУБИНОВ: Когда мы написали об Аэрофлоте, то министр Бугаев обратился с жалобой в ЦК и еще обвинил "ЛГ" в травле Аэрофлота. Чаковский кричал: "Вы что делаете?! Это же личный летчик Брежнева!". Я пошел в библиотеку и подсчитал, сколько было у нас положительных, а сколько отрицательных материалов по авиации. Позитивных было в несколько раз больше. Тогда Чаковский тоже написал в ЦК письмо, где сообщил, что министра подвели его помощники, подсунув ему неверную информацию. Таким образом, он его вывел из-под удара и сделал нашим союзником. В результате — невероятный факт: Бугаев сообщил, что отзывает свое письмо и пригласил меня к себе на беседу.

АРКАДИЙ УДАЛЬЦОВ: Безусловно, самым шумным материалом той поры была статья Ваксберга "Баня" — о том, как гуляет обкомовское начальство в Чебоксарах. После этой статьи был большой переполох, а Тяжельников даже додумался до того, что призвал посносить бани на базах отдыха комсомола. Чаковский прочитал рукопись, запер ее в сейф и сказал, чтобы никогда не спрашивали об этом материале. Но ему можно было что-то доказывать. Мы пришли к нему и, наверное, убеждали его, что все это не так страшно. И доказали. И хотя хлопот было много, все-таки пронесло.

На похоронах один из тех, кто его хорошо знал, рассказал такую историю. Чаковский любил прийти в ЦК и спросить: "Есть кто-нибудь недовольный после такой-то публикации? Я хотел бы с ним поговорить". Александр Борисович был опытным полемистом, мог заговорить любого, и хотя недовольные были, но связываться с ним не хотели. А какой-то прямой поддержки наверху он, как мне кажется, не имел.

ЧЕЛОВЕК И РЕДАКТОР

ОЛЕГ ПРУДКОВ: Он любил подчеркивать две мысли. Он говорил, что мы все — "пайщики" в этой газете, все равны и должны относиться к ней так, как он. И второе, уже драматическое по смыслу. В жизни Чаковский был человеком довольно одиноким. На одном из собраний он как-то сказал: "Старые друзья уже ушли, новых под конец жизни не заводят, и у меня есть одна семья. Эта семья — "ЛГ".

ЮРИЙ ЩЕКОЧИХИН: Он не боялся обвинений, которых остерегались все другие газеты: что в редакции много людей "с пятым пунктом". В "ЛГ" не было антисемитизма, который тогда был правящей идеологией, а все занимались подсчетом процентов среди штата сотрудников.

Но мы и платили за свои статьи. Платили антидиссидентскими материалами со странными подписями, которые привозили из КГБ. В них была полная чушь, и все смеялись, но это тоже было в рамках тех правил.

Как ни странно, некоторые статьи не проходили уже после ухода Чаковского. При нем материалы могли задерживаться, зато после него, видимо, уже был другой уровень связей наверху, когда из того же комитета, например, могли требовать то, чего они не могли добиться от Чаковского.

После того как сняли Виталия Сырокомского (без него "ЛГ" не стала бы той газетой, которую все помнят. — *Прим. авт.)* и на место первого зама пришел из московского горкома партии Юрий Изюмов, тот снял из номера, который вел, статью Ваксберга. И я помню, как на летучке Чаковский его разнес! То есть он выступил против разрушения тех традиций, которые сложились в "ЛГ", и это по-человечески было очень ценно.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Смелость во второй тетрадке "ЛГ" "компенсировалась" статьями не только против инакомыслия, но и достаточно консервативным курсом в первой тетрадке, посвященной советской литературе. Впрочем, она пользовалась гораздо меньше популярностью и по средам многие ее просто отбрасывали за ненадобностью.

Со времен взлета "ЛГ" журналистика претерпела изменения. Сегодня газеты комментируют, но не строят, сообщают, но не вмешиваются. Дискуссии с активным вовлечением читателей ушли в прошлое. Вернутся ли они когда-нибудь в России? Мы хотим быть похожими на Запад,

а Запад в основном просто живет, созерцая жизнь. Вместе с тем проблемы, о которых писала "ЛГ", остаются — квартирная, медицинская, школьная, правовая — с добавлением новых реалий. Я уж не упоминаю о коррупции. Тогдашнее "зло" было достаточно четко очерчено — как правило, злодей-чиновник, преступивший законы, администратор, давивший талант. И головы как раз летели — "ЛГ" снимала министров и их замов. У газеты были другие функции — она дополняла власть, исправляя ее, часто, правда, получая на это предварительно разрешение или негласное "добро". Прежний пафос вызовет сегодня только раздражение, хотя зона "запретных тем" кардинально не сузилась.

"МН" №9,
27 февраля — 6 марта 1994 г.

Р Е К Л А М А

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

ГАЙД-ПАРК ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Как Чаковский реализовал сталинскую идею "Литературной газеты"

Загадочный феномен

Весной 1968 года в моей жизни свершилось чудо. Из малоизвестного ведомственного журнала "Советские профсоюзы" я перешел в "Литературную газету" на должность заведующего отделом информации. Казалось, сама судьба решила воздать мне должное за годы, проведенные в одном из самых скучных и непопулярных изданий.

Принимал меня главный редактор Александр Борисович Чаковский. Он сидел в громадном своем кабинете с сигарой в зубах и, когда мы с Сырокомским вошли, быстро приподнялся над письменным столом и широко, будто я своим приходом доставил ему ни с чем не сравнимое удовольствие, улыбнулся. И в течение всего разговора не переставал дымить сигарой и улыбаться.

Держался совершенно свободно, острил, словно специально задался целью покорить меня своей широтой и обаянием.

— Мне говорили, что вы сознательно пошли на понижение зарплаты, — начал Чаковский, — это, как говорится, факт, который не может нас не радовать. Он свидетельствует о вашем глубоком интересе к газете...

Чаковский говорил низким, шепелявящим басом, и на его лице, подобно нервному тику, то и дело появлялась гримаса. Оно словно бы ощеривалось, но благодаря сигаре тотчас же снова обретало вполне интеллигентный, респектабельный облик.

— Ну, что я могу добавить — в добрый путь! Хотелось бы только, что бы вы имели в виду, что литературная политика — дело чрезвычайно тонкое и щепетильное. Тут, как говорится, десять раз отмерь и один раз отрежь. И мерить надо точно, чуть не туда — и не оберешься, как говорится, на свою голову.

...И вот я сижу в огромной пустой комнате отдела информации. Широкие окна выходят на Садовое кольцо — этот самый центр Москвы. Город грохочет, гудит. Но я не слышу этого грохота. Меня вообще на свете ничто не занимает. Я думаю над новой информационной полосой, которую я решил и назвать по-новому — "Литературный репортер".

Напротив отдела информации — кабинеты Чаковского и Сырокомского. Чуть правее сидят два других зама — Тертерян и Кривицкий, и я без конца слышу голоса секретарш, вызывающих сотрудников к начальству: того-то к Сыру, того-то — к Теру, а этого уже четыре раза спрашивал Чак.

В отсутствие Чаковского, который по полгода сидит на даче и пишет свою многотомную "Блокаду", всеми делами управляет Сырокомский. Он берет на работу, увольняет, председательствует на планерках и редколлегиях.

Тер ведет раздел внутренней жизни в газете. Он самый старый из всех замов, маленький, с седым бобриком волос. Говорят, что он и самый умный из всех замов, сумел пережить четырех главных редакторов, заплатив, впрочем, за это двумя или тремя инфарктами. Тер — остряк и циник, его замечания мгновенно превращаются в афоризмы.

— Мой молодой друг, — произнес он однажды целый монолог перед одним из сотрудников, — если вы напечатаете эту вещицу, то вам останется жить ровно столько, сколько потребуется машинистке, чтобы напечатать приказ о вашем увольнении!

Другой зам, Евгений Алексеевич Кривицкий, начисто лишен чувства юмора. Самое удивительное качество Кривицкого было непревзойденное умение молчать. Молчать, когда с ним спорят сотрудники (делая, однако, все по-своему). Молчать, когда его изничтожает Чаковский. Впрочем, на официальных совещаниях Александр Борисович обычно знал меру и, улыбаясь, даже обращался за советами к Кривицкому:

— Ну, а что скажет Евгений Алексеевич? Он, как говорится, у нас комиссар.

Мой непосредственный начальник — ответственный секретарь газеты Валерий Аркадьевич Горбунов. Злые языки мне в первые же дни поведали; что никакой он не Горбунов, а Гиндельман, принявший фамилию жены и обретший благодаря этому возможность занять должность ответственного секретаря "Литературной газеты".

Под Горбуновым и его замами находились отделы "Литературки", добрую половину которых возглавляли евреи. Это был один из самых загадочных феноменов, поразивших мое воображение. Евреем был главный редактор Чаковский и ответственный секретарь Гиндельман, отдел экономики возглавлял еврей Павел Вельтман (он же Волин), отдел науки — еврей Ривин (он же Михайлов), отделом искусств руководил еврей Галантер (он же Галанов), даже самый крупный раздел русской литературы возглавлял еврей Миша Синельников.

Итак, лучшую в стране газету доверили делать евреям, и я не мог не радоваться этому чуду. Что значит этот загадочный филосемитизм?

Черный список

На первой полосе я задумал рассказать о творческой лаборатории Семена Кирсанова, о Михаиле Светлове и Викторе Борисовиче Шкловском. Не откладывая в долгий ящик, я решил отправиться к Кривицкому и выяснить судьбу первых моих материалов, которые уже несколько дней лежали у заместителя главного редактора. Когда я вошел и спросил, как дела с Кирсановым, он ничего не ответил. Сидел молча, уставившись в мой материал.

— Понимаете, Виктор Борисович, ето сделано очень примитивно. Процесс писательского творения необыкновенно сложен. Ну, а что Семен Кирсанов? Сидит, смотрит в окно своего дома и пишет стихи. Упрощенно все это...

Я пытался возражать, и снова последовало долгое молчание, пока в кабинет к нему не зашел заместитель ответственного секретаря Чернецкий.

Леня Чернецкий был одной из самых колоритнейших фигур в редакции. Низенький, горбун и, несмотря на это, страстный обожатель женщин... Говорили, что он когда-то подавал большие надежды и даже окончил Литературный институт, но, в отличие от многих своих сверстников, так и не стал писателем, застряв в секретариате "Литературной газеты".

Увидев Чернецкого, Евгений Алексеевич необыкновенно обрадовался, его каменное лицо оживилось:

— Леонид Герасимович, вот вы-то нам как раз и нужны. Вы читали репортаж о Кирсанове.

— Читал, Евгений Алексеевич.

— Ну, и что скажете?

— Откровенно? — улыбнулся Чернецкий.

— Разумеется, откровенно, — улыбнулся в ответ вдруг оживившийся Кривицкий.

— Если откровенно, материал мне не понравился. Город вдохновляет писателя. Экая невидаль. Сплошные трюизмы.

— Вот видите, Виктор Борисович, мы ведь с Леонидом Герасимовичем не сговаривались.

На другой день после выхода в свет "Литературного репортера" мне было предложено представить Чернецкому список писателей, к которым "ЛР" намерен пойти в гости. В список этот, помню, вошли Твардовский, Паустовский, Симонов, Катаев, Леонид Леонов, Федор Абрамов.

Горбун прочел список и поименно начал разбирать представленных кандидатов.

— Значит, Твардовский, так-с, а знаете ли, дружище, что Твардовский вообще не изволит разговаривать с нашим Александром Борисовичем? Не принимает он нас. Паустовский? Давайте старика оставим в покое. Ему спокойнее и нам спокойнее. Понимаете, нужны писатели действующие. Каверин? Только через труп Александра Борисовича. Слыхали о каверинском письме к Федину по поводу Солженицына? Нет? А зря! Самиздат надо читать. Называет он там Федина душителем русской литературы, а он, Вениамин Каверин, спаситель...

Симонова тоже выбрасываю. Чак с ним не контактирует. С остальными идите к Евгению Алексеевичу, он все-таки зам по литературе, — заговорщически подмигнул мне горбун и вернул список.

От всего списка остались трое — Леонид Леонов, Катаев и Федор Абрамов. Леонова Кривицкий тут же вычеркнул:

— Сложный старик, Виктор Борисович, подождем...

— Катаев, Катаев... — продолжил он мучительно размышлять вслух.

— "Белеет парус одинокий", — решил я помочь ему, — помните, Евгений Алексеевич, какая чудесная книга?

Вошел Тер и, перегнувшись через спину Кривицкого, молча заглянул в список:

— "Трава забвения"? Катаев? — выразительно продекламировал он название последнего катаевокого романа.

— "Трава забвения", — мучительно морщил лоб Кривицкий и, вдруг улыбнувшись светлой мальчишеской улыбкой, решительно отложил список. — И с ним подождем! Верно, Артур Сергеевич? — взглянул он на Тера.

— Абсолютно! — прошамкал губами Тер. — Вы же знаете, Евгений Алексеевич, мою точку зрения. Вычеркнуть всегда лучше, чем вписать. От этого с инфарктом миокарда еще никто не слег.

Главный репликист газеты

В этой обстановке я и входил в жизнь газеты, точнее ее литературных отделов, или, как говорили здесь, "первой тетрадки".

Ведущими в первой тетрадке были два отдела: русской литературы и литературы народов СССР. Первым, как я уже писал, руководил Миша Синельников. Он был маленький, как гном, с мощным орлиным носом, и, кажется, ничего более несообразного в человеческом облике вообще нельзя было придумать.

У Миши было три главных предмета гордости — его русская жена, блондинка Алена, дочь полковника в отставке, его кот Степан, который, по Мишиным словам, был настоящим интеллектуалом. И, наконец, особый предмет Мишиной гордости — занимаемая им номенклатурная должность редактора отдела русской литературы.

Но, как говорили злые языки, в глазах Чака наибольшим признанием пользовался не его талант администратора и даже не его способности литературного критика, а его непревзойденное умение писать реплики по поводу произведений, которые хотели срочно изничтожить в ЦК.

В ЦК громили прежде всего "Новый мир" и новомировцев, и Миша усердно выступал против таких, как Твардовский, Каверин, Василь Быков... Это была не очень чистая, но, по убеждению Миши, очень ответственная работа. Свое черное дело Миша делал по прямым указаниям отдела пропаганды ЦК и под непосредственным руководством Чака. Делал он его в большом секрете и, как правило, в последнюю ночь перед выходом газеты. Наутро появлялся в редакции невыспавшийся, с огромными синяками под глазами, но втайне гордый исполненной миссией, потому что никто в редакции не удостаивался чести писать под личным руководством Чаковского.

Единственно неприятные минуты ему доставляли объяснения с сотрудниками, в глазах которых Мишина деятельность "репликиста" не вызывала особого уважения. И он, кому только возможно, пытался объяснить, что он сам так бы никогда не написал и что последнюю фразу ему вообще вставили там, на Старой площади.

— Я думаю, умный человек поймет, — обычно заключал Миша, — что от меня тут вообще мало что зависело. Написал я, как нужно было "там".

Подвело Мишу все-таки его еврейство. Точнее, еврейство вкупе с его бонапартовским честолюбием. Подобно старику из пушкинской "Сказки о золотой рыбке", Миша, потеряв всякое чувство меры, стал настаивать, чтобы его сделали членом редколлегии. Пошел к Чаковскому и положил ему на стол заявление об уходе по собственному желанию. По словам Миши, с Чаком чуть не случился инфаркт. Но как потом рассказывали секретарши Александра Борисовича, последний воспринял Мишин демарш довольно спокойно. Он сказал для приличия:

— Михаил Хананович, право, я не знаю, газета вас очень ценит, — но особенно уговаривать Мишу не стал и в тот же вечер написал на заявлении Синельникова: "Согласен".

А мне почему-то было жаль Мишу — не было в редакции большего трудяги, а у Чаковского — более преданного сотрудника. Но оказалось достаточно нескольких минут, чтобы он оказался за бортом. Кажется, тогда впервые я задумался над нравами "Литгазеты", где так много говорили о демократии и так просто увольняли сотрудников. Человека вызывали к Сыру, и тот, прощупывая его из-под линз очков, тотчас переходил к делу.

— Что-то у нас с вами не очень клеится? — то ли вопрошал, то ли отвечал сам себе Сыр. — Скажу откровенно, редколлегия ждала от вас другого. Сколько времени вам нужно, чтобы найти место? Три недели — месяц хватит? Садитесь и пишите заявление...

В отделе у Миши Синельникова был сотрудник, который досконально знал личную жизнь редактората и при случае никогда не отказывал себе в удовольствии позубоскалить по поводу того, чего бы мог лишиться Чак, если бы рискнул пропустить хорошую рецензию о ком-нибудь из новомировцев. Во-первых, кремлевки первой категории, дававшей право покупать продукты по ценам двадцатого или двадцать первого года (по данным этого сотрудника, они были в десять раз ниже существующих), во-вторых, двойного оклада перед отпуском, в-третьих, бесплатной путевки в санаторий ЦК или Совмина, в-четвертых, кремлевской больницы для себя и членов семьи, в-пятых, бесплатной дачи в любое время года... По его подсчетам, заработок Чаковского в четырнадцать раз превышал зарплату рядовых сотрудников.

Обычно "Литературная газета" выходила по средам. Но это для читателей. Фактически номер подписывался в понедельник ночью, и со вторника для редакции начиналась новая неделя. Во вторник в час дня проходила планерка, на которой председательствовал Чаковский, а если он отсутствовал (что случалось чаще всего), то всем руководил Сыр.

На планерке обычно говорили о последнем номере, как он шел, какой из отделов его задержал.

В бытность Миши Синельникова Александр Борисович обычно начинал с него. Каждый раз выяснялось, что реплику Миша давал с опозданием и именно из-за него задерживался номер.

— Михаил Хананович, так работать нельзя! — раздувал в волнении сигару Чак. — Вы когда получили мои последние замечания? В десять тридцать? А когда сдали материал? Пять минут двенадцатого! На две фразы тридцать пять минут!

— Нет, там было не две фразы, Александр Борисович, — пытался объяснить Миша, не решаясь напомнить Чаку, как все было на самом деле.

— Ну так три! Сколько вам надо на три? Час, два? — переходил на крик Чак. — Это же безрукость.

— Виноват, — соглашался Миша, понимая бесполезность дальнейшего спора, — к следующему номеру примем меры. — Но никаких мер Миша не принимал и принять не мог, и в следующий вторник все начиналось сначала.

Когда Синельников ушел, то всем стало доставаться поровну, исключая отдел информации, он был виноват всегда и во всем. И к тому же на него чаще всего шли жалобы.

Существовал целый свод неписаных правил, как надлежало писать о самих писателях. Упоминать их надо было строго по алфавиту, независимо от заслуг каждого. Если кто-то имел звание, то обязательно со званием — скажем, Герой Социалистического Труда такой-то или Герой Советского Союза такой-то. Если давался портрет одного, то рядом полагалось помещать портреты остальных. Если пропускали чей-то юбилей, то грозил скандал. Если не давали некролог о смерти, то грозил еще больший скандал.

Правда и ложь "Литературки"

Когда-то Николай Бердяев писал: "Чтобы понять ложь коммунизма, надо понять его правду".

Мне всегда было близко парадоксальное бердяевское мышление, помогающее понять в советской жизни многое, что до сих пор остается загадкой для Запада. Так вот, перефразируя Бердяева, вполне справедливо сказать: чтобы понять ложь "Литературной газеты", надо понять ее правду. А правда эта состояла в том, что впервые на страницах советской газеты вместо штампованных догм и истин появилось живое слово, живая полемика, живое столкновение взглядов, отрицаемое, казалось бы, всей системой советской идеологии.

Чтобы делать такую газету, разумеется, требовались отборные журналисты. И Сырокомский нашел их. Среди кого? Начиная с 1967 года, он пошел как бы со щупом по всем московским редакциям. Его не смущали фами-

лии: Агранович, Рубинов, Вельтман, Румер. Он искал выдумщиков и фантазеров, самых талантливых из всех, кто был, и сумел найти таких, ибо снял главное ограничение: "пятый пункт". И они, услышав вдруг невозможное: "Пишите, что хотите, но только чтобы это было интересно", сами добились невозможного — в условиях жесточайшей цензуры создали газету, которую увлеченно читали полтора миллиона советских интеллигентов.

Многие из них и сегодня работают в газете. Каждый день в половине одиннадцатого утра они входят в здание газеты и остаются в редакции до позднего вечера, до полуночи. Иные работают по 15 часов в сутки. За право работать в самой интересной газете евреям "Литературки" приходится недешево платить.

Но и сейчас для многих в СССР, даже для многих журналистов, остается загадкой: почему "Литературной газете" дозволено было то, что запрещено другим? Почему ее доверили делать еврею Чаковскому и дали ему исключительное право набирать в газету таких же евреев, как он сам?

Объяснить все это — значит объяснить ложь "Литературной газеты", а я не спешу это делать, как не спешила жизнь разрушить мои последние иллюзии, связанные с "Литературкой".

Однажды в кабинете Чаковского состоялась встреча отделов науки и экономики с заместителем председателя Государственного комитета по труду и заработной плате Борисом Михайловичем Сухаревским. Ввиду важности гостя помимо нас, сотрудников отдела науки и экономики, присутствовали Чаковский и Сырокомский.

Сухаревский сразу же избрал тон, какой обычно позволяют себе ответственные работники в узком кругу, где можно все вещи называть своими именами. Газета делает нужное и полезное дело, но одна из ее дискуссий — "Инженер по горизонтали и вертикали" — вызывает у него невольное чувство протеста. Зачем писать о недостаточной оплате инженерного труда и сеять у читателя несбыточные надежды, если их невозможно осуществить?

— Поймите, друзья, у государства нет денег, нет!

И далее он продолжал:

— На днях меня пригласил Леонид Ильич, чтобы посоветоваться, каким категориям работников необходимо прежде всего повысить заработную плату. Я сказал, что в наиболее несправедливом положении находятся учителя. Так вы знаете, что ответил Леонид Ильич? "Насчет учителей, может быть, вы и правы, но на всех у нас сейчас нет денег и повышать зарплату будем малооплачиваемым, а учителя подождут". Так зачем же, я спрашиваю, разжигать нездоровые настроения и писать о том, чего мы не в силах выполнить?

Казалось, здравый смысл на стороне Сухаревского: зачем в самом деле обещать то, что невозможно выполнить?

Но мы плохо знали Чаковского. Он взял слово вслед за Сухаревским, и одной только своей репликой, чем является "Литературная газета", тотчас вознесся на десять голов выше нашего именитого гостя.. И сам Сухаревский предстал перед нами тривиальным партийным догматиком рядом с философом Александром Борисовичем Чаковским.

Так вот, после выступления Сухаревского Чак сердечно поблагодарил его и сказал, что только по поводу одного момента позволит себе высказать свое соображение — стоит ли нам писать о зарплате инженеров. Чак закурил сигару и, одарив Сухаревского обворожительной улыбкой, которая появлялась на его лице-маске всякий раз, когда он чувствовал свое превосходство над собеседником, сказал:

— Видите ли, Борис Михайлович, вы совершенно правы, когда говорите, что мы обязаны считаться с возможностями государства, и мы, коммунисты, обязаны выполнять обещания, данные читателю. Но применительно к "Литературной газете" здесь есть одна чрезвычайно важная тонкость. Дело в том, что партия возложила на нас специфическую задачу, — и, погрузившись в сигарный дым, Чак продолжал: — Один раз в доверительной

беседе, которая была у меня с помощником Леонида Ильича, он остроумно заметил: "Вы, — сказал он, — у нас не обычная газета. Вы у нас вроде Гайд-Парка при социализме..." Ну, а кто бывал в Гайд-Парке, — развел руками Чаковский, — тот знает, что там каждый имеет право выступить, хотя правительству совсем не обязательно выполнять все, что предлагают в Гайд-Парке. Да, Борис Михайлович, мы все понимаем, что у государства сейчас нет достаточных средств, чтобы повысить заработную плату техническим специалистам, — лицо Чаковского стало серьезным, и на нем снова появилась нервная гримаса. — Но когда мы дискутируем проблему зарплаты — это не значит, что завтра же она должна быть повышена. Важно, чтобы читатель знал, что партия думает над этой проблемой, думает, как ее решить... и улучшить благосостояние народа.

Странная получилась вещь: то, о чем я лишь интуитивно догадывался и не в силах был выразить, с поразительной точностью высказал сам Чаковский.

Да, это была ложь, но не примитивная, тривиальная ложь "Правды", "Труда" или "Советских профсоюзов", призывающая своих читателей отдавать все силы очередной пятилетке. Это была ложь высшего свойства — не для масс, — для интеллигентного читателя.

Из номера в номер "Литгазета" вовлекала его в дискуссии, создавая иллюзию демократии, но это была демократия Гайд-Парка, нисколько не пугающая власти, зато уводящая читателя от реальных проблем советского общества. И сама личность Чаковского, администратора этого Гайд-Парка, была едва ли не самым полным и гармоничным его воплощением.

Александр Чаковский

В наш прагматический век все подвижнее становятся нравственные критерии. И более всего это относится к советскому обществу, где уже ничто не существует как самоценность: ни ум, ни талант, ни совесть человека...

Оттого и не хочу я при определении личности Чаковского пользоваться "обветшалыми" моральными категориями. Мне кажется, что в нем очень мало осталось от человека в привычном, традиционном смысле слова (разве только невыпускаемая изо рта сигара и нервный тик на лице). Он даже и внешне, со своими быстрыми машинными движениями, чем-то напоминал один из тех самых компьютеров, о которых так много писала "Литгазета", но которые все-таки выглядели жалкими и глупыми роботами рядом с Александром Борисовичем Чаковским.

Подобно компьютеру, он никогда не выдавал неправильных решений, он всегда точно знал, где, когда и о чем нужно сказать.

На партийных собраниях, где почти всегда присутствовал представитель отдела пропаганды, он редко увлекался славословиями в адрес членов Политбюро. Но я не помню случая, чтобы он забыл упомянуть о каждодневной дружеской помощи товарищей из аппарата ЦК. Вообще к "товарищам из аппарата" Александр Борисович относился с подлинным благоговением, порой переходящим в патологический страх.

Однажды на торжественном вечере в Центральном доме литераторов, посвященном 40-летию "Литературной газеты", Чаковский решил поднять тост за коллектив редакции. "Литературка" была награждена орденом Ленина, что, естественно, доставило Александру Борисовичу несказанную радость. В этот вечер он много выпил и, хотя сидел в окружении почти всего отдела пропаганды ЦК, позволил себе расслабиться. Он стал говорить о самоотверженности и бескорыстии журналистов "Литера¬турки" и даже решился назвать фамилии некоторых из них: Вельтман, Агранович, Рубинов... И в этот миг, по-видимому, невидимые биотоки, исходящие от "товарищей из ЦК", дошли до Александра Борисовича, и он мастерски, как это мог делать только он один, перестроился:

— Разумеется, мы, журналисты, немало сделали, но положа руку на сердце спросим себя: смогли бы мы этого

добиться, если бы каждый день, каждый час нам не помогали товарищи из отдела пропаганды?

И, забыв вдруг о своем порыве воздать должное коллективу, Александр Борисович предложил выпить за тех, благодаря кому "Литературная газета" стала любимой газетой советской интеллигенции. Зал был пьян, и никто не заметил случившейся неловкости. Все захлопали, и товарищи из отдела пропаганды тоже захлопали, хотя и не так громко, как все остальные, но достаточно благосклонно, чтобы Александр Борисович мог подойти к одному из них и в знак дружбы "Литгазеты" и ЦК при всех с ним расцеловаться.

Чаковского невозможно было поставить в тупик, его реакция была мгновенной, и в самых щекотливых ситуациях, где, казалось, ему уже нечего было ответить, он умел так повернуть спор, что оппонент его сам вдруг оказывался в тупике.

Однажды на редколлегии произошел беспрецедентный случай, когда попытался взбунтоваться заведующий отделом рецензирования Соломон Смоляницкий. То есть это был, конечно, своеобразный бунт. Просто Смоляницкий выступил против замалчивания "Литературной газетой" "Нового мира". У "Нового мира" столько читателей, а мы, сказал Смоляницкий, без конца пишем о "Нашем современнике" и "Молодой гвардии", которых никто не читает. На редколлегии присутствовал кто-то из секретарей Союза писателей, и уже по одному этому Чаковский не мог смолчать. Однако он и не мог отрицать популярности "Нового мира" и потому повернул разговор самым неожиданным образом.

— При чем тут количество читателей, Соломон Владимирович? — сказал он. — Следуя вашей логике, можно дойти до какой угодной чуши. Например, если я вам скажу, что в "Литгазете" большее число сотрудников, чем в "Труде", слушает "Голос Америки" и "Би-Би-Си", что вы мне ответите? Что в нашей редакции больше антисоветчиков? Хотя ребенку ясно, что если и больше слушают, то причина совсем в другом: в "Литературной газете" просто работают интеллигентные люди, а интеллигенции всегда было присуще стремление понять жизнь в ее противоречиях, и поэтому вполне очевидно, что передачи западных радиостанций для нее прежде всего материал для анализа и более углубленного познания западной действительности.

И совсем другим был Александр Борисович на редакционных вечерах. Собирались обычно в его кабинете, и он первый поднимал тост и обязательно при этом острил. Однажды он задержался в ЦК и опоздал к началу вечера. Все уже начали пить, но севший за общий стол, Александр Борисович ничуть не обиделся. Он поднялся с бокалом шампанского и сказал, что сегодняшний вечер явился для него откровением.

— Я уже давно убедился, что работать без главного редактора вы научились. — Александр Борисович намекал на свои полугодовые отсутствия в редакции, когда он сидел в Переделкино и писал свою нескончаемую "Блокаду". — Но сегодня я понял, что вы великолепно можете без меня отдыхать.

— Александр Борисович, как всегда, режет правду-матку, — не преминул заметить пьяный Сазонов.

— Можете считать себя уволенным, Резников! — весело крикнул Сырокомский (он на вечерах неизменно шутил о том, кого намерен уволить).

После застолья обычно шли в зал, и Александр Борисович усаживался за рояль и исполнял "Фрейлехс". Он играл, а кругом танцевали, по-еврейски, обняв кончиками пальцев лацканы пиджаков, словно в эти минуты хотели забыть обо всем — и о Солженицыне, которого считали гениальным и, не прекращая, травили со страниц "Литгазеты", и о событиях в Чехословакии, которыми восхищались и с тех же страниц предавали анафеме, и о самом Александре Борисовиче, который сейчас так великолепно

исполнял "Фрейлехс", а завтра снова превратится в грозного и неприступного Чака.*

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА

В литературе все просто. Взял и поставил точку. В середине повести. В середине жизни. А жизнь, между тем, шла и, пока мы о ней лукаво мудрствовали, настали другие времена. Другой стала и "Литгазета", давно утратившая в глазах читателя обаяние и жгучий к себе интерес. Изменились ее сотрудники, которые о ностальгической нежностью говорят об Александре Чаковском. Другим стал и я — не потому, что много лет уже сам редактор западного журнала, а просто таков порядок вещей — помните: "Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними!" В этом потоке времени (как его обозначить в свете происходящего?) выросло новое поколение. Новые взгляды. Новые ценности, и мир, поющий осанну демократии, кажется, больше не развивается по восходящей, а наплевав на все постулаты о прогрессе, летит, как оголтелый, в пропасть. Подтверждение етому — события в России, где так много поставлено с ног на голову. Прокляли коммунизм, а что получили? В каком направлении движется наша бойкая необгонимая тройка! И уж, коли из уст таких достойных людей, как Анатолий Рубинов, слышишь дифирамбы Чаку, воистину гению лицемерия, то невольно восклицаешь: "Господи, да что же это на нашей Родине делается? Что в ней что? Кто в ней кто? Или все так запуталось в вихре жизни, что и вопросы подобные задавать бессмысленно? Ответа все равно не последует."

*Из книги "Покинутая Россия.Журнал ист в закрытом обществе" Нью-Йорк, 1988

Юрий АВЕРБАХ

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Попытка портрета Михаила Ботвинника

Все мы в юности склонны создавать себе кумиров. Не был исключением и я. Как у большинства моих сверстников, пришедших в шахматы в тридцатые годы, кумиром моим был Михаил Ботвинник. С детства я восторгался им, часами мог просиживать над его партиями, учился на них. Память до сих пор сохранила, как в 1936 году, в пионерском лагере, в окружении таких же ребят, стоял я, затаив дыхание, у репродуктора, в ожидании новостей из английского городка Ноттингема, где наш Ботвинник сражался с чемпионом капиталистического мира.

Помню и день, как, став кандидатом в мастера, я впервые сел с ним за шахматную доску. Написал, как полагалось, на бланке: "Ботвинник", и не поверил себе Настолько не поверил, что, когда мой партнер отвернулся, ущипнул себя за руку. Неужели это не сон? Неужели я наяву играю один на один с Ботвинником? Можно представить, какую я испытывал гордость, сведя эту партию

на ничью. Когда я вернулся домой и рассказал о своем успехе отцу, он мне просто не хотел верить.

...Осень 1940 года. Идет XII чемпионат страны. Я учусь в вузе, но в шахматах теперь вся моя жизнь. Взявшись демонстрировать партии чемпионата, я снова рядом со своим кумиром. Участники соревнования тесно обступили стол, за которым играет Ботвинник, наблюдают за каждым его ходом, следят за каждым жестом. Но он замкнут, погружен в себя, мнителен, просит окружающих отодвинуться от стола. Его не покидают всякие подозрения, особенно, когда он узнает, что демонстраторы в своем большинстве кандидаты в мастера. Он требует, чтобы никто из нас не приближался к столу Смыслова. (По-видимому, во избежание того, чтобы тот не воспользовался чьей-то подсказкой.)

С начала тридцатых годов Ботвинник был признанным лидером советских шахмат, но в этом чемпионате он явно не оправдал надежды болельщиков, разделив с Болеславским пятое и шестое место. Впереди были не только победители турнира Бондаревский и Лилиенталь, но и совсем юный Смыслов, и даже новоиспеченный советский гражданин, эстонец Пауль Керес. (За несколько месяцев до турнира, как писали газеты, Эстония "добровольно вошла в дружную семью народов СССР".)

Могло показаться, что именно неудачи, постигшие Ботвинника на этом матче, и повлияли на его настроение, рождали в нем раздражение и подозрительность. Лишь позже я понял, что это были черты его характера, отчетливо проявившиеся в дни матча. Впрочем, довольно скоро проявились и другие его качества (о которых еще речь впереди), это — железная воля, умение идти к цели, сметая все на пути. Видимо, чувствуя, что его репутация сильнейшего шахматиста и претендента на мировое первенство покачнулась, он делает все для того, чтобы в начале 1941 года одержать победу в матч-турнире на звание абсолютного чемпиона СССР.

Кому, однако, пришло в голову устроить этот матч, спасший престиж Ботвинника? В своей книге "К достижению цели" он пишет, что инициатива матча принадлежала работнику тогдашнего Комитета по делам физкультуры В. Снегиреву. "Как ему удалось убедить начальство, не знаю", — пишет Ботвинник. Однако, упорно циркулировавшие по Москве слухи говорили, что дело это было решено совсем не Снегиревым, а секретарем Ленинградского обкома партии Ждановым, к которому обратился за поддержкой Ботвинник. Ему, Ботвиннику, как раз и пришла на ум мысль о необходимости матча, в котором он должен стать победителем. А победителей, как говорят, не судят.

Шли годы, росли авторитет и популярность Ботвинника. Помнится, в 1951 году я играл вместе с ним в XIX чемпионате страны. Теперь это был уже совсем другой человек, мало напоминающий Ботвинника 1940 года. Другим его, видимо, сделал высокий и никем не оспариваемый титул абсолютного чемпиона СССР. Ботвинник стал приветлив, охотно с нами общался, принимал участие в совместных анализах, шутил. Тогда я впервые обратил внимание на одну интересную черту его характера. Всякий раз, когда он кого-то обыгрывал, он тотчас находил в облике этого человека что-то симпатичное. "Ты заметила, Ганночка, — обратился он при мне к своей жене, — какие у Терпугова приятные, голубые глаза!" (Это о человеке, занявшем в турнире последнее место!)

В 1955 году, когда сборная наших шахматистов готовилась к матчу с американцами, Ботвинник предложил мне сыграть пару тренировочных партий. Я, разумеется, охотно согласился. Позже он часто меня приглашал быть его спаринг-партнером. За несколько лет мы сыграли около тридцати партий.

Поединки проходили у него на даче в Подмосковье Там я и жил. Режим дня у нас был следующим: утром, после завтрака, мы отправлялись на лыжах, проходили в среднем темпе часа полтора-два. Вернувшись, немного отдыхали, затем обедали. Играли после обеда, с 3-х до 8. Затем был ужин. После ужина немного анализировали партии, а перед сном снова гуляли. Во время тренировок

одно из непременных условий Ботвинника было — играть при включенном радио, как бы приблизив партию к реальной обстановке зрительного зала. Вот мы сидим за доской, раздумывая. Ритмично тикают часы. А из черной тарелки, висящей прямо над шахматным столиком, оглушающим потоком льется информация о трудовых успехах колхозников Подмосковья — о заготовке сена, надоях молока, уборке картофеля. После пяти часов игры под такой аккомпанемент я чувствовал себя совершенно обалдевшим. Идея играть под звуки радио сперва показалась мне вздорной. Но потом, когда я ближе узнал Ботвинника, то перестал этому удивляться. Это был человек, обладавший редкой способностью к самовнушению, может быть, к самогипнозу. Позднее, занявшись компьютерами, он даже ввел специальный термин "самопрограммирование". Если во время игры шум в турнирном зале начинал действовать ему на нервы, он убеждал себя: "Но я же специально тренировался против шума — значит, он мне мешать не должен!" И действительно, шум ему уже не мешал! Еще раньше, чтобы свыкнуться с курящими партнерами, Ботвинник играл тренировочные партии с Рагозиным, причем последний имел специальное задание его "обкуривать".

Таким был этот человек. Коньком его системы были постоянные тренировки. И не только на шахматной доске. Тренировки воли. Тренировки нервов. Я общался с ним многие годы. Но понять его характер, его сущность было далеко не просто. Поначалу он меня просто очаровал. Его взгляды, его суждения были нестандартны, оригинальны, иногда даже парадоксальны. Он рассуждал здраво, логично, стремился ухватить саму суть явлений. Наступившая в те годы "оттепель" давала все новую пищу для ума. И я любил его слушать. И обычно не прерывал. Но однажды попытался в чем-то возразить. И тотчас наткнулся на стену. Мои доводы его не интересовали: кажется, он считал свои суждения истиной в последней инстанции, мысли собеседника его не занимали вообще.

До меня, кроме уже упомянутого Рагозина, тренировочные партии с Ботвинником играл И.А. Кан. И тоже на даче. А в свободное от игры время ему приходилось выслушивать монологи чемпиона мира.

"Вы не можете себе представить, какой странный человек этот Кан, — сказал мне как-то Ботвинник. — Мы однажды мирно беседовали, как вдруг, ни с того, ни с сего, он надулся, ушел один в лес гулять и демонстративно не явился к обеду!"

Позднее я решил расспросить Илью Абрамовича об этой истории. Он едко заметил: "Ботвинник считает, что он — чемпион мира не только в шахматах, хотя во всем остальном он самый обыкновенный еврей!"

Вместе с Ботвинником я не раз бывал в гостях его "доброго гения" — первого заместителя председателя Госплана Д. Жмерина, опекавшего чемпиона мира. Приходит на память один вечер, когда семьями, вместе с Ботвинниками, мы встречали Новый год. Он был в ударе, выпили целую бутылку шампанского, хотя обычно он к алкоголю не притрагивался. Затем начались танцы. Михаил Моисеевич исполнил танец своей юности чарльстон, манерно и грациозно выделывая сложные па чарльстона. Я сказал, что никогда не подозревал в нем такого таланта. Слова эти он воспринял как должное и тут же похвастался, что однажды он танцевал с самой Улановой и даже она, сама Уланова, уступала ему в танце. Прав был Илья Абрамович Кан — он полагал себя чемпионом мира буквально во всем.

Возможно, это определяло его взгляды на мир, от которого он ничего путного не ждал. Отсюда, вероятно, и его отношение к людям, недоверие к ним, его вечная мнительность. Впрочем, в характере и поведении шахматиста такого ранга эти качества, возможно, объяснимы: за шахматной доской Ботвиннику приходилось разгадывать коварные замыслы противника, всегда быть начеку. Из такого рода жесточайшей борьбы, не знающей жалости, состояла вся его жизнь, — так что, возможно, и не стоило удивляться его параноидальной подозрительности. По крайней мере, в шахматных баталиях. Но что интересно — он таким же оставался в жизни. Однажды

в воскресенье жена приехала на дачу к Ботвинникам и привезла с собой торт, прямо из кафе "Националь", в те годы славившегося своими кондитерскими изделиями. Надо было видеть, с каким удовольствием принялись за торт сидящие за столом. Все — за исключением хозяина, который не рискнул даже прикоснуться к нему. Прошел день, и лишь за ужином, когда торт снова появился на столе, Ботвинник все же решил его отведать, убедившись, что все гости были в полном порядке.

Выше я писал о редкой целеустремленности Ботвинника — не обладая ею, он вряд ли смог бы достичь такого триумфа. Целеустремленность эта отличала не только Ботвинника-шахматиста, но не в меньшей мере Ботвинника-человека. Без этой железной воли, без этого таланта достигать всего, что задумано им, кажется, вообще, невозможно понять феномен Ботвинника. Как я уже говорил, если он ставил перед собой цель, не было силы, способной остановить его. И в этом смысле он всегда и везде оставался верен себе.

Вот история, рассказанная мне Д. Постниковым, бывшим в конце сороковых и пятидесятых годах заместителем председателя Комитета по физкультуре и курировавшим шахматы.

Став чемпионом мира, Ботвинник решил выстроить себе дачу. И не где-нибудь, а в одном из самых престижных мест Подмосковья — на Николиной горе, где в те годы проживали самые сливки интеллигенции — поэт С. Михалков, академик Л. Капица, писатель Ф. Панферов, авиаконструктор В. Мясищев...

Николина гора находится вблизи Москва-реки, в районе водоохранной зоны столицы и контролировалась тогда всемогущим Л. Берией.

Написав на его имя письмо, Ботвинник одновременно обратился к тогдашнему председателю Комитета физкультуры А. Аполлонову, генерал-полковнику госбезопасности, с просьбой о поддержке. Генерал в то время был "брошен" на спорт с целью его укрепления и был хорошо знаком с Берией.

Через некоторое время Аполлонов приказал Постникову

вызвать Ботвинника и сообщить, что Берия ему отказал. Постников пригласил Ботвинника и передал ему слова Аполлонова.

— Разрешите воспользоваться вашей "вертушкой", — неожиданно попросил Ботвинник. Получив согласие, быстро набрал номер. Было очевидно, что он готов к такому повороту событий и отступать не намерен.

В трубке послышался голос:

— У телефона Маленков. С кем я говорю?

— Здравствуйте, Георгий Максимилианович! Говорит чемпион мира Ботвинник. Прошу принять меня по небольшому вопросу.

(В то время — конец 40-х годов — Г. Маленков был одним из ближайших сподвижников Сталина.)

— Откуда вы звоните?

— Из Комитета по физкультуре.

— Через двадцать минут жду вас на Старой площади. Пропуск вам будет заказан.

История умалчивает о том, как протекал этот разговор, но через неделю в Комитет по физкультуре пришла телефонограмма. Ее содержание было следующим:

"По поводу заявления тов. Ботвинника М.М.

Министру лесного хозяйства тов. Орлову. Выделить столько-то кубометров леса для тов. Ботвинника М.М.

Министру путей сообщения тов. Бещеву. Обеспечить доставку леса до поселка Николина гора.

Председателю Моссовета тов. Попову. Выделить участок земли на Николиной горе для дачи тов. Ботвинника М.М.

Главному архитектурному управлению Моссовета. Представить тов. Ботвиннику М.М. стандартный проект дачи.

Все расходы за счет тов. Ботвинника М.М."

Но главное, конечно, была подпись — И. Сталин.

Так Ботвиннику удалось обыграть всемогущего Берию!

Сейчас, когда шахматная карьера Ботвинника давно уже стала достоянием истории, можно беспристрастно и объективно оценить его место в мировых шахматах. Несомненно, что с конца тридцатых по 1948 год, когда он

стал чемпионом мира, так сказать, "де юре", Ботвинник был сильнейшим шахматистом мира "де факто". Наиболее убедительно его превосходство проявилось, как мне кажется, на XIV чемпионате страны, в 1945 году, когда он победил, не проиграв ни одной партии и сделав всего четыре ничьи.

Завладев шахматной короной, Ботвинник занялся докторской диссертацией, а затем успешно ее защитил. Конечно, это прибавило ему респектабельности, но на три года вывело из игры. Перед началом его матча с Бронштейном (1951 г.) большинство любителей шахмат считало, что Ботвинник легко сокрушит претендента. Но на самом деле, лишь на финише ему удалось сравнять счет и сохранить звание чемпиона. Да и второй матч на мировое первенство со Смысловым (1954 г.), также закончившийся вничью, отчетливо показал, что Ботвинник утратил былое превосходство над конкурентами, стал, по его же собственным словам, только "первым среди равных". Перерыва в игре богиня шахмат Каисса ему не простила: его догнали представители более молодых поколений. Но в борьбе с молодежью Ботвинник проявил свое искусство добиваться цели. И, как всегда, искусство не только шахматное.

Так, в разработанных им же правилах розыгрыша первенства мира и утвержденных ФИДЕ в 1949 году был важный пункт о том, что в случае проигрыша матча претенденту, экс-чемпион сохраняет право участия в тройном матч-турнире вместе с новым чемпионом и претендентом. Никакого матча-реванша в этих правилах не было!

Но вот в 1956 году в Москве состоится очередной конгресс ФИДЕ, который принимает поистине "историческое" решение — отменяет предыдущий пункт и предоставляет чемпиону мира право на матч-реванш. А ведь итоги турнира претендентов уже известны, и все знают, что Ботвиннику предстоит второй раз встретиться со Смысловым.

Что же заставило ФИДЕ пойти на такую уступку чемпиону мира?

Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, какие еще решения принял конгресс. Зная хорошо тогдашнего президента ФИДЕ Фольке Рогарда, опытного политика и адвоката, могу сказать, что в своей деятельности он всегда стремился к сохранению паритета между нами и Западом. Так, например, когда присвоили звание гроссмейстера М. Талю, то одновременно дали этот титул А. Бисгайеру (США). И так во всем: если что-то дали Советскому Союзу, то что-то должны у него отнять. И вот, исходя из этого принципа, конгресс ограничивает число участников от одной страны (читай — от СССР — Ю.А.) цифрой четыре. Как позже дипломатично писал Ботвинник (в брошюре "Матч-реванш Смыслов — Ботвинник"): "Возникала "опасность", что все или почти все кандидаты могут представлять лишь одну страну — это могло снизить интерес к шахматам в остальном мире и причинить ущерб международной шахматной жизни".

Но так эта история выглядела лишь внешне, а подоплека ее была тесно связана с личными интересами Ботвинника, стремившегося изо всех сил сократить круг соперников, и, прежде всего, своих соотечественников. Именно они составляли главную для него угрозу. Известно, например, что из первого межзонального турнира 48 года в матч-турнир претендентов вышло девять шахматистов, шесть из которых представляли СССР. Из второго турнира 52 года вышло восемь шахматистов, пятеро были шахматистами Советского Союза. Та же картина наблюдалась в 55 году, когда из девяти претендентов, пять снова были шахматистами из СССР. То есть, статистика показывала довольно стабильное соотношение между нашими шахматистами и остальным миром в борьбе за мировое первенство. Логично было бы это соотношение узаконить. Между тем принимается решение уменьшить число "выходящих мест" из межзонального турнира до пяти. Именно это и наносит удар всем возможным претендентам и одновременно ограничивает число шахматистов от СССР. Естественно, в первую очередь это бьет по нашим наиболее талантливым гроссмейстерам. Вот один только пример: в матч-турнире претенден-

тов 1956 года было десять участников, шесть из них представляли СССР. И какие шесть — Смыслов, Керес, Бронштейн, Геллер, Петросян, Спасский. И вот решением ФИДЕ двое выпадали из игры! А на подходе были еще Таль и Корчной.

Как повлияло это решение на судьбу наших гроссмейстеров, видно на примере межзонального турнира в Портороже (Югославия). Четыре первых места на отборочном соревновании в СССР завоевали Таль, Петросян, Бронштейн и автор этих строк. Позади были Геллер, Спасский, Болеславский, Котов, Корчной, Полугаевский. Но так как Смыслов (экс-чемпион мира) и Керес (второе место в предыдущем турнире претендентов) имели персональное право на участие в межзональном турнире, то по новым правилам из нашей четверки претендентами могли стать только двое.

Вернувшись в Москву, Петросян, Бронштейн и я подали в Президиум Всесоюзной шахматной секции (позднее она стала именоваться более цивилизованно — федерация) заявление по поводу дискриминации советских шахматистов. Нас поддержал руководитель нашей делегации на межзональном турнире, тогдашний начальник отдела шахмат Комитета физкультуры Л. Абрамов. Мы, конечно, и предположить не могли, что эта дискриминация возникла по инициативе Ботвинника, который на заседании Президиума первым взял слово.

"Какое вы имели право поддержать заявление слабых гроссмейстеров? — обрушился он на Абрамова. — Ведь правила борьбы за первенство мира разработаны нами, и менять ничего нельзя. Стоит вынуть хотя бы один кирпич из возведенного нами здания, и оно рухнет, к радости Запада. А это не в наших интересах. Не в интересах Советского Союза!" — с пафосом закончил Ботвинник.

Итак, "что хорошо мне, то хорошо и нашей стране!" Эту мысль Ботвинник весьма откровенно выразил в статье "Без парадоксов", опубликованной в его книге "Аналитические и критические работы. Статьи, воспоминания": "В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными — в этом, вероятно, и заключается подлинное счастье. И я не был одинок — в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне действовать. Тогда и возникали конфликты".

Позже, в 1954 году, после того, как прошли два цикла соревнований по правилам, в основном, разработанным Ботвинником, он, как бы подводя итоги, не без гордости писал: "...впервые в шахматной истории была принята система для отбора кандидата, и впредь любой гроссмейстер, если он действительно силен, может завоевать право играть матч с чемпионом мира".

Чего стоила эта система, хорошо видно на примере Кереса. Уж он-то был достаточно силен, чтобы сыграть матч на первенство мира, но при существовавших правилах добиться этого так и не смог. А после того, как Запад предложил, в виде исключения, дать ему такую возможность (он четырежды был вторым в соревнованиях претендентов), то первыми выступили против наши представители в ФИДЕ! Когда же Кереса не стало, Ботвинник лицемерно признал: "Конечно, Паулю не повезло в его шахматной карьере. В другое время, вероятно, он стал бы чемпионом мира"... Чемпион мира хорошо знал, что у нас в стране везло только тем, чьи личные интересы совпадали с интересами общественными!

Несмотря на все попытки Ботвинника сохранить воздвигнутое им здание в неприкосновенности, конгресс ФИДЕ в Люксембурге (1959 год) отменил право чемпиона мира на матч-реванш, и члены конгресса признали, что сохранение звания в случае ничейного исхода матча + матч-реванш дают чемпиону слишком большие преимущества по сравнению с претендентом. Но, как известно, матчи претендентов играются и по сей день.

Перед тем, как уйти из шахмат, Ботвинник решил "хлопнуть дверью" и вызвал на матч рвавшегося тогда к званию чемпиона мира Роберта Фишера. Это было бы эффектным выходом из игры..., если бы матч состоялся. Переговоры шли довольно долго, но так ни к чему не привели.

Как показали дальнейшие события, этот матч американцу был уже не нужен.

В начале 60-х годов чемпион мира увлекся работой над шахматной программой для ЭВМ. Собираясь покинуть большие шахматы, он мечтает оставить свое "детище", которое окажется способным обыгрывать вместо него гроссмейстеров. Пошел он сугубо оригинальным путем, то есть, решил создать программу, которая будет думать, как шахматный мастер, то есть, как думает сам Ботвинник.

Наука до сих пор плохо разбирается в том, как работает человеческий мозг. Поэтому задача, поставленная им перед собой, оказалась невероятной трудности. Прошло уже более 30 лет, а его программа "Пионер" не работает до сих пор. Не случайно злые языки утверждают, что "Пионер" пора бы переименовывать в "Пенсионера". Не унывает один лишь сам создатель ЭВМ. Выступая в печати, он каждый раз объявляет, что его программа вот-вот будет готова, остались какие-то мелочи...

За 15 лет своего пребывания на шахматном троне с двумя годовыми перерывами Ботвинник, борясь за шахматную корону, сыграл пять матчей, два свел вничью (с Бронштейном и Смысловым) и три проиграл (Смыслову, Талю и Петросяну). Выиграл он только матчи-реванши (у Смыслова и Таля).

Матчи эти были внутренним делом нашей страны, и особых финансовых проблем в связи с их проведением не возникало. Шахматная секция, а позднее федерация, испрашивала через Комитет физкультуры у правительства деньги. Чемпион и претендент получали по нынешним меркам ничтожные призы в рублях, и все были довольны. Кстати, невелики были призы и в любых других соревнованиях.

Когда же Ботвинник прекратил борьбу за звание чемпиона, ситуация стала меняться, призы в турнирах и матчах пошли вверх. (В этом, между прочим, немалую роль сыграл Фишер, которого Спасский остроумно назвал "нашим председателем профсоюза".)

Особенно возросли ставки в матче Фишер-Спасский. Призовой фонд этого матча превысил двести тысяч долларов! Выяснилось, что за проигрыш Фишеру Спасский получил денег больше, чем Ботвинник, Смыслов, Таль и Петросян вместе взятые, завоевавшие звание чемпиона! Естественно, экс-чемпионы восприняли это без особой радости. Каждый из них мог считать, что его в свое время обделили. Но для Ботвинника это было просто ударом. Ведь он-то умел считать деньги, и ему, конечно, было горько сознавать, что за дело всей его жизни — создание советской шахматной школы — сливки теперь снимают другие. Недаром он однажды сказал, что полученные деньги Спасский должен отдать Комсомолу!

Отойдя от практики, Ботвинник стал проводить занятия с перспективными молодыми шахматистами. Через его руки прошли и Карпов, и Каспаров. Первого он не сразу признал, а второму предсказал большое будущее. Рассказывают, что он не одобрял решение Каспарова после смерти отца взять фамилию матери. "Вот я, например, не взял фамилию матери, когда отец нас оставил," — будто бы заявил он. А когда его спросили, какая была у матери фамилия, он ответил:

— Рабинович, но не в этом дело!

Разошлись мы с Ботвинником в 1959 году. Дело было так: я возвращался самолетом из Тбилиси в Москву, с очередного чемпионата страны. Вместе со мной летели Таль и его тренер А. Кобленц.

— У меня к тебе предложение, — обратился ко мне Кобленц, с которым у меня издавна были дружеские отношения. — Мы решили с Мишей предложить тебе принять участие в его подготовке к турниру претендентов, а на самом турнире быть его официальным секундантом.

Предложение поработать с Талем меня заинтересовало. Хотя никаких обязательств у меня перед Ботвинником не было, я все же решил для очистки совести с ним посоветоваться. Он меня выслушал, но ничего не сказал. Я понял его молчание как знак согласия и немедленно телеграфировал в Ригу, что принимаю предложение. Как же плохо я все-таки знал Ботвинника! Он воспринял мой поступок как измену и уже больше никогда не предлагал играть тренировочные партии.

Гайто ГАЗДАНОВ

Я ВСЕГДА ЖИЛ В НИЩЕТЕ, И ЭТО ДАВАЛО МНЕ БОГАТСТВО ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Слова эти, принадлежащие известному писателю-эмигранту Георгию Ивановичу Газданову, которого мы представляем читателю, лишь один мазок из поразительно богатой картины его жизни и творчества. Большую часть жизни он провел в Париже, где его имя пользовалось необыкновенной популярностью. "Остаться бы здесь и стать шофером такси, как героический Гайто Газданов", — говорил в начале 30-х годов Бабель Юрию Анненкову в предвидении своего трагического конца. Героический путь Газданова, в котором так тесно переплелись борьба за хлеб насущный с многолетним, упорным писательским трудом, оставившим заметный след в русской литературе, еще ждет своего исследователя. Вот лишь некоторые вехи его биографии. Родился в 1903 году в семье лесовода. Семнадцати лет идет сражаться против большевиков в белую армию. В 1920 году вместе с войсками Врангеля уезжает через Крым в Константинополь.

Зимой 23-го года перебирается в Париж, ведет здесь нищенское, полуголодное существование. С 1928 по 1952 год, почти четверть века, зарабатывает на жизнь ночным таксистом. Между 1926 и 1931 годов время от времени учится в Сорбонне, а с 1931 года под влиянием Осоргина вступает в одну из масонских лож Парижа, завоевав у публики широкую популярность своими философскими и религиозными выступлениями. В годы войны, несмотря на свою антисоветскую настроенность, участвует в движении Сопротивления. Последние годы работает в русском вещании радиостанции "Свобода". Гайто Газданов оставил после себя девять романов, 37 повестей и рассказов, большое количество блестящих эссе и статей.

Многие критики писали о влиянии на Газданова Пруста, другие ставили его имя рядом с Набоковым, третьи отмечали его связь с Кафкой, хотя даже поверхностное знакомство с его творческой манерой наталкивает на мысль о его самобытности. Проза его, отражающая сплав эпохи российского перелома и начала эмигрантского бытия, в своей основе автобиографична, и поток сознания в ней вытекает из его собственной жизни и его собственных литературных поисков. И если что-то и сближает его с Набоковым и Кафкой, то это его вживание в современную западно-европейскую традицию, делающую его одновременно и русским, и замечательным европейским писателем.

Пока на грудь не ляжет смерть

О Борисе Поплавском

Холодный парижский вечер, потом ночь задыхающегося предсмертного сна и две строки, которые не могли не вспомниться — строки, написанные в далеком предчувствии:

Пока на грудь и холодно и душно
Но ляжет смерть, как женщина в пальто...

Внешне все ясно и понятно: Монпарнас, наркотики и — "иначе это кончиться не могло". И можно было бы, только пожалев об этом, не задумываться более, если бы эта смерть не была гораздо значительнее и страшнее, чем она кажется. То, что Поплавского всегда тянуло в "эту среду", мы все давно знали. Зачем ему были нужны эти

люди, проводившие голодные ночи в кафе, не представлявшие, казалось бы, никакого интереса, эти псевдоинтеллектуальные нищие, не менее жалкие, чем парижские бродяги, ночующие под мостами? И все же Поплавский неизменно возвращался туда. Менялись его спутники, проходило время, а он все путешествовал туда же. Он любил, чтобы его слушали, хотя не мог не знать, что его Монпарнасу были недоступны его рассуждения с цитатами из Валери, Жида, Бергсона, и что его стихи были так же недоступны, как его рассуждения. И единственное, что могло сближать Поплавского с этими убогими людьми, это то, что и он, и они не врастали в жизнь; не знали ни крепкой любви, ни неразрываемой независимости некоторых человеческих отношений, ни того, как следовало бы жить и к чему следовало бы стремиться. Но "их" смерть не была бы утратой. Смерть же Поплавского, это не только то, что он ушел из жизни. Вместе с ним умолкла та последняя волна музыки, которую из всех своих современников слышал только он один. И еще: смерть Поплавского связана с неразрешимым вопросом последнего человеческого одиночества на земле. Он дорого заплатил за свою поэзию. Были ли люди, которые искренне и тепло любили Поплавского — были ли такие среди его многочисленных друзей и знакомых? Думаю, что нет; и это очень страшно.

Бедный Боб! Он всегда казался иностранцем — в любой среде, в которую попадал. Он всегда был — точно возвращающимся из фантастического путешествия, точно входящим в комнату или в кафе из ненаписанного романа Эдгара По. Так же странна была его неизменная манера носить костюм, представлявший собой смесь матросского и дорожного. И было неудивительно, что именно этот человек особенным, ни на чей другой непохожим голосом читал стихи, такие же необыкновенные, как он сам:

Вдруг возникнет на устах тромбона
Визг шаров, крутящихся во мгле,
Дико вскрикнет черная Мадонна,
Руки разметав в смертельном сне.
И сквозь жар ночной, священный, адный,

Сквозь лиловый дым, где пел кларнет,
Запорхает белый, беспощадный,
Снег, идущий миллионы лет.

Он носил глухие черные очки, совершенно скрывавшие его взгляд, и оттого, что не было видно его глаз, его улыбка была похожа на доверчивую улыбку слепого. Но однажды, я помню, он снял очки и я увидел, что у него были небольшие глаза, неулыбающиеся, очень чужие, и очень холодные. Он понимал гораздо больше, чем нужно; а любил, я думаю, меньше, чем следовало бы.

Я не знаю другого поэта, литературное происхождение которого было бы так легко определить. Поплавский неотделим от Эдгара По, Рэмбо, Бодлера, есть несколько нот в его стихах, которые отдаленно напоминают Блока. Поэзия была для него единственной стихией, в которой он не чувствовал себя, как рыба, выброшенная на берег. Если можно сказать, "он родился, чтобы быть поэтом", то к Поплавскому это применимо с абсолютной непогрешимостью — и этим он отличался от других. У него могли быть плохие стихи, неудачные строчки, но неуловимую для других музыку он слышал всегда. И в литературных спорах, которые он вел, часто крылось одно неискоренимое недоразумение, отделявшее его от его собеседников: он говорил о поэзии, они — о том, как пишут стихи.

В последние годы он иначе писал, чем раньше, как-то менее уверенно: он чувствовал, как глохнет вокруг него воздух. Это был результат той медленной катастрофы, которая привела к молчанию его ранних и лучших товарищей. Их имена известны всем в литературном кругу и неизвестны почти никому в широкой публике. Все они перестали писать — и вместе с тем каждому из них было что сказать. Но в том диком и глухом пространстве, которое их окружало, их слова не были бы услышаны. И они замолчали.

И Поплавский остался один. Своеобразный заговор визионеров, в котором он участвовал, вдруг разорвался и исчез. И его литературная обреченность стала еще

очевиднее, еще трагичнее: у него в жизни не было ничего, кроме искусства и холодного, невысказываемого понимания того, что это никому не нужно. Но вне искусства он не мог жить. И когда оно стало окончательно бессмысленно и невозможно, он умер.

О нем трудно писать еще и потому, что мысль о его смерти есть напоминание о нашей собственной судьбе, — нас, его товарищей и собратьев, всех тех, всегда несвоевременных людей, которые пишут бесполезные стихи и романы и не умеют ни заниматься коммерцией, ни устраивать собственные дела; ассоциация созерцателей и фантазеров, которым почти не остается места на земле. Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть — и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет; это не будет непременно физическая смерть, это может быть менее трагично; но ведь и то, что человек, посвятивший лучшее время своей жизни литературе, вынужден заниматься физическим трудом, это тоже смерть, разве что без гроба и панихиды. В этом никто не виноват, это, кажется, не может быть иначе. Но это чрезвычайно печально. И я, кажется, неправильно поступил, ставя глаголы в настоящем, а не в прошедшем времени; потому что большинство тех, с кем мы начинали нашу "жизнь в искусстве", для литературы уже умерли.

Мы были с Поплавским в кинематографе, оркестр играл неизвестную мне мелодию, в которой было какое-то давно знакомое и часто испытанное чувство, и я тщетно силился его вспомнить и определить.

— Слышите? — сказал Поплавский. — Правда, все время — точно уходит поезд?

Это было поймано мгновенно и сказано с предельной точностью. Его другие суждения, когда он давал себе труд задуматься, а не говорил подряд все, что приходит в голову, отличались такой же быстротой понимания.

Он был по-детски обидчив, необыкновенно чувствителен ко многим неважным вещам, мог огорчаться до слез, если в выходящем номере журнала не оказывалось места для его стихов. Его было легко купить — обещанием денег, напечатанием одного стихотворения — он соглашался на все. Были случаи, когда этим пользовались, и по отношению к Поплавскому это было особенно нехорошо.

Он меня спрашивал однажды:

— Скажите, вы согласились бы что-нибудь напечатать бесплатно, потому что это для искусства?

— Нет.

— А если бы вам не заплатили?

— Не знаю, я думаю, что это невозможно.

— Вот, а мне обещали заплатить, а потом ничего не дали, сказав, что это моя дань искусству; и предложили мне вместо гонорара подержанный костюм. Но он велик на меня, я не знаю, как быть.

Я помню, что не мог ему сразу ответить. Потом я стал объяснять, как, по-моему, следовало поступить. Он слушал, качал головой, затем сказал:

— Вы можете позволить себе известную независимость, а я не могу, вы знаете, я ведь материально совершенно не обеспечен.

И тогда внезапно я почувствовал к нему пронзительную жалость, такую, какую можно почувствовать к голодному ребенку или калеке. Помню, как сейчас, эту ночь, темную и прохладную, узкие и мрачные улицы Латинского квартала, по которым мы шли, и это чувство жалости. Этот человек с хорошими бицепсами, в то время 23-летний спортсмен, успевший понять многое из того, что и не снилось большинству его маститых и общепризнанных коллег, был в жизни совершенно беззащитен.

С деньгами он не умел обращаться. Когда они у него бывали — что случалось чрезвычайно редко, — он покупал граммофоны, испорченные пластинки, какие-то шпаги "необыкновенной гибкости", галстуки яркого цвета; если после покупок что-нибудь оставалось, он тратил это на Монпарнасе.

У Толстого есть где-то замечание о том, что человек не бывает умным или глупым, добрым или злым; он бывает иногда умным, иногда глупым, иногда добрым,

иногда злым. Если это применимо ко всем людям, то по отношению к Поплавскому возможность категоричной оценки исключена вовсе; он был сложнее и глубже, чем другие — иногда неподозреваемой сложностью и неподозреваемой глубиной. В нем было много непонятного на первый взгляд, как непонятна была та душевная холодность, с которой иногда он говорил о самых лирических своих стихах. Одно было несомненно: он знал вещи, которых не знали другие. Он почти ни о чем не успел сказать; остальное нам неизвестно, и, может быть, возможность понимания этого исчезла навсегда, как исчез навсегда Поплавский.

Теперь это сложное движение его необычной фантазии, его лирических и мгновенных постижений, весь этот мир флагов, морской синевы, Саломеи, матросов, ангелов, снега и тьмы — все это остановилось и никогда более не возобновится. И никто не вернет нам ни одной ноты этой музыки, которую мы так любили и которая кончилась его предсмертным хрипением.

На последней панихиде в жалкой церкви с цветными стеклами, на которых неумелой рукой нарисованы картины священного содержания, было множество народа. Кроме тех, кто знал Поплавского как человека и как поэта, были еще люди, неизбежно присутствующие на всех похоронах и панихидах и столь же обязательные, как гроб и яма в земле, и столь же неотделимые от мысли о чьей-либо смерти. Горели свечи, капал на руки горячий воск, брызги дождя долетали сквозь открытую дверь; и как всегда, было то чувство последней неповторимости, которое не в силах заставить забыть ни изменившиеся обстоятельства, ни время, ни даже личное счастье.

Он ушел из жизни обиженным и непонятым. Я не знаю, могли ли мы удержать его от этого смертельного ухода. Но что-то нужно было сделать — и мы этого не сделали.

Ушел Поплавский и вместе с ним — его постоянный бред: все море и корабли, и бесконечно длящийся бег далекого океана:

O Mort, vieux capitl'aine, Il est temps, levons l'ancre!
Ce pays nous ennule, o Mort! Appareillons!

И опять то же видение: ночь, холод, вода, огни — и последнее отплытие из тяжелой и смертельно скучной страны.

1935 г.

Я люблю на себя непохожих

Памяти Александра Гингера

Передо мной — недавно вышедшая книга стихов Александра Гингера "Сердце" с его фотографией, очень похожей: именно таким он был в эти последние месяцы своей жизни. То, что он решил поместить свой портрет в этой книге, и то, с какой нехарактерной для него энергией он занимался ее изданием, торопясь во что бы то ни стало ее закончить и выпустить, все это показывает, что он лучше, чем кто-нибудь, знал, что ему остается мало времени до перехода в иной мир, — перехода, которого он ждал со своим обычным спокойным мужеством.

Трудно найти нужные слова, чтобы сказать о жизни и смерти этого удивительного человека. Он был ни на кого не похож ни в чем, начиная с манеры говорить и кончая манерой одеваться. Его неожиданные, срывающиеся интонации и четкое разделение фраз в разговоре, фонетические подъемы и провалы в чтении стихов — так никто не говорил и не читал, кроме Гингера. И никто не одевался, как он. Зимой он носил вместо пальто какую-то удивительную накидку, сшитую по специальному заказу, похожую на шинели начала девятнадцатого века в России и, конечно, единственную в Париже. Под пиджаком плотной материи у него была клетчатая рубашка без галстука, на ногах башмаки с необыкновенно толстой подметкой, которые можно было купить только в одном магазине, в районе, где живут барышники и конюхи. И в таком виде он мог идти в гости, к друзьям или на литературный

вечер. Его лицо, резко некрасивое, нельзя было не запомнить. Его стихи — в этом тоже нельзя было ошибиться — было невозможно приписать кому-нибудь другому.

На прозаизмами богатой лире
Распространиться разрешите мне
О трех страстях, известных в этом мире.
О женщинах, о картах, о вине.

То, что он писал, никогда не было похоже на стихи кого бы то ни было из других поэтов. Он прекрасно знал поэзию — русскую и французскую, — к тому же в литературе у него был непогрешимый вкус, то, что в музыке называется абсолютным слухом. Но когда он сам начинал писать, это было так, как если бы никто до него никогда не сочинял рифмованных строк.

О нехорошем горе, несуразном
Ломаем перья, голосом поем...

Люди, недостаточно знавшие Гингера, не могли его понять. То, что было для него естественным, они считали деланным: — не говорят так люди, не одеваются так, не пишут, злоупотребляя архаическими словообразованиями:

Оттого-то широкораменный
Нам не люб низколобый атлет.

Но Гингер не притворялся и не искал оригинальности. Он просто не шел на компромиссы, на уступки: — одеваться надо так, в стихи не следует включать некоторые слова, уместные только в прозе. И в преломлении его восприятия все менялось и приобретало особый характер. Наш общий друг Р. как-то сказал ему, — это было давно, в тридцатых годах:

— Гингер, ты помнишь сказку Андерсена о солдате и огниве? Вот взял бы и написал об этом несколько слов. Через два дня, когда мы опять встретились, Гингер сказал Р.:

— Ты знаешь, я сочинил восемь строк. — И прочел:

И как бы немо иль гугниво
Не проходила жизнь моя.
Солдата и его огниво

Наверно не забуду я.
И помню, было три собаки
С глазами разных величин
Передник ведьмин у рубаки
И не боится нижний чин.

Не было человека, который бы относился и к самому себе, и к своему творчеству более объективно, который был бы более чужд той мании величия, которой — в той или иной степени — страдают почти все поэты и писатели. И за его внешними чудачествами, за всем тем, чем он так резко отличался от других, не всегда легко было угадать две основных его особенности: своеобразную, спокойную мудрость — я не могу найти другого слова — и столь же спокойное мужество.

Гингер бывал иногда, — это было до второй мировой войны, — у известного советского писателя, часто приезжавшего в Париж, которого он давно знал. Как-то он спросил меня, что я о нем думаю.

— Как о писателе, или как о человеке?

— И о том, и о другом.

— Писатель он, по-моему, плохой — сказал я. — А как к человеку, к нему можно, по-моему, только испытывать презрение.

Трудно передать выражение глаз Гингера. В них была мягкая насмешка, и за ней что-то очень далекое и неопределимое.

— Это все ваше душевное богатство? Больше у вас нет ничего по отношению к этому человеку?

— Кажется, нет, милый друг, — сказал я. — А у вас?

— Презрение к нему вещь понятная, — сказал он, — хотя вероятно, никого не надо презирать. Но я по отношению к нему испытываю еще жалость.

— Вы знаете, почему я буддист? — спросил он меня однажды. — Меня всегда привлекало это непрекращающееся пантеистическое движение, это понимание того, что ничто не важно и что важно все, этот синтез отрицания и утверждения, который дает нам единственную возможность гармонического видения мира. Собственно, не мира, а миров, которые возникают, исчезают, появля-

ются вновь в преображенном виде, и время — это только бессильный свидетель их бесконечного смещения. Я верю, что ничто не исчезнет бесследно. И если бы я в это не верил, если бы лучшие вещи в нашей жизни были обречены на безвозвратную гибель, было бы слишком трудно, слишком тягостно жить, вы не думаете?

Потом, перейдя на свой обычный шутливый тон, он прибавил:

— Меня удивляет, что вы об этом не думали, и что вы сами не чувствуете себя в какой-то степени буддистом. Вы же все-таки считаете себя человеком полуинтеллигентным, и мы с вами почти одновременно были в университете.

Четыре года германской оккупации Парижа, когда Гингер рисковал своей жизнью каждый день, дорого стоили всем его друзьям. Убедить Гингера в том, что он должен уехать из Парижа и уж во всяком случае не ходить по городу целыми днями, не было никакой возможности.

— Ах, все это ужасно преувеличено, — говорил он. — Я убежден, что меня не арестуют. Вы знаете, я недавно попал в облаву. Полицейский на меня посмотрел и потом буквально сказал мне следующее:

— Один ваш вид у меня вызывает отвращение. Уходите отсюда. — И я ушел.

Его приходили арестовывать четыре раза — и каждый раз совершенно случайно его не было дома. Иногда по городу распространялись слухи, что ночью может быть очередная облава на евреев. Тогда я заходил к Гингеру и уговаривал его ночевать у меня. Это происходило вечером. Гингер говорил жене, которая была в другой комнате, Анне Присмановой — она была христианка, и ей арест не угрожал:

— Аня, это опять пришел Газданов. Он уверен, что ночью может быть облава и предлагает мне ночевать у него. Что вы об этом думаете?

После долгих переговоров он соглашался и мы шли ко мне. — Откуда у вас эта суетливость? — говорил он по дороге, — и этот хронический страх? Вы должны быть

храбрее, вы же кавказец по происхождению. Правда, вы не родились на вершине какого-нибудь Казбека — это смягчающее обстоятельство. Кофе у вас утром будет? Я привык по утрам пить кофе.

Дня через три, встречая меня, он говорил:

— Вот я опять из-за вас провел ночь вне дома, а облавы никакой не было.

За несколько дней до взятия Парижа союзными войсками Гингер пришел ко мне и предложил идти играть на бильярде.

— Вы с ума сошли, — сказал я, — какой там бильярд? Вам надо теперь сидеть где-нибудь в подвале и ждать, пока уйдут немцы.

— Ах, эта ужасная ваша трусость, — сказал он. — Чего вы боитесь?

— Неужели вам нужно объяснять? Я не еврей, я ничем не рискую. Но вы способны когда-нибудь подумать о себе?

— Я тоже не еврей, — сказал он, — вы же знаете, что я буддист. Слушайте, тоска смертная, идем играть.

В конце концов я согласился и мы отправились в бильярдную. Кафе, где это происходило, было разделено на две части: в одной была стойка, за которой люди пили те сомнительные жидкие суррогаты, которые подавались в парижских кафе во времена оккупации, в другой — стоял бильярд. Мы начали играть — и буквально через 10 минут в кафе вошло несколько человек в немецкой военной форме: облава, гестапо. Они арестовали и увели около половины клиентов. Потом один из немцев заглянул в бильярдную, увидел Гингера и меня, молча посмотрел на нас и ушел.

— Видите, — сказал Гингер, — мой расчет был правильный. Что мог подумать этот человек? На это легко ответить: если эти два субъекта в такие дни террора и войны проводят время в бильярдной игре, то это значит, что они по всей вероятности не члены подпольной организации и уже наверное не евреи. Ну вот. А вы боялись.

Он был страстным игроком — всю свою жизнь.

— Многие не ценят Гумилева, — сказал он как-то. — А у него есть неплохие строки. Вы помните?

И в заплеванных тавернах
С поздней ночи до утра
Мечут ряд колод неверных
Завитые шулера.

Сам Гингер неоднократно писал об игре.

Вот изменяется чудесно
Несчастных сдач неправый ряд
Четыре дамы жмутся тесно
И о блаженстве говорят.

А масть приходит ежечасно
И квинту вражескую бьет
Мне внятен, Эрмий, шепот страстный.
Твоих судеб высокий ход.

— Я вероятно мог бы проиграть состояние, — говорил он. — Но это остается в сослагательном наклонении потому что у меня его никогда не было.

Он был человеком атлетического сложения, любил спорт, солнце, воздух — и так бесконечно тягостно было видеть его медленное угасание в последние месяцы его жизни, смотреть на его руки, которые стали худыми и тонкими, как у ребенка, на его потухшие свинцовые глаза. То, о чем он думал и говорил больше всего в эти дни, была его книга. Он точно хотел подвести итог своей жизни. И когда все, что связывало его с этим миром — одним из миров — постепенно стало уходить от него, то последнее, что оставалось, это была поэзия.

Средь ночи добровольно пленной
При поощреньи щедрой тьмы
Мы пишем письма всей вселенной,
Живым и мертвым пишем мы.

Мы пишем, как жених невесте,
Нам перебоев не унять.
Чужим и дальним шлем мы вести
О том, чего нельзя понять.

Мы прокричим, но не услышат,
Не вспыхнут и не возгорят,
Ответных писем не напишут
И с нами не заговорят.

Тогда о чем же ты хлопочешь,

Тонический отживший звон,
Зачем поешь, чего ты хочешь,
Куда из сердца рвешься вон?

О поэзии Гингера можно было бы, конечно, написать исследование и, вероятно, это будет когда-нибудь сделано. В общем, о ней надо сказать то же, что о нем самом — ни на кого не похоже, никто не был таким, никто не писал, как он. В ней не было соблазнительной легкости, не было пронзительных лирических нот, не было "красивости". Кто, кроме Гингера, мог бы написать, например:

Эстафетный бег являет взорам
Зрелище, которому найти
Невозможно равного: с которым,
Муза, не тебе ли по пути?

Муза, ты бродячему сюжету
Передачи факела верна.
Если ты о жизни скажешь свету.
Об огне ты говорить должна.

Или другое:

Я люблю на себя не похожих.
Пехотинца, месящего грязь,
Иль лубочного всадника тоже,
Под шрапнелью держащего связь.

Я знал Гингера без малого сорок лет — срок долгий для человеческой жизни, видел его в разных обстоятельствах, и он был одним из немногих людей, о которых можно сказать, что никакие испытания и никакие соблазны не заставят его изменить тому, о чем он никогда не говорил, но вне чего его нельзя было себе представить: мужество, верность в дружбе, душевная мягкость, которую он старался скрыть. Его суждения о людях были чаще всего неумолимо верны и ввести его в заблуждение было очень трудно, он знал цену всем, с кем его сталкивала судьба. Но он никогда не осуждал тех, кто явно заслуживал осуждения, сознавая свое органическое, если так можно сказать, превосходство над ними — превосходство, которое он упорно отрицал.

И вот наступили страшные дни, когда он понял, что он

обречен, и когда это поняли мы, его друзья. Он давно уже писал об этом.

Не так ли в зрении сердечном
Есть возрасты и времена?
Все переменно, все конечно
И жизнь по-разному смутна.

Но постоянно умозрима
Успокоительная ночь.
Случайное проходит мимо
Условное уходит прочь.

Дела отчаянья и розни
Бесповоротно отмети:
Ревнуй о том, чтоб к смерти поздней
С бесстрашным сердцем подойти.

В потухших его глазах, в неверном и слабом пожатии его руки, в которой не оставалось силы, чувствовалась последняя усталость, та усталость, за которой неминуемо следует смерть. Он уже не вставал с кровати — и ему больше не суждено было встать. Но то, чего в нем не было, это страха смерти. Он оставался наедине с ней, зная, что борьба невозможна, но я убежден, что того последнего, невыносимого ужаса, который вызывает приближение смерти, он не испытывал. И он ждал ее прихода с тем же непоколебимым душевным мужеством, с каким он прожил всю свою жизнь.

1966 г.

Из записных книжек

Зима, глубокая ночь, кафе на Монпарнасе. У стойки небритый, плохо одетый человек в пальто явно с чужого плеча — рукава длиннее рук, полы чуть не до земли. Перед ним пустая чашка, в которой был кофе. С ним спорит пожилая женщина в черном балахоне, похожая на заблудившуюся кухарку. В руках у нее клеенчатая сумка для провизии. Эта внешность однако обманчива: женщина занимается проституцией. Спор идет о том, какая из двух стран имеет право называться передовой — Франция или Россия. Женщина говорит на простонародном французском языке, ее собеседник с сильнейшим русским акцентом едва объясняется по-французски при помощи глаголов в неопределенном наклонении и существительных неизвестно какого рода. Исчерпав все свои аргументы (он доказывает, что Россия всегда была передовым государством, а Франция, как всем известно, страна отсталая), — он обращается ко мне за поддержкой. Отвечаю по-русски. Денег на вторую чашку кофе у него нет. Заказываю гарсону для него кофе с молоком и бутерброд. Он объясняет: — Я, знаете, временно без работы. — А что вы делали в России? — Командовал батареей. Моя фамилия Смирнов, полковник артиллерии. А здесь работаю электротехником. Но дело нерегулярное — работаешь — хорошо, а потом гуляй себе по улицам, если работы нет. — А где вы живете? — Где придется. До октября жил на кладбище, тут недалеко, там один знакомый предприниматель сдавал походные кровати с одеялами. А зимой холодно все-таки, потом, если дождь, тоже нехорошо.

Выпив кофе с молоком, съев бутерброд и закурив папиросу, полковник Смирнов говорит:

— Вы человек молодой, так что у вас, наверное, еще, может быть, есть какие-нибудь сомнения. А мы — наша песенка спета. Что осталось? Воспоминания и жизненная труха, ничего больше. История, как говорится, нам подложила свинью. И теперь я твердо знаю, в чем дело, и какая должна быть правильная философия.

— Какая же?

— А вот. Разная там политика, благо родины, такая партия, другая партия — все это барахло. Это еще Соломон понимал — дескать, суета сует и ничего больше. Единственное, что важно — это личная жизнь и ход времени.

Потом долго думает о чем-то и прибавляет, точно произносит цитату.

— И горячий взгляд женских глаз.

— Это вы откуда?

— Мои собственные слова только переделанные. Это

я такое стихотворение написал, когда был влюблен, еще в России.

— В размер как-то не укладывается.

— Ну, чудак вы человек, в стихотворении моем было иначе. Разве можно в стихах так выражаться: "и горячий взгляд женских глаз"? Это последняя проза, ерунда, ничего поэтического.

— А как же у вас было в стихотворении?

Он закрывает глаза и цитирует:

И пламенный взор твоих глаз.
Который в моих отражался.

Потом опять читает:

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот,
Какая дрожь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

— Но это уже не мое...

Мне почему-то неловко сказать, что я знаю эти стихи, Думаю о том, как все это нелепо: ночь, Париж, старый оборванец у стойки кафе цитирует Блока. Спрашиваю, не нужно ли ему денег?

— Конечно, нужно. Всем деньги нужны, даже Ротшильду или Рокфеллеру. Им даже больше, чем мне. Потому что, — что такое Ротшильд без денег? — дырка, ничто. А я — такой, как я есть, и с деньгами, и без денег. Спасибо за предложение, но я у вас не возьму. Обойдусь.

Проходит несколько дней — опять встречаю его у стойки, опять ночной разговор. Говорит он, я слушаю. Говорит о том, что воспоминания обычно неподвижны. И потом прибавляет:

— Но не всегда, конечно. Жил я не так давно в небольшом городке, здесь, во Франции. Работал на фабрике. И вот как-то выпил я и вышел за город, в поле. Солнце уже заходило, лето, тепло. И вот иду я, и что-то со мной странное, не могу понять. Потом останавливаюсь, оборачиваюсь и вижу: за мной, как в строю, беззвучно идут люди, десятки людей: товарищи, которые давно убиты, другие, о которых я ничего не знаю, — как будто

вот, я двигаюсь и вся моя жизнь волнами льется за мной. Ну, думаю, допился. Страшно было, знаете. Не дай Бог, когда воспоминания приходят в движение.

Так прошла зима. Я его встречал раз в неделю, раз в две недели, — все такой же, без работы, в том же пальто. Но крепкий человек, — ясные глаза, уверенный взгляд. Прошла весна, наступило лето. И вот однажды, совсем под утро, когда я вошел в кафе, он точно из-под земли вынырнул и оказался рядом со мной.

— Я вас всю ночь ждал. Предлагают работу в провинции. На билет, чтобы доехать, нужны деньги, там комнату снять и прожить неделю, — тоже надо заплатить. Помните, вы мне предлагали? Теперь я у вас могу попросить, — знаю, что верну.

Я дал ему деньги, он пожал мою руку, ушел — и пропал.

Проходили недели, месяцы, — как в воду канул. Опять наступила зима. И вот, как-то в январе иль феврале, я вошел ночью в кафе и увидел его: котелок, черное пальто, бритое лицо, воротничок, галстук.

— Разрешите вас приветствовать шампанским и, кстати, вернуть вам мой долг.

— Как работа?

— Ничего, благодарю вас. Провинция только, знаете, скучновато. Люблю Париж.

— Но зарабатываете-то вы прилично?

Пожимает плечами.

— Какое это имеет значение?

Мы вышли с ним из кафе, он небрежным жестом остановил проезжавшее такси — и уехал на вокзал.

А еще через полгода он опять появился — в таком же виде, в каком я его встретил первый раз.

— Что случилось?

— Да все то же самое. — Он морщится, ему явно неловко. — Как это в Библии сказано? "Возвращается ветер на круги своя". Сколько раз уже было. Живешь, работаешь. А потом, в один прекрасный день — вдруг та же самая мысль: для чего? И зальешься. А потом придешь в себя, — все ухнуло, все пошло к чертовой матери.

Потом полковник Смирнов снова исчез. Опять прошло много месяцев.. Однажды днем иду по бульвару Пор Руаяль, слышу, кто-то бежит за мной. Оборачиваюсь — он: и опять в совершенно приличном виде. — Нашел работу! — Где, какую? — Как всегда. Я ведь по специальности инженер-электротехник.

Об этом он мне сказал только на третий год знакомства.

Потом я видел его много раз. Он знал мой адрес и время от времени приходил ко мне. Как-то явился ранней осенью и сказал, что ему нужно тридцать франков.

— Можно узнать, почему именно тридцать?

Он посмотрел на меня, выражение глаз у него было такое, точно он смотрел куда-то вдаль. Потом сказал:

— До зарезу. Букет цветов, обед, комната в гостинице. Сегодня вечером из Ниццы приезжает Нина. Вы можете себе представить: Нина!

— Я не знал, что она приезжает. Простите, а кто такая Нина?

Он покачал головой и ответил:

— Этого вы никогда не поймете. Но без тридцати франков я не уйду.

Потом он вышел, потом опять позвонил и, не переступив порога, сказал:

— Никто так не умел любить, как она.

И бросился бегом вниз по лестнице.

* * *

В трудные времена, первые послевоенные годы, звонок; отворяю дверь, на пороге высокий, очень пожилой человек. — Разрешите войти? — Пожалуйста. — Он курит папиросу с длинным мундштуком. Когда начинает говорить, у него все время то съезжают, то поднимаются вверх плохо сделанные вставные зубы какого-то редкого лиловатого цвета. Через некоторое время выясняется, что он ошибся адресом — он думал, что я имею какое-то отношение к благотворительному обществу. — Нет, я никакого отношения к благотворительным организациям

не имею. — Но у вас есть знакомства? — Конечно, у кого их нет? — Так вот, дело в следующем... За этим идет длиннейший рассказ о его жизни. Он бывший присяжный поверенный, что, впрочем, видно по его любви к метафорическому стилю: "в вихре революционных событий", "в огне гражданской войны", "на фоне этой исторической трагедии". Вспоминаю фразу, которую я читал в Воспоминаниях какого-то знаменитого адвоката, что-то вроде этого: "И на мрачном фоне зарождающейся реформы ярко горела персональным факелом индивидуальная совесть молодого помощника присяжного поверенного..." Словом, "жизнь прошла". В подтверждение этого он приводит цитату в стихах. Средств никаких. Сын его давно в Америке, но денег не присылает и на письма не отвечает. Нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Даю адрес благотворительной организации, который случайно знаю. Он благодарит и уходит.

А через несколько месяцев является опять, такой же длинный, с тем же мундштуком, с тем же выражением глаз — Вы знаете, я всегда любил Ривьеру. Мне надо жить на Ривьере. Климат для меня подходящий, у меня больное сердца, тяжелый груз личных воспоминаний, как у всех, кого волны жестоко трепали в житейском море. Кроме того, боли в желудке, вы сами понимаете. Надо что-то сделать. Необходимо поехать на Ривьеру, там нужна комната с минимальными удобствами, питание, одежда. Что вы думаете? Как нужно действовать? — Не знаю, как вам помочь. — Он вздыхает и говорит:

— Я давно пришел к убеждению, что энергия побеждает в жизни все. Я всегда надеялся только на свою собственную энергию, и вот, смотрите, другой бы на моем месте, может быть, давно умер, а я жив, и у меня даже сын в Америке — а какой с него толк? Ну, простите, что я вас побеспокоил. Я бедный человек, вы знаете, бедный, старый человек, и все, что у меня осталось, это немного воспоминаний и немного энергии. Но разве на это можно прожить и поехать на Ривьеру?

Ничего не могу сказать о его воспоминаниях. Но если

у него их столько же, сколько энергии, он мог бы написать много томов. Он обходит все благотворительные общества, по многу раз рассказывает свою жизнь, объясняет, что у него боли в желудке, говорит, что он любил Ривьеру еще до первой мировой войны, что ему так мало надо, и в конце концов добивается своего: ему дают деньги на дорогу, на комнату, на жизнь, и он уезжает наконец в Juan les Pins, где поселяется в гостинице. И, прожив там два месяца, скоропостижно умирает.

* * *

37-38 год, опять зима, ночь и то же кафе против монпарнасского вокзала, в котором я бывал много лет подряд и где знал всех, начиная с хозяйки и гарсонов и кончая посетителями, очень малопочтенными: сутенеры, проститутки, воры. Время от времени перед кафе останавливаются полицейские машины. Это — облава: обычно в несколько минут забирают почти всех. И потом в кафе остаются четверо: хозяйка, гарсон, мой собеседник, которого я описал в книге "Ночные дороги" под именем Платона, и я. А на следующую ночь кафе опять полно — отпущенные посетители возвращаются.

И вот, раза два в неделю в кафе ночью приходит небольшой человек лет тридцати, с неизменно грустными глазами, хмуро глядящими из-под кепки. У него покатые плечи и удивительные руки, руки музыканта или гравера. Приходит он всегда в перчатках и только потом их снимает. Мы знаем друг друга уже несколько лет. Разговорчивостью он не отличается — здравствуй, как поживаешь? как дела? Пьет, в отличие от других, не коньяк, не вино, а пиво. Зовут его Дэдэ.

Как-то раз я спросил его:

— Почему ты всегда такой грустный?

— Я?

— Ты.

— Я? Грустный? Если бы ты занимался моим ремеслом, тоже был бы грустный.

— А какое твое ремесло?

Он смотрит на меня недоверчиво.

— Хочешь сказать, что не знаешь?

— Понятия не имею.

— Смеешься?

Мне удается его убедить, что я действительно не знаю, каким ремеслом он занимается.

— Тебе повезло с работой, — говорит он, — а моя — хуже не бывает.

И он объясняет мне, что по специальности он взломщик несгораемых шкафов.

— Выгодное дело, — говорю я.

Он начинает сердиться.

— Выгодное дело! Не говори о том, чего не знаешь. Я бы на тебя посмотрел, если бы ты этим занимался. Попробуй и увидишь выгоду.

— Хорошо, — говорю я, — предположим, ты вскрыл, скажем, где-то там шкаф. В нем на миллион драгоценностей. Сколько ты на этом заработаешь?

— А сколько ты думаешь?

— Не знаю, тысяч шестьсот, пятьсот?

Он качает головой. Ему жаль меня, моего невежества. И он насмешливо спрашивает, верю ли я в деда мороза?

— Почему? Меньше половины?

— А восемьдесят тысяч не хочешь? Да-да, восемьдесят тысяч. Ты не понимаешь, не понесу же я товар (все, что он достает из вскрытых несгораемых шкафов, он называет товаром) на rue de la Paix? Тогда лучше прямо в тюрьму. Значит, надо нести к скупщику. А он что говорит? Это товар ненадежный, я у тебя его возьму только по дружбе, потому что у меня доброе сердце, и я знаю, ты хороший парень, и не забудь, на какой риск я иду...

Дэдэ смотрит на меня сердито и говорит с упреком:

— А работа, это ты не считаешь? А инструменты? а расходы? а время на подготовку дела? А ты спрашиваешь, почему я грустный.

И потом, посасывая холодное пиво, он говорит нравоучительно:

— Так-то, брат, устроена жизнь. Одним везет, другим нет. Есть люди, которым суждено быть счастливыми, а есть такие, как я. От работы я не отказываюсь, никто не скажет, что я лентяй. Но есть люди, у которых всегда много денег и которые никогда не работают, а есть, как я, которые всегда работают и всегда в дураках.

Он говорит на непереводимом французском языке, смесь простонародного говора с арго. "Total — j'suis toujours chocolat".

— Теперь понимаешь, почему я грустный?

* * *

Я жил в Париже на четвертом этаже тихого дома, такого тихого, что иногда казалось, будто он населен покойниками, к которым никто никогда не приходил. И только в течение двух или трех недель, каждый год, в марте месяце, на лестницах дома стояли — один в затылок другому — молчаливые люди самого разного вида — молодые, пожилые, женщины и мужчины. Они появлялись в марте — и исчезали потом на год. Весной следующего года они опять появлялись — и по неумолимой точности того периода, когда это происходило, это напоминало миграцию угрей или перелеты птиц. — Что это за люди? — спросил я как-то одного из моих соседей — его фамилия была Лавиль. — служащего в министерстве финансов. — Как, вы не знаете? Это клиенты mademoiselle Blanche, которая живет на третьем этаже, под вами. — А кто такая mlle Blanche? — Как, вы и этого не знаете? Mlle Blanche, которую я видел каждый день, но имени которой я действительно не знал, была тихая женщина с постоянным выражением испуга и тревоги на лице. Но, как мне это объяснил Лавиль в своей специальности она была несравненна. Она служила раньше в налоговом ведомстве, затем оттуда ушла и теперь занималась заполнением налоговых листов тем, кто к ней обращался. Она знала все правила, по которым эти листы должны были составляться. Ее налоговые листы были верхом

искусства и, по словам служащего министерства финансов, их составление приносило ежегодно значительный убыток налоговому ведомству Франции. Он рассказал мне историю жизни mlle Blanche, довольно печальную, главное событие которой заключалось в том, что в свое время ее непосредственный начальник по службе обещал на ней жениться, но обещания не сдержал и женился на другой. Именно это определило всю дальнейшую жизнь mlle Blanche и ее профессию. То, что она делала, было, в конце концов, своего рода возмездием за то, что произошло во время ее службы в налоговом ведомстве. Никакие логические соображения не играли в этом никакой роли — ни тот факт, что налоговое ведомство нельзя было обвинить в том, что один из его служащих не выполнил своего обещания жениться на ней, ни то, что этот человек был несчастен в своей семейной жизни, спился и умер от цирроза печени, ни то, что все это происходило тридцать лет тому назад. Ничто не могло удержать ее от какого-то бессмысленного стремления к воображаемому торжеству справедливости, которое она — непостижимым образом — находила в рядах цифр и вычислениях, цель которых состояла в том, чтобы лишить французское налоговое ведомство известных сумм, на которые оно рассчитывало.

Все это продолжалось много лет. И вот однажды наступил март месяц и я с удивлением заметил, что лестница дома, где я жил, так же тиха и пустынна, как всегда. Клиенты mlle Blanche исчезли. — Что случилось? — спросил я Лавиля. — Налоговое ведомство перестало существовать? Mlle Blanche заболела? — Нет, она, слава Богу, здорова, — сказал он, — и налоговое ведомство, увы, продолжает существовать. Но mlle Blanche больше не занимается составлением налоговых листов, и для ее клиентов это катастрофа. Она недавно вышла замуж — вас в это время не было в Париже — и теперь она берет на дом бухгалтерскую работу. Mlle Blanche действительно вышла замуж за одного из своих клиентов, государственного служащего в отставке, некоего мсье Франсуа, очень

тихого и мирного человека, который жил на покое, собирая гравюры восемнадцатого столетия и покупая иногда у старьевщиков какие-то фарфоровые статуэтки, пострадавшие от времени, или предметы, вышедшие из употребления, вроде бронзовых щипцов для завивки волос на париках. Этот брак mlle Blanche, который, казалось бы, не должен был внести никаких изменений в чью бы то ни было жизнь, — кроме жизни ее мужа, — повлек за собой довольно значительные экономические последствия, отрицательные для ее бывших клиентов и положительные для французского министерства финансов. Это было запоздалым реваншем mlle Blanche против того, что произошло тридцать лет назад по вине человека, служившего в налоговом ведомстве. Теперь и он, и его служба, и дальнейшая его судьба, все это потеряло значение, все это растворилось в том, о чем Лавиль мне сказал:

— Как после этого можно отрицать важность некоторых эмоциональных явлений, в глубине которых безвозвратно тонут воспоминания, определившие долгие годы жизни тех или иных людей, в частности, mlle Blanche?

1961—1967 гг.

Мартын Расколинос

Рассказ

В таверне Великого Тюренна погибший музыкант Росиньоль, старик с зеленым лицом и дремучей бородой, много лет тому назад спившийся неудачник, играл, как обычно, на гармошке; и Анюта Привлекательный танцевал с мечтательной Маргаритой все один и тот же танец; Анюта грустил и задумывался. Маргарита закрывала глаза, хозяин таверны читал Диккенса и безмолвно трясся от смеха — и все шло, как всегда; уже разгорался спор между двумя завсегдатаями таверны, из которых один был толстый, а другой худой, и худой каждый вечер упрекал толстого за безделье и называл его глупым пузырем; уже свирепела за стойкой суровая родственница хозяина, недавно приехавшая из провинции; уже плакал фистулой громадный Жан, грузчик с центрального рынка; уже калека, прислуживающий посетителям, принес Росиньолю бутылку красного вина и каменный сандвич с

лошадиным мясом; уже сестра Маргариты Андрэ — с белой кожей и бешеными глазами, собиралась заказывать третий стакан кофе с коньяком; и, конечно, через две или три минуты завязалась бы ежедневная драка, и еще через полчаса хозяин, отложив "Оливера Твиста", обходил бы гостей, собирая деньги за разбитую посуду и жалуясь на трудное ремесло, — как вдруг на пороге двери показался святой Мартын. Росиньоль тотчас прервал музыку и в таверне наступила тишина; только газ шипел в белых лампах и хозяйский дог повизгивал под стойкой.

Святой был одет в новый черный костюм; на ногах его были шелковые носки нежного цвета, белая рубашка блестела; и только неожиданное выражение его маленьких глаз свидетельствовало о том, что состояние необыкновенного духовного напряжения, в котором он находился постоянно, сменилось внезапной усталостью и тоской. Он отозвал Анюту Привлекательного в сторону, сказал ему несколько слов и ушел; и шум в Великом Тюренне возобновился с прежней силой. Я сидел в углу один; свет лампы отражался в сладкой малиновой жидкости моего стакана. Я просидел довольно долго, думая о странной судьбе святого Мартына; и когда я ушел домой, на улицах уже гремели утренние грузовики и толпы нищих шли к площади Бастилии.

* * *

Мартын Расколинос не был, собственно говоря, юродивым; но сектантская, изуверская его кровь все же изредка давала себя чувствовать. Дед его был сначала раскольником-старообрядцем, потом хлыстом, сосланным на поселение; отец Мартына был пьяницей-столяром; матери Мартын не помнил. Он был тихим мальчиком, хилым, но живучим — и до пятнадцати лет почти ничем не отличался от своих сверстников. На шестнадцатом году его жизни, в воскресенье, в церкви с ним случился истерический припадок. С этого дня он стал еще тише, еще уединеннее, а через несколько месяцев сбежал из дому, поступил в монастырь и оставался в нем до революции.

Он не уклонялся ни от какой работы, не нарушал поста, не испытывал мирских соблазнов; и его не тянуло в город, как других. Монах, работавший вместе с ним, чернобородый Герасим, лентяй и женолюб, как назвал его однажды игумен, говорил Мартыну, густо вздыхая:

— Невинный ты человек, Мартын. В спячке живешь, как медведь. Но был неправ: Мартын, несомненно, носил в себе бессознательную силу глубокой веры. В общении с

людьми он был добр и прост, как ребенок; и однажды, когда в монастыре поймали Тишку-вора, — жулика, развратника, бродягу и негодяя, укравшего у Мартына деньги, — Расколинос, узнав, что Тишку велено бить до смерти, — хоть дело и происходило в монастыре, — пошел к игумену и умолял его отпустить несчастного и даже ссылался на евангельские тексты. Тишку все-таки избили до бесчувствия. Расколинос долго смотрел на неподвижное тело Тишки, на его изменившееся, залитое кровью лицо, — и вдруг почувствовал себя необыкновенно одиноким, словно оставленным ночью в лесу, вдалеке от всех.

* * *

Поздней зимой тысяча девятьсот семнадцатого года по глухим улицам, мимо черных нищих домов, солдаты красной гвардии гнали плетками мобилизованных монахов, среди которых находился и Мартын. Монахи шли с непривычной для них быстротой, сопровождаемые свистками озорных мальчишек и смехом городских мещанок, прятавших озябшие руки под теплыми платками. Их привели на окраину города, разместили в казарме, кишащей крысами, и поставили караул. Ночью Расколинос вышел на улицу, не замеченный задремавшим часовым, выбрался за город и шагал по полю до тех пор, пока не дошел до небольшой деревушки, где прожил, скрываясь, некоторое время. Потом он поехал к своим родственникам, жившим в Полтавской губернии, — и там опять был мобилизован, на этот раз приказом одного из генералов, командовавших противоправительственными войсками. Так Мартын попал в белую армию; но он не хотел воевать, не брал в руки винтовки и в тяжелой батарее, куда он был назначен, ухитрился заняться столярным ремеслом: делал солдатам сундучки. Целый день он работал над визжащими досками, поднимая изредка маленькие глаза и гнусаво распевая псалмы, а вечером читал библию, крестился и прижимал ко лбу громадные, изувеченные работой пальцы. Тонкие брови Расколиноса поднимались, доходя почти до редких волос над лбом. — Святый Боже, — говорил он, — святый крепкий, господи, помилуй, пресвятая Богородица.

Так Расколинос жил до тех пор, пока не началось последнее отступление белой армии. Тысячи лошадей, солдат и повозок, топча мерзлую, звонкую землю, быстро двигались к югу, и в ледяном воздухе далеко была видна и слышна эта сплошная масса, состоявшая из вздрагивающих лошадиных кож, синих и красных от холода

человеческих лиц и тревожно дребезжавших железных ободьев колес. Мартын отступал вместе с другими.

В день эвакуации южных армий из Крыма он стоял на пристани в длинной очереди людей, ожидавших парохода. На деревянном помосте пристани происходила давка, людей сталкивали в воду, плакали женщины; кто-то вслух рассуждал — ведь из России, господа, уезжаем, — сначала на пароход попади, потом уезжать будешь — отвечали ему из толпы. — Блаженны есте, егда поносят вас, — вдруг твердо сказал Расколинос. Люди, уставшие от ожидания, повернули к нему головы. Он перекрестился и запел, сам не зная почему, молитву Ефрема Сирина. Он продолжал петь молитвы и кланяться до той минуты, пока, стоя уже на пароходе, не увидел огненный туман горящего города. И только когда пароход неслышно сдвинулся с места и вышел в море, и сверкающие фосфорические линии скользнули за его кормой, Расколинос всхлипнул, опустился на узелок со своими вещами и тотчас заснул, глубоко вздыхая.

* * *

За границей он попал в Сербию и жил там довольно долго — до тех пор, пока его не уговорили поехать во Францию. Он приехал в Париж и потерялся — в маленьких улицах окраины, где он поселился, — в фабричных мастерских, в шуме и грохоте; и только через полгода работы, сшив себе синий костюм и кипу рубах, воротничков и галстуков, он решился, наконец, выйти в город. Он появился на avenue d'Orleans; рассматривал витрины магазинов белья, рыбные лавки, выставляющие чудовищных омаров, и лотки уличных торговцев, продающих самый разнообразный товар. И однажды вечером он случайно попал в самое большое кафе Монпарнаса.

Париж жил, как всегда, блистая и светясь красными рекламами, остановившимися в холодном небе; танцевали огоньки папирос, отражаясь в стеклах кафе; за вращающимися дверьми, вдоль столиков, стульев и диванов красного дерева медленно плясали, как шарики, подбрасываемые фонтанами, звуки оркестров, игравших лирические фокстроты; и свет белых, квадратных ламп печально лился на лысины; множество женщин с нарисованными лицами и смешанным выражением напряженности и презрения в глазах проносили мимо мужчин свои груди, свои меха; они, казалось, собирали в себе, они сгущали те мутные облака заблудившихся чувств, которые стелились по полу, как слишком тяжелые газы. Стучал мертвым, коротким звуком блестящий цинк длинной стойки, перед которой стояли высокие табуретки; и пья-

ная англичанка с удивленными бровями засыпала на плече чьего-то смокинга, видавшего виды и неоднократно залитого жиром; и светлая пыль электричества наполняла обессиленный воздух, в котором вились синие струи папиросного дыма, похожие на синие реки, плывущие по карте Европы. И под этими неверными электрическими облаками, сквозь залах духов и радугу жидкостей я увидел монаха Расколиноса. В синем костюме и мягкой шляпе, с губами, сжатыми той особенной, церковной кокетливостью, с которой сжимают губы святые на иконах, он медленно продвигался в толпе; за ним шла проснувшаяся англичанка, которую сопровождал худощавый субъект в котелке, беспрестанно улыбавшийся. Они исчезли, мелькнув в стеклянной двери, и сквозь окно было видно, как шляпа монаха медленно покачивалась в воздухе, не двигаясь ни вперед, ни назад, точно монах стоял на палубе громадного парохода, под которым глухо плачет и плещется ночная океанская зыбь.

* * *

Антон Васильевич Привлекательный — его повсюду преследовало женское прозвище Анюта — был одним из тех талантливых бездельников, родиной которых всегда оставалась Россия. Он умел делать решительно все: танцевать, гладить, стряпать, петь, читать вслух, даже вышивать, даже писать стихи. Все давалось ему с необычайной легкостью; ничему не учившись, он многое знал и помнил. Он был красив, весел и щедр, был изобретателен и насмешлив — и хорошо знал себе цену; и прекрасно понимал, что жить, как следует, ему не позволяют два недостатка: лень и сладострастие. В этом он был неисправим.

Он переменил множество профессий и мест, но нигде подолгу не задерживался. Служа в большой парижской прачечной, он соблазнил хозяйку, скупую и дерзкую француженку; она забросила свои дела и углубилась с Анютой в монмартрские рестораны — и через четыре месяца осталась без денег, без прачечной и без Анюты, который неожиданно и совершенно бесследно исчез. После долгих поисков она нашла его в небольшом кафе, куда он нанялся играть вечерами на пианино. Француженка, сразу обмякшая и опустившаяся после потери всего своего состояния, долго плакала под Анютину игру; и так как Анюта по контракту имел право требовать в кафе какие угодно напитки, то он спаивал ее и напивался сам почти ежедневно; и к концу вечера его пианино издавало такие странные звуки, что даже гарсон останавливался с подносом в руках, дивясь их необыкновенности. Анюта

вынужден был уйти из кафе — и вел потом призрачное существование, меняя гостиницы и женщин и ухитряясь еще числиться в Сорбонне, играть в карты, танцевать и быть всегда прекрасно одетым.

В то время, когда Мартын Расколинос, которого Анюта хорошо знал, потому что служил с ним одной батарее,— когда Расколинос появился в Париже, Анюта уже стал постоянным посетителем таверны Великого Тюренна и неизменным спутником Андрэ и Маргариты, двух сестер, живших в удобной квартире, недалеко от площади Республики. Обстоятельства сложились так, что Анюта сначала поселился в ближайшей гостинице, потом остался как-то ночевать у Андрэ, а затем и вовсе к ней переехал. В квартире двух сестер был попугай, кричавший "Pas vrai!", громадный кот с голодными глазами и крохотный граммофон, чрезвычайно, однако, резкий и хриплый.

* * *

Странная судьба Мартына Расколиноса была совершенно безразлична Андрэ, из-за которой монах явился впервые к Анюте Привлекательному. Андрэ была певицей и выступала в антрактах на сценах кинематографа; она вообще не представляла себе, как можно жить вне той обстановки дебютов, авансов и жадности в любви и деньгах, к которой она привыкла; и Мартын был ей чужд, как обитатель другой планеты. Ее разум не предвидел возможности существования таких людей. Она не была способна, или, во всяком случае, не была подготовлена к пониманию вещей, превосходивших своей сложностью и странностью обычные явления того быта, который она видела и знанием которого была очень горда. Четырнадцатилетней девочкой она приехала в Париж, прослужила три года у одного старого коммерсанта в качестве горничной, потом нанялась в дрянной кабачок на улице Калэ, где научилась петь и, постепенно выдвигаясь, дошла до того положения, которое занимала тогда, когда произошла ее встреча сначала с Анютой, потом с Расколиносом. В это время она уже была лишена какой-либо сентиментальности и заботилась только о том, чтобы не простудить горло и заработать как можно больше денег. Ей бескорыстно помог Анюта, устроивший, бог знает какими путями, концерт Андрэ в очень богатом частном доме. Андрэ стала его любовницей; только этим она могла отблагодарить Анюту, и это тоже было предусмотрено негласными законами парижской среды актрис, певиц и танцовщиц, к которой Андрэ принадлежала душой и телом. Ее сестра, Маргарита, нежная и чувствительная девочка, служила в большом бюро; к флирту Андрэ с

Анютой она относилась покровительственно, так как ей чужда была зависть. Они жили втроем в одной квартире, вместе дразнили попугая, каждый вечер ходили в таверну Великого Тюренна и танцевали под гармонику Росиньоля, погибшего музыканта.

* * *

То, что Расколинос, всегда чуждавшийся людей, не знавший и боявшийся женщин и глубоко враждебный по духу шумной и суетливой жизни больших городов, попал сначала в монпарнасское кафе, а потом в кинематограф, было началом целого ряда неожиданных и странных событий. Это было первой вспышкой душевного недуга Расколиноса; и впоследствии монаха уже не оставляло постоянное и смутное беспокойство, столь хорошо знакомое неудачникам, игрокам и людям, раскаивающимся в своих действиях и жалеющим, что все произошло не так, как они того хотели бы.

Когда Мартын вошел в кинематограф и, сев на указанное ему место, погрузился в живую темноту зала и услышал, как заиграл оркестр, ему сразу стало не по себе. Но вот на экране появились скачущие ковбои, потом бледное женское лицо увеличилось до необыкновенных размеров и придвинулось к стеклу окна, а по стеклу струились капли дождя, и нищий под окном играл на скрипке; и в дверь богато убранной комнаты вошел молодой человек в смокинге. Бывший монах вдруг ужаснулся существованию этих людей. А внизу все играл оркестр, и Мартын все время вздыхал, захлебываясь этой рекой звуков, этим раздражающим блистанием экрана. Монах изредка еще вспоминал, что ему надо бы встать и уйти, но не мог этого сделать — и просидел до антракта. Когда после долгих звонков, шарканья ногами и хлопанья стульев лампы в зале снова потухли, монах увидел на полотне согнутую фигуру старика с длинными волосами, который скрывался в левом углу большого, серого квадрата, сворачивая куда-то в сторону, и тотчас появлялся с другого края. Потом он исчез; его заменил юноша с движениями лунатика. На лице юноши были страшные, черные глаза; он быстро шагал по гладкой дороге, и зубчатые стены фантастического города двигались ему навстречу. Его высокая фигура шла прямо на зрителей; зал застывал в напряженном молчании; и дама, сидевшая позади монаха, вдруг тяжело ахнула и закрыла глаза. Ропот и глухая, довольная речь зашумели в кинематографе. Расколинос приподнялся и перекрестился.

С этого дня жизнь Расколиноса ощутительно изменилась. Каждый вечер, жертвуя часами своего сна, зара-

ботанными деньгами и боязнью передвижений в метрополитене, он ездил то в один, то в другой кинематограф.

Однажды он смотрел веселый американский фильм на бульваре Барбес. После того, как фильм кончился, синие прожекторы осветили эстраду и на ней появилась девушка в сверкающем платье. Глаза ее блестели, тело сгибалось и разгибалось, струились медленные блестки ее юбки; и далекий голос, чужой и нежный, пел под приглушенную музыку скрипок и рояля. Необыкновенное, необъяснимое исступление вдруг овладело Расколиносом; и соседи с удивлением смотрели на пожилого человека с морщинистым лбом и маленькими глазами, беспорядочно фыркающего и смеющегося.

* * *

Он понимал, что эта французская певица для него всегда останется недостижимой; и в то же время чувствовал, что без нее он жить не может. Все, что до сих пор казалось ему неизбежным и необходимым, как воздух и вода, все его прежние мысли, привычки и желания — все это вдруг потеряло свое значение. И когда это отошло от него, он ощутил тревожное одиночество, совершенно подобное тому, которое испытал много лет назад, когда стоял на коленях перед бесчувственным телом Тишки и глядел в его обезображенное лицо. Целая сложная сеть бессознательных правил жизни, ясных и несомненных для Мартына, вдруг точно сгнила и рассыпалась; и лишившись ее, Расколинос стал беспомощен и бессилен. И в этой тревожной пустоте заклубился мутный бред, которого Расколинос никогда не знал. Мартын чувствовал себя, как тяжелобольной: больной лежит в кровати и в жару, с трудом дыша, слышит непонятный, глухой гул — и гул несет его с собой; и в его беспощадном движении только изредка мелькают знакомые куски воспоминаний, — журавль над колодцем, желтый лес, река и заводь, и туманное поле над головой. Расколинос жил теперь, постоянно преследуемый этим гулом, который изредка прекращался, но только для того, чтобы сейчас же возобновиться с прежней силой; он был так же неотступен, как страшный старый доктор на экране, уходивший с полотна и появлявшийся через секунду с другой стороны. Каждую неделю Расколинос переезжал вслед за певицей в другой кинематограф — до тех пор, пока она не исчезла совсем и он не мог ее найти. Он пробродил по городу несколько часов подряд, ища ее портрет на афишах, потом, усталый и убитый, вернулся домой и лег на кровать, отогнув со слезами на глазах простыню, чтоб не запачкалась; и среди шума, немедленно его напол-

нившего, послышались впервые человеческие, жалобные всхлипывания.

* * *

Когда Расколинос обратился к своим бывшим сослуживцам, работавшим вместе с ним на фабрике, и попросил их указать ему какого-нибудь русского, хорошо знающего французский язык, они дали ему последний адрес Анюты. Расколинос на следующее же утро отправился туда.

Анюта принял его в пижаме, с папиросой во рту. На кровати, с которой он только что поднялся, лежал еще кто-то, закрывшись с головой одеялом. Монах, конечно, не мог бы подумать, что в постели Анюты спала Андрэ — хотя это было именно так. Расколинос увидел белую женскую ногу с обточенными, лакированными ногтями — и отвел глаза. Он объяснил Анюте, что хочет как-нибудь, хоть одним глазом, повидать французскую певичку, которую слышал в нескольких кинематографах. Он сказал — певичку — потому что не знал другого слова, и поперхнулся от волнения. Лицо его покраснело, глаза смотрели в пол. Когда Расколинос назвал Анюте фамилию Андрэ, — он произнес ее почти правильно, сказав только "Жали" вместо "Joli" — Анюта засмеялся, закашлялся и едва не проговорил: вот она, в кровати лежит, — но удержался. — "Устроим это дело, отец, — сказал он, рассматривая линии на своей руке: на тумбочке лежала книга о хиромантии, которую он читал. — Не бойся. Приходи завтра."

Расколинос пришел в девять часов утра. Анюта в столовой пил шоколад. Напротив него сидела Андрэ: рядом с ним Маргарита, внимательно читавшая длинный роман "Страница любви" и хотевшая размешать шоколад ложечкой, не отрываясь от книги, попадала вместо стакана то в пепельницу, то в сахарницу — и очень сердилась; и поэтому ей показалось, что герой романа вдруг начал говорить глупости, чего на предыдущих страницах не делал. Расколинос увидел Андрэ и в первую секунду просто не понял этого. Потом он почувствовал, что как будто бы кусочек льда быстро прокатился в нем от горла к животу — и от этого Расколинос не мог сказать ни слова.

— Садись, старик, будем шоколад пить, — приветливо сказал Анюта. — Ton admirateur, — обратился он к Андрэ. Бешеные глаза ее устремились на Мартына. На нем был синий костюм с узкими брюками, высокий, крахмальный воротничок с круглыми краями и галстук, прикрепленный раз навсегда завязанным узлом к металлической невидимой пряжке, купленной им у разносчика, потому что

она показалась монаху чудесно простой и удобной; сам он галстука завязывать не умел. — Qu'est ce que c'est que ce type la? — сказал далекий голос Андрэ, и кусочек льда опять прокатился в груди Расколиноса. Анюта пожал плечами и сказал: c'est un saint — как будто бы знакомство со святым вовсе не представлялось удивительным. Сейчас же после этого обе сестры поднялись из-за стола и ушли, кивнув на прощанье Расколиносу. Расколинос остался с Анютой.

Вот что, отец, — начал Анюта, — дело твое непростое. — Расколинос вздохнул. — Я тебе все могу устроить, но не сразу. Посмотри на себя, монах! — вдруг закричал Анюта. — С суконным рылом в калашный ряд лезешь! Ну кто же, — продолжал он мягче, видя, что Расколинос испугался, — ну, кто тебя, старик, в таком виде полюбить может? Тебе костюм нужен, тебе, старик, деньги нужны. Все, небось, на фабрике работаешь?

— Оставил временно, — ответил Расколинос.

— Ну вот. Чем ее кормить будешь? Чулки покупать?

— Работать стану.

— Гроши, отец, заработаешь. Нет, я тебе другое придумал. Я тебе, старик, счастье сделаю. Ты только меня послушай. Где живешь, Мартын? — В Манруже, — с трудом сказал Расколинос.

— Переедешь через три дня в эту квартиру. Сошью тебе костюм, одену, обую. На автомобиле будешь ездить. Горничную найму. Бриться каждый день будешь. Ешь, пей сколько хочешь.

— Я в толк не возьму, Антон Васильевич. За что вы меня так держать станете?

— За святость твою, Мартын, — взволнованно сказал Анюта.

— Устроим бюро, старик, — шептал он. — Бюро по религиозным советам. Люди к тебе будут приходить разные. Будут тебя спрашивать: что, Мартын, делать? Почему, Мартын, жизнь такая тяжелая? А ты объясни. Я тебе все скажу. Переводчиком буду. Заработаешь денег, старик, на певичке женишься. А то пропадешь на фабрике, от тоски по ней подохнешь. Ну, что, Мартын, согласен?

— Я согласный, — не своим голосом сказал Расколинос.

Публикацию подготовил Григорий Поляк

ВСАДНИКИ НАД ШАХМАТНЫМ ПОЛЕМ, ИЛИ РАЗРУШЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ

За спиной художника Юрия Тарлера всего 29 лет жизни и лишь одна персональная выставка, недавно закончившаяся в Сан Луисе. В Нью-Йоркской артпрессе вы не найдете о нем ни слова, как не встретите упоминания его имени ни в одном из художественных каталогов. Ко всему прочему он, не скрывая, называет себя и реалистом — признание, которое вряд ли способно привлечь нью-йоркских артдиллеров. О реализме Юрия Тарлера у нас еще речь впереди. А пока о его художественной судьбе, в которой, кажется, и судьбы-то никакой нет: вся его жизнь — в сущности прямая линия, поделенная эмиграцией на две половины. Начало там, в Союзе, где он окончил художественную школу и ленинградскую художественную академию, вторая половина здесь, в Нью-Йорке, куда приехал в 1988 году и начал заниматься живописью. Но это только кажется, что он художник без судьбы, который, погрузившись в эмигрантское небытие, уже пятый год пытается выразить на полотне что-то свое. Тут самое время упомянуть событие, которое произошло в его жизни весной 1991 года, когда Юрий Тарлер выиграл конкурс Юниона художников, получив право участвовать в оформлении Бродвейских шоу и спектаклей "Метрополитэн Опера". Победители конкурса — четыре выдающихся художника Америки и среди них он, 27-летний художиик-эмигрант из России, уже принявший участие в оформлении одного из лучших Бродвейских спектаклей "Опреа — фантом".

Успех в Америке не падает с неба, и, если мы снова окинем взглядом биографию художника, то, может быть, найдем такое, что поможет этот успех понять. Вначале о его отце, замечательном архитектора Лазаре Тарлере, который отстроил после землетрясения весь Ашхабад, города "Мирный" и "Большой камень", строил Хабаровск, Якутск, Владивосток. Затем о его учителе в Ленинградской академии художеств: знаменитый Эдуард Кочергин, главный художник Кировского театра оперы и балета, оформивший лучшие спектакли театра. И наконец о происшедшем с ним самим, когда по дороге из Ленинграда в Нью-Йорк "застрял" он на три месяца в Ватикане, и в "Сан Джонс Кафедрал Соборе" стал реставрировать полотна 16-17 веков. Вначале дали попробовать, затем стал работать постоянно. И так преуспел, что вскоре снял для мастерской отдельный дом и получил приглашение напостоянно остаться в Ватикане.

По его собственным словам, его поразила бесхозяйственность, царившая в подвалах Собора, куда были свалены свернутые в рулоны шедевры 16—17 веков. Но эта бесхозяйственность странным образом не портила, а оттеняла красоту полотен. "Позже я убедился, насколько эти разбросанные в подземельях Ватикана работы по своему художественному уровню были выше тех, что я увидел в нью-йоркских галереях."

Но вернемся к заявлению художника о том, что он считает себя реалистом. Впрочем, тут же объясняет, что реализм для него не сумма застывших стереотипов. Он интересует его в развитии, в действии, в нереализованных возможностях. И, может быть, поэтому Юрий Тарлер не причисляет себя, скажем, к последователям "Передвижников", которых он считает не более, чем потрясающими ремесленниками. Сам он их антипод. Его не занимают традиции, задачу искусства (по крайней мере, своего искусства) он видит как раз в отказе от традиций, в разрушении всех и всяческих стереотипов. К реализму же, как он объясняет, его привлекают эстетические приятные вещи, которые ему хочется рисовать в самых неожиданных и фантастических сочетаниях. Искусство — не слепок с натуры, а игра. Игра фантазии. Такие сочетания предметов, которые помогают художнику выразить себя на собственном художественном языке. В этом, собствен-

но, смысл его работы, которая, по его словам, не имеет никакого отношения к авангардизму, конструктивизму или кубизму. То, что делали Малевич или Кандинский, возможно, прекрасно, но является не изобразительным искусством, а изобразительной физикой, то есть переносимым на холст физическим мышлением. Примитивный авангардизм, — развивает свою мысль художник, — занимается разделением цветов, света, объемов, но не художественными образами, которыми разговаривает с миром изобразительное искусство. "Между изобразительным искусством и изобразительной физикой всегда существует граница, иногда жесткая, иногда едва различимая, но лично я ее всегда чувствую". Оставаясь внутри реализма, художник как раз и работает на этой границе, где категории реальной жизни переливаются в неожиданно фантастические формы.

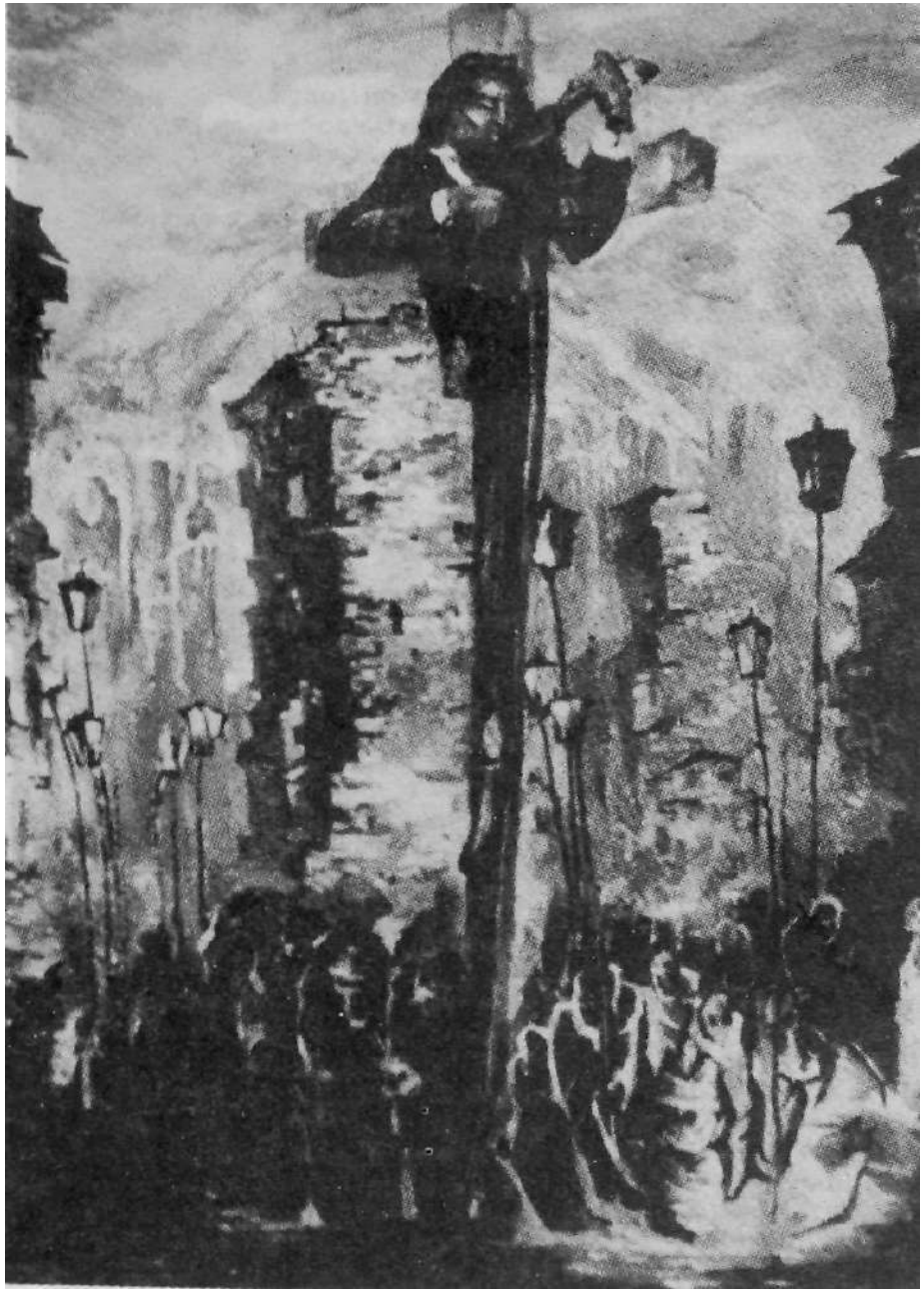
Я прошу проиллюстрировать эту мысль на одной из его работ, скажем, на его "Апокалипсисе", который он считает одним из лучших своих полотен.

— Вам, может быть, это покажется странным, но в "Апокалипсисе" меня меньше всего интересовали философские категории "Библии". Четыре коня Булгакова натолкнули меня на мысль о возможности перефразировать "Библию" на свой лад — и вот на полотне появляются три самостоятельных элемента, если угодно, три картины — "Всадники", "Шахматное поле" и "Стена плача" — ни одна из них не живет самостоятельно, но в фантастическом своем сочетании они рождают реминисценции о конце мира. А вот другая работа "Горы" — образ скрипача на кресте и совершенно отчужденный фон, отчужденный от искусства и от самой жизни — это горы Юго-Восточной Европы, навевающие мысль о трагедии, происходящей в этом районе мира. Другая работа "Золотые ворота", реминисценции с Петербургом и его памятниками архитектуры, на глазах уходящими под воду.

Символика? Да, символика, смысл которой как раз и предстоит понять зрителю. Только на первый взгляд художник воссоздает реальные предметы жизни — "кони", "всадники", "скрипач на кресте", "шахматное поле", "Стена плача". На самом деле это уже другой мир, другая реальность, под обаяние которой мы с вами неизбежно попадаем.

В. Петровский

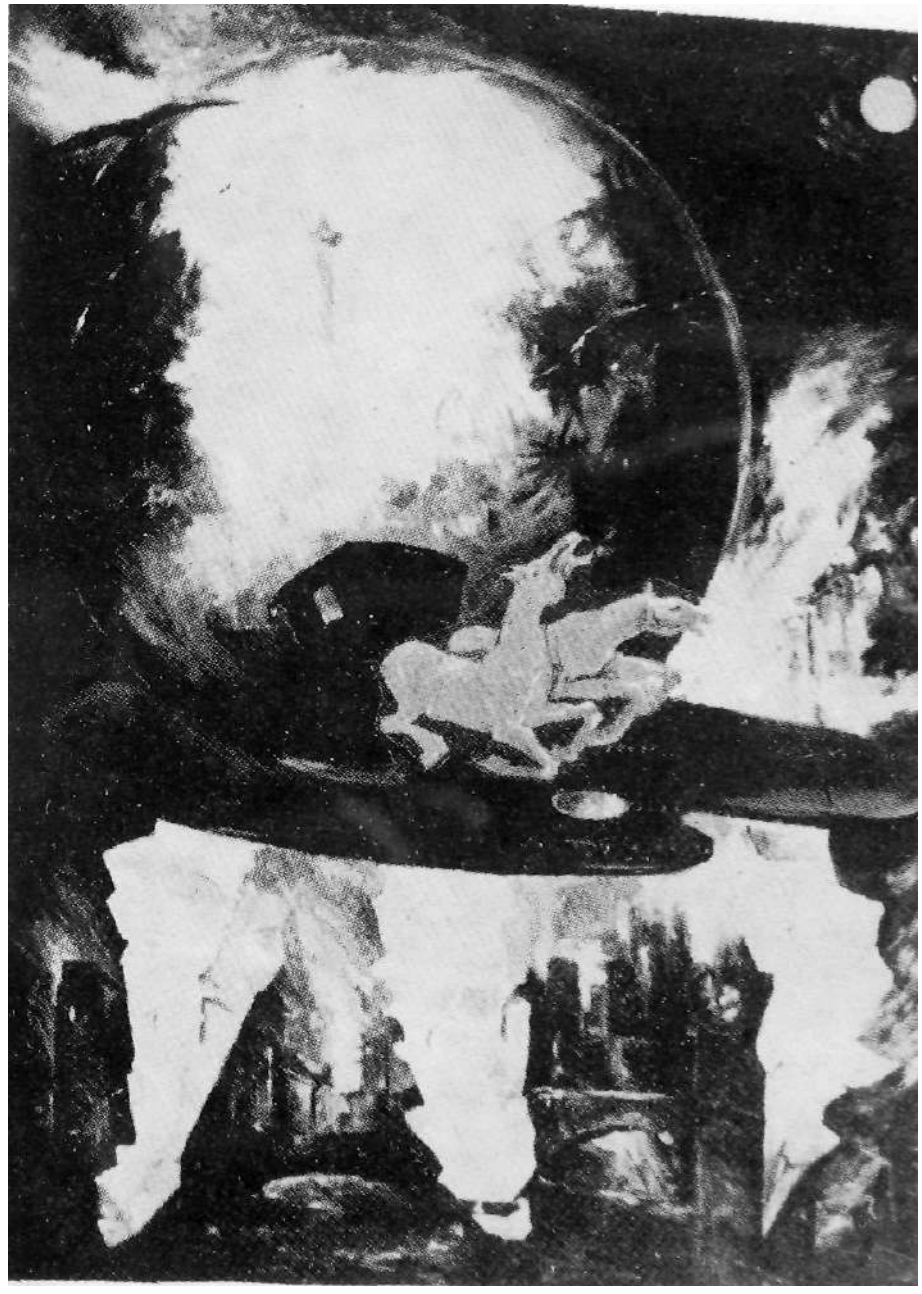
Апокалипсис. 1991. Холст, масло.



Торжество. 1992. Холст, масло.

Продолжение легенды. 1992. Холст, масло.

Золотые ворота. 1993. Акварель.



Позади искусства. 1991. Дерево, масло.

Пилат. 1993. Холст, масло.

Екклизиаст. 1993. Холст, масло

ЗИНОВИЙ ЗИНИК. Урожденный москвич. С 1976 года постоянно живет в Лондоне. Как критик и эссеист сотрудничает с радиостанцией Би-Би-Си и лондонским журналом "The Times Literary Supplements". Его проза, переведенная на ряд европейских языков, регулярно публикуется журналами "Время и мы", "Синтаксис" и другими периодическими изданиями. Один из его пяти романов "Русофобка и фунгофил" экранизирован в 1993 году телевидением Би-Би-Си. Сборник его новелл "Русская служба и другие истории" и недавний роман "Лорд и егерь" опубликованы в Москве издательством "Слово".

ВАСИЛИЙ АГАФОНОВ. Родился в Москве в 1942 году. Получил биологическое и математическое образование в Московском университете. Писатель и журналист. Опубликовал несколько романов и книгу рассказов. Печатался в журналах "Континент", "Стрелец" и других периодических изданиях эмиграции. Регулярно выступает со статьями на темы российской и эмигрантской жизни в газете "Новое русское слово".

ЯН ПРОБШТЕЙН. Поэт. Родился в 1953 году. Печатается с 1980 года. Принимал участие в публикации, редактуре и переводе шести анталогий — английской, американской, мексиканской, венесуэльской, норвежской и латышской поэзии. Оригинальные стихи печатались только в журналах Русского Зарубежья: в "Континенте" была опубликована поэма "Плавание", стихи печатались в "Новом журнале", "Стрельце", в альманахах "Встречи" и "Сталкер", в "Новом Русском Слове".

ЮЛИЯ ГЕНЮК. Родилась в Москве в 1965 году. Училась сначала в математической школе, потом в Московском Институте нефти и газа на кафедре прикладной математики. Потом работала программистом, затем опять училась — в институте, занимающемся прогнозами землетрясений. С 1992 года живет в Америке, в штате Огайо, учится на математическом факультете университета.

ЛЕВ АННИНСКИЙ. Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. В 1956 году окончил филфак МГУ. Автор пятнадцати книг, среди которых: "Ядро ореха" (1965), "Обрученный с идеей" (1971, 1986, 1988), "30-е — 70-е" (1978), "Лев Толстой и кинематограф" (1980), "Лесковское ожерелье" (1982, 1986), "Локти и крылья" (1990), "Билет в рай" (1989) и многие другие.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН. Издатель и главный редактор журнала "Время и мы". Окончил Московский юридический институт и отделение журналистики Московского полиграфического института. Работал корреспондентом Московского радио, фельетонистом газеты "Труд", специальным корреспондентом и заведующим отделом "Литературной газеты". В 1973 году эмигрировал в Израиль, с 1973 по 1975 года был обозревателем израильской газеты "Аль Гамишмар". В 1975 году основал журнал "Время и мы". В 1981 году вместе с редакцией переехал в Соединенные Штаты Америки, где и живет в настоящее время. Автор книг "Покинутая Россия" (удостоенной второй премии Иерусалимского университета) и "Театр абсурда" и романа "Грехопадение Цезаря".

ЕГОР ГАЙДАР. Лидер фракции "Выбор России". Родился в 1956 году в Москве. Окончил экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук. С 1980 по 1987 год — на научной работе. С 1987 по 1990 гг. — редактор отдела журнала "Коммунист", затем газеты "Правда". В 1990—1991 г. директор института экономической политики. С 1992 по 1994 гг. последовательно занимает должности министра экономики, финансов, исполняющего обязанности премьер-министра, заместителя председателя правительства РФ, фактически являясь архитектором реформ в стране.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 г. эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название "Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией". Отрывки из этой книги публиковались в журнале "Время и мы". Там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова: "Что знает советская разведка о России", "Посредственность и спасение Запада", "Запад выходит напрямую к гибели", "Где так вольно дышит человек" и др. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в протоколы Конгресса. Регулярно публикуется во многих российских газетах и журналах: "Известия", "Московские Новости", "Литературная газета", "Дружба народов" и др.

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ. Родился в 1918 году, в Вильне, в еврейской семье. С 1925 года живет в Москве. Учился в ИФЛИ. В октябре 1941 года добровольно ушел стрелком в народное ополчение. Был дважды ранен. В 1946 году исключен из партии за антипартийные заявления, а в 1949 году за то же самое арестован. В 1953 году вышел по "ворошиловской амнистии". Три года работал учителем в станице Шкуринской. После реабилитации вернулся в Москву, работал библиотекарем, писал без расчета на официальную прессу. Первая самиздатская статья, получившая известность, — "Нравственный облик исторической личности" (1965), первая книга за рубежом — "Неопубликованное" (Мюнхен, "Посев", 1972), первая книга в

России — "Открытость бездне. Встречи с Достоевским" (Москва, Совпис, 1990). В 1993 году были напечатаны лекции по вопросам философии истории, а также цикл лекций "Собирание себя". Важнейшая публикация "Из записок гадкого утенка" (Знамя, 1993), глава из которой печатается в этом номере.

ЮРИЙ АВЕРБАХ. См. публикацию.

ГАЙТО ГАЗДАНОВ. См. предисловие к публикации.

SUMMARY OF VREMYA I MY [TIME AND WE] №123

Zinovy Zinik, "A Double Act in Soho." Two Russian emigres, a man and a woman, meet in London's Soho district. The story follows their journey across London's sex shops, depicting the everyday life and mores of Soho. The action takes place in the era of "perestroika" in Russia, which gives the story an unexpected humorous twist at the end.

Vasily Agafonov, Two Stories, dealing with life in the modem Russia.

Yan Probstein, New Poems.

Yulia Genyuk, "When the Word is Spoken." Poems.

Lev Anninsky, "The Russian Soul: Face and Pseudonyms." An original look at the national-psychological makeup of Russians. The Russians as a nation; national traits; the relationship between the Russian and the Soviet; the pseudonyms of the Russian soul.

Victor Perelman, "The Rejected Capitalism". On the road to a market economy in Russia, there has been no revolution in attitudes.

Lev Navrozov, "False Geniuses in the Liberal Arts." Subjective reflections on who can be considered a genius in art.

Sergey Rachlin. The essay examining modern American movies.

Yegor Gaidar: "I Was Recruited Into Politics by Circumstance." An interview with journalists A. Kolesnikov and G. Tselms.

Grigory Pomeranz, "From the Notes of an Ugly Duckling: Ready for Defeat." The essay by the well-known Russian philosopher and critic examining the writings, psychology and beliefs of Solzhenitsyn.

Dmitrii Yakushkin, "Chak."

Viktor Perelman, "Hyde-park under Socialism". Discussion about "Literaturnaya Gazette".

Yuri Averbakh, The Botvinnfk I Knew.

Gaito Gazdanov. "I Have Always Lived in Poverty, and This Gave Me a Wealth of Impressions." Works by the talented emigre writer Georgi Gazdanov.

РЕКЛАМА

Интерагентство Деполь

предлагает Вашему вниманию следующие туры:

● **АНГЛИЯ (ЛОНДОН)**: 7 дней/6 ночей, ***, 5 экскурсии
29.05–04.06.1994; 03.06–09.06.1994; 24.06–30.06.1994.
Стоимость тура: $370 + а/б
— Изучение английского языка в АНГЛИИ (Лондон): проживание в семьях или в гостинице ***, Н/В, 15 часов в неделю с выдачей сертификата, цена от $300 за неделю + а/б.
— На летние каникулы для детей международные студенческие лагеря на юге Англии на берегу океана, цена от $300 за неделю + а/б
● **ФРАНЦИЯ (ПАРИЖ)**: 7 дней/6 ночей, ***. Стоимость тура $385 + а/б.
● Весенние туры для детей и взрослых в Европейский **ДИСНЕЙЛЕНД**, от $300 США+а/б
● **КИПР (ЛИМАСОЛ)**: в любое удобное для Вас время.
Отели ***** «Шератон», «Гавай», «Меридиан», «Аполлония».
Завтрак. От $60 в день + а/б
*** или ****, 8 дней/7 ночей. От $190 + а/б
Самые дешевые туры на КОСТА-БРАВО

● **КАНАРСКИЕ ОСТРОВА**: о. Тенерифе — 10 ночей/11 дней
23.05–03.06.1994; 30.05–10.06.1994; 06.06–17.06.1994; 20.06–01.07.1994, 27.06–08.07.1994.
****, Н/В, авиакомпания «ИБЕРИЯ». От $1150.
● Организуем индивидуальные и групповые туры в **ГЕРМАНИЮ**.
● С мая организуются чартерные рейсы в **ШЕНЬЯН (КИТАЙ)**
● МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ В ГЕРМАНИИ:
ДЮССЕЛЬДОРФ: «Pa Pro» — упаковочные средства, производство бумаги и пленочных материалов — 25.05–31.05.1994
GIFA/METEC/THERMPROCESS — термообработка и термопроцесс — 14.06, 23.06.1994.
ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН: ILA'94 — аэрокосмическая выставка — 29.05–05.06.1994, ***, от $600.

Наш адрес:
Москва, ул. Мархлевского 20/2, офис 43
Тел.: 925-94-20 **Тел./факс** 923-99-10

"ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ"

- РАДИОМИКРОФОНЫ
- ТЕЛЕФОННЫЕ МИКРОПЕРЕДАТЧИКИ БЕСКОНТАКТНЫЕ ДАТЧИКИ
- СКРЕМБЛЕРЫ АНАЛ. И ЦИФРОВЫЕ
- СИСТЕМЫ СКРЫТОГО ВИДЕОКОНТРОЛЯ
- ПРИБОРЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЖУЧКОВ
- ДИКТОФОНЫ СО СПЕЦНАСАДКАМИ
- ШУМОГЕНЕРАТОРЫ ОТ ПОДСЛУШИВАНИЯ
- ПРИБОР ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ЖУЧКОВ В ТЕЛЕФОНЕ
- ВИДЕОДОМОФОНЫ
- СКАНЕРЫ ЮСМ, АОЯ
- ОХРАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Выставочный зал: Ломоносовский проспект, 31, корп. 2
Тел. (095) 143-38-41. Факс (095) 143-12-93.
АРЕНДУЕМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ!

РЕКЛАМА

Быстро. Надежно. Лично в руки soft & hardware

Новый сервис от компании «Радом». Прямая продажа и доставка в офис нашим партнерам, клиентам и дилерам

программных продуктов компаний: Microsoft, IBM, Lotus Development, Novell, Borland, Symantec, SCO, Corel, Aldus, Autodesk, WordPerfect, Computer Associates;
компьютеров ..... IBM, Compaq;
копировальной техники ... Ricoh;
принтеров ..... Epson;
дискет 3M;
периферии и аксессуаров к компьютерам.

Для наших покупателей доставка бесплатна, ее надежно обеспечивают компания DHL и Главный центр специальной связи. Цена закозных товаров ниже, чем в рознице.

Время ожидания посылки: 2-10 дней.*

Компания «Радом» проводит рассылку на всей территории России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Украины, Узбекистана. Гарантийное и сервисное обслуживание компьютеров и принтеров:

(095) 254-77-80.

Обращаясь к нам, Вы получите желаемое быстро и прямо в офис по цене ниже розничной.

*После получения от Вас заявки (факс или телеграмма-молния) мы выставляем счет и отсылаем его Вам (факс или телеграмма-молния), после прихода денег на счет АО компании "Радом" мы отправляем посылку.

Звоните в «Радом»:
Тел. (095) 256-44-73, (095) 256-40-30.
Факс: (095) 259-27-27
Адрес: 123022, Москва, Звенигородское шоссе, 9.
E-Mail: POSTSALE@PT.PHYS.MSU.SU
Екатеринбург, "Радом-Восток", тел.: (3432) 22-52-08

Радом Р.А.

Р Е К Л А М А

Р Е К Л А М А

АВИАЦИОННЫЕ И МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Air Cargo Global Corp.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ С 20-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ ПО ОТПРАВКЕ ГРУЗОВ ВО ВСЕ ТОЧКИ МИРА.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПО САМЫМ ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

АВИАОТПРАВЛЕНИЯ ЕЖЕДНЕВНО

ОТПРАВКА ЛЮБЫХ ГРУЗОВ ВО ВСЕ ГОРОДА БЫВШЕГО СОЮЗА

SPECIAL! $0.75 ЗА ФУНТ $1.50 ЗА ФУНТ, ПОСЫЛКИ БЕЗ ПОШЛИНЫ С ДОСТАВКОЙ В РУКИ АДРЕСАТУ

МОРСКИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ ДВАЖДЫ В НЕДЕЛЮ

20' КОНТЕЙНЕР. НЬЮ-ЙОРК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.....$2100
40' КОНТЕЙНЕР. НЬЮ-ЙОРК – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.....$3000

По желанию клиентов отправляем грузы в контейнерах MORFLOTA с дальнейшей беспроблемной переправкой их в любой город СНГ

ОТПРАВКА АВТОМОБИЛЕЙ, ГРУЗОВИКОВ (TRUCKS) И ОБОРУДОВАНИЯ

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ, БЕСКОНТЕЙНЕРНЫЕ ОТПРАВКИ В ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОРТЫ НА СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ ПЛАВУЧИХ ГАРАЖАХ.

От $450 в Европу. $999 в Санкт-Петербург.

Специальные цены на отправку трех автомашин в 40' контейнере из Нью-Йорка.

АВИАБИЛЕТЫ, ВИЗЫ, ПРИГЛАШЕНИЯ

- ВЫЕЗДНЫЕ ГОСТЕВЫЕ
- ДЕЛОВЫЕ ВИЗОВЫ
- ДОВЕРЕННОСТИ
- ОТКРЫТИЕ КОРПОРАЦИИ ЗА 3 ДНЯ.
- ПЕРЕВОД ДЕНЕГ В КРУПНЫЕ ГОРОДА

Наш адрес: 170 Neptune Ave., Brooklyn, N.Y. 11234.

Тел.: (718) 891-2551. Fax: (718) 891-2581.

Работаем с понедельника по пятницу – с 10 до 6, в субботу и в воскресенье – с 10 до 5

АМЕРИКАНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ ЛАЙСЕНС, ВЫДАННЫЙ FEDERAL, MARITIME COMMISION # NVOCO 605, К ВАШИМ УСЛУГАМ: ПОГРУЗКА И ПЕРЕВОЗКИ ЛЮБЫХ ГРУЗОВ
LOADING & MOVING & SHIPPING

EXPRESS SHIPPING SERVICE

КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ДОСТАВКИ!!!

ЦЕНЫ ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!!!

МОРСКИЕ И ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ США в СНГ и из СНГ в США

ЛЮБЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ГРУЗЫ — БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!

Страховка грузов в американских страховых компаниях на любые расстояния в СНГ

USA1-800-377-7245; 1-800-ESS-SAIL

S. Petersburg (812) 294-01-58; 294-87-77
Moscow (095) 456-4551; 456-4410

ЕСТЬ ТАМОЖЕННЫЕ СКЛАДЫ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ!

Авиабилеты — со скидкой!

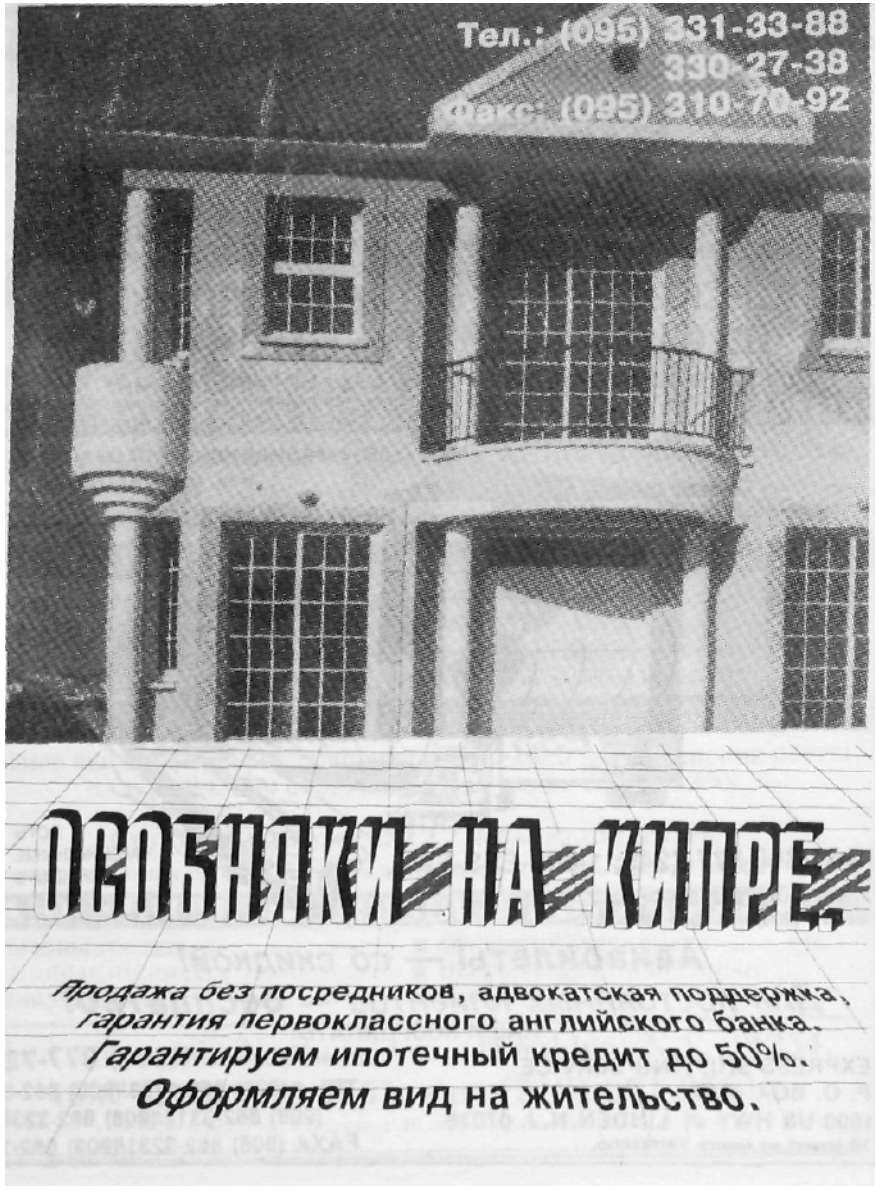
*Для постоянных клиентов — **бесплатно!***

НАШИ КООРДИНАТЫ:

EXPRESS SHIPPING SERVICE
P. O. BOX 4040
1600 US HWY #1 LINDEN, N. J. 07036
10 минут от моста Verrazano.

Звоните бесплатно 1(800) 377-7245.
TEL.# (908) 862-3133/(908) 862-3216
(908) 862-3312/(908) 862-3239
FAX#: (908) 862-3231/(908) 862-1102

Р Е К Л А М А


Тел.: (095) 331-33-88
330-27-38
Факс: (095) 310-70-92
ОСОБНЯКИ НА КИПРЕ
Продажа без посредников, адвокатская поддержка,
гарантия первоклассного английского банка.
Гарантируем ипотечный кредит до 50%.
Оформляем вид на жительство.

А.Р.ИМПЭКС
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Для офиса
Кабинеты руководителя
Универсальные рабочие места
Кресла, стулья, аксессуары
Для дома
Мягкая и корпусная мебель
Гостиные, кухни
Детская мебель
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ОПТОВИКОВ!
Отгрузка со склада в москве.
123367, Москва, а/я 001
ВДНХ, пав. "Москва", 4 эт.
(095) 974-6251, 974-6254;
FAX 187-9283.
Принимаются к оплате STB-card.
Alfred Gensor

Реклама

НПК ВЕСТА

Адрес: ул. Б. Полянка, 15, ст. м. «Полянка».
Москва: (095) 230 79 52, 230 79 57, 230 76 52
Санкт-Петербург: (812) 315 74 26
Рига: (0132) 37 75 41
Одесса: (0482) 28 43 10
Киев: (044) 269-43-02
Новосибирск: (3832) 32 88 37

АО «НПК–ВЕСТА»

Продажа безналоговых компаний за рубежом в течение 1 часа.

Готовые страховые компании. Регистрация банков.
Разработка схем налогового планирования.
Открытие счетов в западных банках
первой величины в течение 1—3 дней.

Вы можете приобрести у нас брошюру «Off-shore companies. Обзоры, комментарии, рекомендации» и «THE BANKERS' ALMANAC» с детальной информацией о всех банках мира.

VIGN

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1994

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, чеки высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA
TEL: (201) 592-6155

Одновременно объявляется подписка в России.

Для тех, кто оформит подписку до 1 июля 1994 года установлена льготная цена — 18 000 рублей.

В розничной продаже — цена договорная.

Оформить подписку можно в Московском центре журнала «ВРЕМЯ И МЫ» по адресу:

103914, Москва, ул. Моховая, д. 9,
Факультет журналистики МГУ, к. 203, 206.
Тел.: 203-37-71, 203-34^7, 203-66-41

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....
Имя.....
Адрес.....

Подписной период.....
Прошу оформить подписку на журнал «ВРЕМЯ И МЫ» на..... год. Высылать с номера..... Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

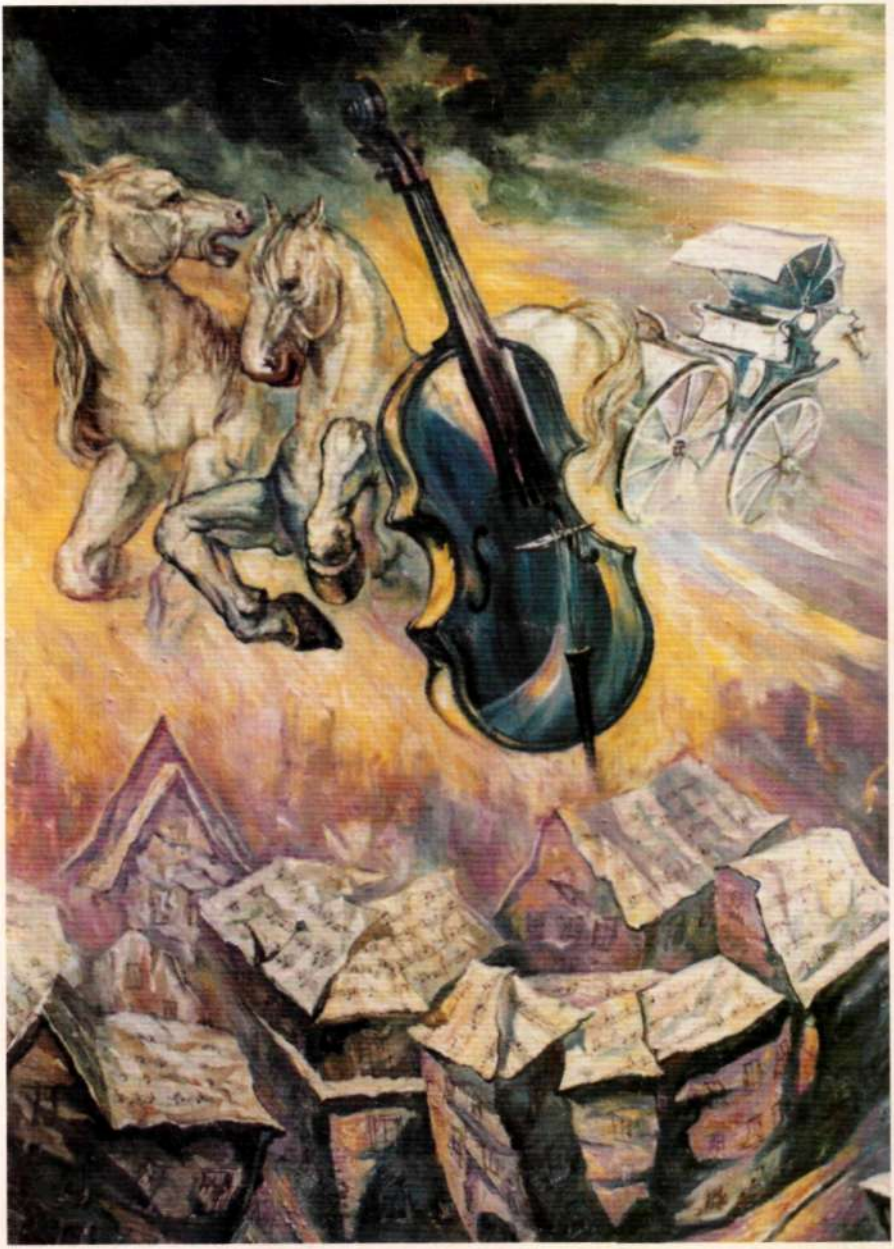
Главная редакия журнала "Время и мы":
409 Highwood Avenue, Leonia, NJ07606, USA
Tel.: (201) 592-6155, Fax: (201) 592-6958

На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Юрий Тарлер "Зальцбург"

Подписано к печати 11. 5 1994 г. Бумага 84X108 /з2. Печать офсетная. Офсет № 1. Условно- печатных листов 19. Тираж 20 000 экз.

Филологическое общество "Слово". Москва, Часовская ул. 10/2

ЛР № 0G1G46 от 1 октября 1992 года.

Московская типография № 4 Комитета Российской Федерации по печати. 129041, Москва, Большая Переяславская ул. д. 4G.

OCR и вычитка - Давид Титиевский, октябрь 2011 г.
Библиотека Александра Белоусенко